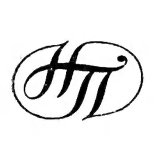


новинки прозы

Зот Тоболкин

Жил-был Кузьма



Зот Тоболкин

Жил-был Кузьма

Повести

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1981

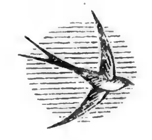
Р2
Т50

Т $\frac{70302—050}{М158(03)—81}$

Любава







Пролог

...Тронулась под горку зима, покатилась. Ни колес у нее, ни полозьев, а катится — не остановишь. И там, где вьюги вились и выли, где сугробы вздувались, иное буйство теперь — весеннее.

Все времена хороши по-своему, но Любаве милей других весна. Как пробьются сквозь старые льдистые струпья густые запахи прели, как заклокочут всю зиму молчавшие воды, как возвысится, вширь раздавшись, приземленное небо,— радость!

Грязновата пока весна, не ухожена, словно бродяжка в посконном платьишке. А вот умоется, погоди! Вот причешет зеленые кудерышки, вот голубые глаза распахнет,— радость! И забудешь ты, что была она неприметной и серой, отступишь, оробев перед ее величавой красотой, и залюбуешься издали и, быть может, пожалеешь, что не распознал сразу, за простушку принял, а она — Василиса Прекрасная. Махнула одним рукавом — снегу не стало. Другим махнула — гуси-лебеди полетели. И — журавли, и — журавли...

Вот они тянут в невозмутимом, в круто выгнутом небе. Услышав величавое медленное курлыканье, Любава подняла голову: вернулись! Домой вернулись! Ох как ждала она их, как ждала! Дав полукружье над болотом, залетные гости нарушили стройный порядок, выстолбили брызги, заходили, запоговаривали.

Место ими выбрано умно. И не этой стаей примечено, даже не прошлогодней. Испокон тут садятся. Одни —

только передохнуть, и, сон проведя, зарю подняв на крыльях, тянут дальше. Эти, наверно, надолго. Ишь как уверенно, знаемо галдят! Не из их ли стаи та отставшая журавлиха?

Подобрала ее прошлою осенью раненую, матери принесла. Как ударились в окна белые мухи, как завыли ветра, в страшной тоске вскрикнула птаха, и человечье ухо чутко уловило глухую смертную боль.

— Канет,— опустив вязоватые руки, обессиленно выдохнула тетка Матрена и в черном сердитом глазу смазнула соленую скорбь.— Эта уж не жилица.

Канула птаха. Тоски не вынесла, одиночества. Много ли надо ей, непривычной? Это бабе любая тоска посильна. Будет гнуться, будет сохнуть, изовьет ее всю, иссушит, иссеребрит, исскуластит, а она — судьбе поперек — топчет многотрудную эту землю. Топчут же ноги Матрены шестьдесят долгих лет. А тоски-то, а боли-то — черпать не перечерпать!

Три сына, три света погасли в чужой неприветной земле. Три раза по разу умирала тетка Матрена; воскресла однажды, встретив на станции до синевы выжатого, ветром качаемого Павла своего...

Из четырех Сохиных только отец и вернулся с фронта. Еще и не оклемался, еще и раны не заживил, а уж впрягся в председательские оглобли. Через год, прямо в поле, прорвался осколок, открылось кровотечение. Умер Павел, зажав в окровавленном кулаке едва налившийся ржаной колосок.

...Любавины мысли спутав, смолкнул вдруг хор журавлиный, будто устыдился чего-то. И над тихою тишиной, над сиреневым ветром, притаившимся меж бородавчатых бурых кочек, над камышами и надо всей землей возник одинокий печальный стон. Загудело птичье крыло, взбугрилась рябая вода — стон повторился, но — выше. На третьем крике Любава увидала над собой журавля. Он тревожно и чутко вертел узкою головой, словно верил еще, что найдет давно потерянное, и трубил, трубил... Каждое перышко его, бронзово высвеченное солнцем, было пронизано болью.

Рыдает журавль. Может, он Лизаветину судьбу оплакивает? А может, Любавину судьбу... А может, и нет ему до людей дела. И принес он из дальних, из замор-

ских стран на родную землю свое собственное горе. А горя в любом краю достаточно.

Эй, птаха! Перестань душу терзать! Что мне до тебя, до твоей птичьей печали?

Но, видно, связано все на свете нерасторжимо и прочно, и потому скорбь чужая переполняет Любавину душу. Молчит Любава, а хочется крикнуть таким же рвущим душу голосом, хочется приголубить бесприютного крылатого странника.

Носится в небе журавль. Носится и роняет капли черной тоски. Падая, они вонзаются в землю, и люди неосторожно наступают на них. А журавль то мчится по голубому бездонью, то, складывая звенящие крылья, в последней надежде устремляется к земле и, видя, что обманулся, устало и опустошенно вздымается вверх.

И слева сине, и справа сине. А в напряженном, грустном зрачке — медное солнце. Один журавль, один на всю неоглядную синь. Он это падает или небо само упало? Рушится небо, сорвалось с гвоздиков и птицу роняет. Стукнется оземь птаха, трепыхнет бессильно крылом, раскроет тяжелый клюв и не вскрикнет. Шевельнется серая кучка перьев и замрет — гибель... Накроет журушку сверху по чьему-то недогляду сорвавшееся небо... голубой веселый саван.

...Вытерев слезы, дивится Любава грезе своей. Блажь... На месте небо. Подвешено прочно. И птица вновь воспарила. Определенно ищет кого-то журавль... «Меня, что ли? Возьми — полечу».

Полетела бы, но бескрыла. Где возьмешь их, немудрящие два крыла, чтобы вознесли над землей... над той самой землей, по которой ходила без малого четверть века. Сверху она яснее, разумнее, чище.

А рядом мать стоит. Стоит и гладит по голове сухою, как птичья лапа, рукой растрепанные Любавины волосы. Не летать Любаве журавлихой. Держит земля...

На болоте затишье. Лишь изредка вскрикнет уставший после долгого перелета журавль. Красное лето грезится ему в теплой дреме? Или тревожат предстоящие заботы отцовства?

А тот, что в небе, носится, кричит неумолчно и ищет, все ищет, зовет кого-то. Но отзыва нет. Лишь тетка Матрена да Любава сочувственным взглядом провожают его, то находя, то теряя крохотное родимое пятнышко на голубых, на чистых щеках небес.

Вот ближе он, все ниже... Выстрел... И с полукрика, не успев даже крылья сложить, птица рушится камнем.

Загомонила, взроптала вся журавлиная стая и снялась с облюбованного, с привычного места.

Любава кинулась на звук выстрела... Мчится Любава, а гул выстрела отдается в ушах, в груди...

Остановилась земля. Умерла в потускневших, от всего отрешенных птичьих зрачках. А Любава летит, будто журавлиные крылья проросли за плечами, будто весь смысл ее бытия заключен теперь в том, чтобы отстоять у смерти эту маленькую неудавшуюся жизнь...

Беспомощно, словно цветок на сломанном стебле, завернута голова. Неестественно выгнуты крылья. Сердце еще колеблется, но глохнет, глохнет сердце! И не заведешь его, не раскачаешь — не маятник. Толкнулось невнятно и замерло. Птицу объяло небытие. Вот она, укрощенная боль. А что живым от только что жившего? След, растаявший в небе? Затихшую песню?

«За песню его... за верность — такая награда?» — Любава склоняется над птицей, оправляет смятые, никем не обласканные перышки. Плачет.

Над головою бессмертное шествует солнце. Покалывает золотою щетинкой, взбираясь в недостижимую высь. Жизнь солнца длинна, бесконечна. Жизнь человека — миг, вспышка. Но солнце знает каждый свой шаг в необъятном пространстве. А человек?

— Че сцапала? Не твое! — из кустов с ружьишком наперевес выплюхал Никита Дутыш. Большие сапоги голенищами упирались ему в пах. Короткое шарообразное туловище сливалось с вдавленною в узкие плечи сухою головкой.— Давай!

— Нна! — не отпуская птицу, окровавленною ладонью Любава опечатала Дутыша по щеке.— Нна, погань! Вот тебе! Вот!

Качнувшись на длинных, на опенышных ножках, он злобно ощерился, лязгнул затвором.

— Угрроблю!

А Любава охаживала его по острой крысиной мордочке, наступала. Пятясь, он споткнулся о кочку, сел прямо в трясуху, но вертко вскочил и застриг по болотине, завысекал брызги тонкими, как ножницы, ножками...

...Вслушиваясь в ропот воды, перехлестывавшей че-

рез плотину, старуха не сразу заметила тихонько подошедших Ивана и Лизавету.

— Разгулялось Пустынное-то,— вздохнув, сказала она.— Качнет ладом, и запруды как не было.

— До завтра не сорвет,— думая о чем-то своем, отмахнулся Иван.— Завтра бульдозер пришлю — подправит.

— Ополоумела Любка! Загонит Никиту до смерти,— расхохоталась Лизавета, глядя на бегущих. А в голосе что-то треснуло, зашипело, словно плеснули холодной водой на горячее.— А чем он виноват? Председателевой жене на перину собирал...

Иван разгладил указательным пальцем морщину между бровями и бочком, словно протискивался через узкую дверь, пошел через плотину.

«Через силу смеется,— покосившись на Лизавету, вздохнула старуха.— Через силу-то зачем?..»

Голова ее мелко тряслась, и казалось, что Матрена осуждает все происходящее вокруг, но, понимая, отчего это происходит, только покачивает головой, как бы прощая людям их ошибки.

— У-ух как глубоко! — заглянув в яр, в котором неширокий, но сильный поток пробил подо льдом черную промоину. Метров через тридцать он вырвался из-подо льда и разливался широко, вольно.— Дырища-то так и манит... Брр! Холодно!

1.

Четырежды после объединения менялись в «Заре» председатели. Четырежды переносилась столица колхоза из Першиной в Хорзову и наоборот. Ежели властвовал першинский председатель, то перевозил контору к себе; хорзовский соответственно передвигал на свою сторону.

Не все ли равно председателю, где восседать: у него «газик», а у нынешнего, Александра Рушкина, еще «Москвич» персональный, и два километра между бригадами — не расстояние. Однако ж при каждом воцарении вывеску «Правление сельхозартели «Заря», всю истыканную гвоздями, снимали и переколачивали. Это были отзвуки давнишнего соперничества деревень, которые ни в чем не желали уступать друг другу. Рань-

ше, бывало, ссорились, бороды драли, увечили и увечились по всякому поводу. Деляны делить — колья в руки. Покосы отмерять — коса на косу. Если же, упаси бог, хорзовская девка надумает замуж за першинского — выставят жениху окна, раскатают заплот, а всей родне и невесте высмолят ворота.

Поутихли былые страсти; разве только из стариков кто вспомнит по пьяной лавочке: «А, лешачье нестриженое! Мало мы вас требушили?» Это про хорзовских, про староверов. Хорзовские — пришельцы из Беломорья, народ кряжистый, крупный, угрюмоватый. Своих соперников и соседей, поселившихся здесь в прошлом веке, они зовут «расейскими козлами», но не из злобы, а так, по привычке.

«Расейские» нравом полегче, костью поуже, в словах поуступчивей, зато околоток у них веселей. Народ здесь беднее жил, но хорзовские девки то и дело выходили сюда замуж.

Поутихли былые страсти. Времена изменились. Да и молоди, вспыхивающей, как порох, поубавилось. В двух деревнях едва ли десятка полтора парней наберется: миграция. От этой миграции у многих председателей голова раскалывается. И жить стали как будто лучше, а не держатся люди в колхозе. Школу кончит — в город. В армию ушел — домой не жди. Никаким калачом его не заманишь.

Вот и сейчас отправляется партия новобранцев. Здесь и Иван Рушкин, брат председателев, и бойкий, языкатый, однако в день проводин слегка присмиревший Серега Иноземцев, оба хорзовские. Остальные — из Першиной. По заведенному обычаю собрались не в клубе, не в конторе, а в просторной избе Иноземцевых. Велика изба, вместительна, хотя внутри чего только нет! Весь пол устлан цветастыми самоткаными половиками, у стен — грузная, тоже самодельная мебель. Сам-то умелец был, столяр-краснодеревщик, из сучка мог живого петуха выточить. Не удержался... разобиделся на малые деньги, которые имел когда-то с колхоза, и учесал в город. И городишко-то никудышный, но там, сказывали, доход побольше, и квартиру вроде бы посулили. В общем-то Иноземцевы и здесь не бедствовали: в стае корова мычит, овцы блеют, есть и свиньи, и куры, и гуси. У сына, как водится, мотоцикл. Да и телевизор давно не в диковинку. А не пожилось хозяину, расстал-

ся с Хорзовой, в которой родился, вырос, семью завел, отсюда уходил на войну и — немыслимое везенье! — живой и здоровый вернулся сюда же. Теперь бы жить да жить, а он на сторону пристроился. За ним и другие работнички потянулись ближе к производству. И меньше стало пахарей у земли, меньше...

Из призывников тоже вряд ли кто в деревню воротится. Вот и глушит теперешний председатель стакан за стаканом, топит в вине свои заботы, а они пузырятся, всплывают, хотя тяжелы, точно камни.

— Служите там, себя не роняйте. А срок выйдет — домой,— врезаясь в песню, наказывает председатель. А песня — громче, а дым папиросный гуще, и виснет в прокуренном воздухе, полном хмельных голосов, застольных звуков и запахов, робкий безответный призыв: — Землю-то надо кому-то пахать! Надо ведь, а? И хлеб растить надо.

— Себе-то пореже наливай,— осаждает мужа Галина. Говорит для порядка: знает, не уймешь, если прижгло незаживающую председателеву болячку — дела колхозные. Полегче бы надо: переживаниями жизнь не поправишь. Сама по себе наладится, если, конечно, люди за ум возьмутся. А он, Рушкин, как паук, из себя тянет: для общего-то блага многовато паутинки понадобится. Да и тонка она, во всяком месте порваться может. Александр сознает это и, может, потому еще безжалостней изводит себя, жалит попреками, изматывает сомнениями. До чего дошло: явится домой за полночь, у порожка сядет, точно странник, по пути заглянувший, и в одиночку беседует. Сам спрашивает, сам же себе и отвечает. Чему ж тут дивиться: спрашивать не с кого... а отвечать приходится.

— Пореже,— оглаживая вздувшийся живот, решительней повторяет Галина. На последнем месяце ходит. Шутка ли, седьмой на подступах. Хотела выжить — Александр воспротивился: пускай, говорит, пахарь растет. Пахарей-то нынче раз-два и обчелся.

Отяжелел муженек, веки совсем склеились, лоб наплыл тяжелыми складками. Широкие брови, словно две гусеницы с листа, срываются и снова всползают.

— От расстройства пью, Галя,— говорит ясно, разумно. Нет, видно, не хмель, усталость и годы свое берут. Грохнул кулаком по столешнице, грузно отлепился от стула и, выждав, когда смолкнут гулы и голоса,

оглядел застолье, но вместо ожидаемого тоста с глухим отчаянием выронил: — Об одном прошу, ребятки: домой вертайтесь. Земле работники позарез нужны. Воро́титесь — нет?

— А как же, воротимся... после дождичка в четверг,— пожимая под столом руку сидящей сбоку Любавы Сохиной, подмигнул ровесникам Серега Иноземцев.— Тут вроде нет таких, кто с печки ушибся.

— Т-ты, бегунок! — Словно от удара качнулся Рушкин и трезво, крепчая голосом, с тугим присвистом выпустил сквозь зубы: — Весь в батю родимого! Тот тоже где-то на стороне удачу ловит.

— Удача — не блоха: в своем очкуре не поймаешь,— задиристо отозвался с дальнего конца стола Никита Дутыш.— Я вот, гадский потрох, пол-эс-эс-эра изъездил, пока тут корни пустил...

— Осот тоже корни пускает — кому от этого радость?

— Легче на поворотах, председатель! Легче! — Никита предостерегающе поднял скрюченный палец.— Я эть, сам знашь, не из робкого десятка. Я эть чуть чего — живо народ взбулгачу. Ага, взбулгачу — и поминай, как председателя звали.

— Взбулгачь — я тебе до земли поклонюсь за это.

— Да ну вас! Надоели! — угадав груздем прямо в раззявленный Никитин рот, перебила Лизавета, свояченица председателя, и, притопнув ногой, звонко завела: — «А я говорю, на Лиговке такие кабаки...»

Молодежь подхватила, и Рушкину поневоле пришлось смолкнуть.

«Не то говоришь, Сано! — сочувствуя брату, думал Иван.— Каждый волен выбирать свою тропку в жизни». И думал еще о том, что проводины могли бы быть веселее, если б... если б рядом сидела Любава. Не до него ей, вон как в глаза Сергею уставилась! Везет же людям! Все у Сереги получается ладно. Удачлив от рождения: что нужно — возьмет, не дают — отнимет. И никто его не осудит за это, потому что смел и красив, и тянутся к нему и девки и парни. Чего не прощают другим, ему простят. Не одинаковы люди, пристрастны в оценках: где так добры без меры, а где стегнут, как поется, по всем по трем — до скончания века шрам не зарастает.

— Ране на проводинах грустное пели,— когда затихла песня, подивилась тетка Матрена. Не впервые диви-

лась: что-то непонятное творится с народом. Не с жиру ли бесится? — Теперь вот блажат, ровно на покос собрались.

— А немногим дальше, тетушка! Отдежурят три года и — гуляй,— подхватил Александр Рушкин. Хмель так и не осилил его, но и не пилось больше, хотя гостеприимная Дарья Иноземцева (проводы-то колхоз оплатил!) обносила гостей по третьему кругу.— Это нашего брата прямо с колес, необученных, в пекло бросали... Мы с твоим Андрианом в такую переделку попали...

— Кушайте, гостеньки дорогие,— перебила хозяйка, морща в улыбке румяные губы. Когда улыбка оплавлялась и таяла, Дарья смахивала углом косынки слезу, тайком касалась сыновнего плеча.— Кушайте и про рюмки не забывайте, прошу. Уважьте ребяток.

— А мне вот не довелось ни послужить, ни повоевать,— лихо вылив в себя, а еще больше на скатерть неизвестно какую по счету рюмку, пожалел о несбывшемся Никита. Пьянея, он наливался ярой, неодолимой силой, безумной отвагой: пошли на медведя — пойдет с рогатиной, завалит. Да что медведь — слона свяжет и на конный двор приведет.— Не довелось, гадский потрох. А то бы я отличился...

Укороченный, вздутый сзади и спереди, он еле виделся из-за стола, а потому изо всех сил тянулся вверх, стараясь привлечь к себе внимание. А гости были заняты каждый своим, и не до Никиты им, не до его несовершенных геройских дел.

— Ваня, чтой-то притаился? — окликнула Галина примолкшего родственника. Никогда голоса его не услышишь, вечно отсиживается молчком. Спросишь — покраснеет и снова молчит. Уж верно, что слово — золото, единой золотинки зря не просыплет.— Вылазь давай из тайничка-то! Вылазь да спой!

— Ага, спой нам, Иванушко! — взялась за парня и тетка Матрена, сравнивавшая его с Серегой Иноземцевым и не в пользу последнего. Но хоть того лучше парень, а Любавино сердце Серегу приняло — с сердцем не сладишь.

Иван, менее всего желавший быть на виду, покраснел, опустил голову и отодвинулся в угол. Но брат старший положил на его плечо свою красную, в рыжем волосе, клешню, крепко стиснул и попросил: — Спой, братко! Что-нибудь такое... задушевное.

Ивану поднесли баян, и, надевая ремни, он прятал смущенное лицо за мехами, стыдился своей неловкости и краснел еще больше.

— Че замаковел? Пой! — подбодрила Галина, толкнув свояка в бок.— У тебя ж голос... Другие вон вовсе без голоса, а нисколь не тушуются.

Иван уж готов был начать и тотчас начал бы, если б услышал еще один голос. Но Любава, склонив голову к плечу, слушала Иноземцева. А Серега все шептал и шептал ей о чем-то на ухо. Сведя пушистые светлые брови, Иван погасил накипевший в груди вздох, раздумчиво прошелся по ладам.

Гуси-лебеди летели и кричали,
Видно, дальнюю почуяли беду.
Только люди ничего не замечали,
Мирно женщины пололи лебеду,—

запел он свое ли собственное, в тишине, в тайне выношенное, или сочиненное кем-то другим, но все равно близкое ему и словно бы самим пережитое.

Любава наконец подняла на Серегу залитые счастливым туманом глаза, посмотрела сквозь всех на него на одного и чуть слышно ответила:

— Неловко, Сережа! Все здесь, а мы исчезнем.

— Проститься-то надо,— он все больней сжимал ее запястье, но руку Любава не отнимала. Такую боль до гроба терпела бы...

— Ступай к Пустынному,— шепнула ответно,— я следом приду.

Они поднялись и по очереди под шумок исчезли.

А Иван истово вел свою песню, и только что шумевшие, в меру и не в меру хмельные люди, все до единого примолкли.

...А во ржище ребятишки голосили,
А отцы их возводили новый дом.
Эй вы, люди! Что ж вы, люди? Вся Россия,
Вся Россия уж охвачена бедой.

Птицы вещие, скажите им, скажите,
Чтоб оставили меж бревен топоры.
Эй вы, милые! Идите же — сушите! —
Своим суженым в дорогу сухари.

Гуси-лебеди летели в чистом поле,
Протрубив в тот час нам дальнюю беду.
Мы резвились, в поле женщины пололи,
В поле женщины пололи лебеду...

Весел и приветлив крестовый дом Иноземцевых! И не только потому, что не за свой счет щедра и ласкова обычно прижимистая и неприветливая хозяйка, не потому, что отовсюду сбежались проститься с новобранцами люди, что в светлые окна из палисадника заглядывают акации и тополя, словно спрашивают: нас-то чего, мол, не пригласили? Как же без нас? Не зря же мы нарядились, листочки выпустили по этому случаю. Не-ет, не зовут их в дом люди, сами пьют, горланят, дурея от криков. А над шумом, над садом, над всею Сибирью — солнце. Потому и в доме светло, и в поле. Греет бочок земля, томится, прорастая то травами, то цветами, невидимая, великая в ней копошится жизнь. Глазам предстает лишь результат творения, пусть не конечный, еще не отлившийся в колос или в репицу, но результат. Земля застенчиво и суеверно оберегает свои тайны, чтоб не осквернить их недобрым глазом, злым наговором. Выносив плод, она отдает его прекрасным и совершенным цветком, веточкой, слабой травинкой, реденькой, как пушок на детском тельце.

— ...Вот и травешка проклюнулась,— улегшись на чуть влажной, но уже прогретой полянке, блаженно потягивается Серега.

— Ага, зеленая — трогать боязно! — Любава склоняется над травинкой, улыбается, и в ясных ее, незамутненных глазах по светлой негрустной слезинке.

— Слезы-то к чему? Хорошо ведь!

Он не понимает или не хочет понять: именно потому и слезы, что хорошо. И Любава вся переполнена этим хорошим, только что случившимся. Она еще кипит, не остынув, еще трепещет. В теле, в гибких округлых руках крылатая легкость. Руки тянутся, хотят осязать, но вместо широких Серегиных плеч — текучий воздух. Ей чуточку совестно своего желанья, но что же в том стыдного? Так бывает рано или поздно со всеми.

— Сережа,— тепло, гортанно, воркующе зовет она.— Сережа...

Вокруг расплесканы поздние короткостеблые подснежники, мохнатые, розово-серые облачка.

— Подснежник... Сереженька, тут подснежники... не изомни,— спекшиеся, полуоткрытые умоляют губы, и небо опрокидывается, словно хочет защитить нежные, ломкие, не совсем еще распустившиеся цветы.

— Закрой глаза... я прошу... закрой! — почти сердито шепчет Сергей.

Любава бессмысленно, дальне, быть может, из невозможного будущего глядит в его разные глаза — левый серый, правый зеленый — и медленно, негаснуще улыбается.

— Закрой! — он яростно стонет, он скребет вокруг нее траву и затихает. Под ногтями белая рвань лепестков, подсохшая кровь, земля.

Уткнувшись лицом в своевольно открывшуюся из ворота грудь, он сухо, бесслезно плачет и трясет головой. Ласковые, сразу вдруг помудревшие, поглаживают его Любавины пальцы.

— Что ты, миленок? Что ты? — теперь губы ее свежи, точно омылись в росе. Они легко касаются стриженой щетинки виска, и слышится звук капли, упавшей свысока в воду.

— У меня такое предчувствие... будто все это вот-вот кончится,— полуотвернувшись, слушая ее поцелуи, всхлипывает он. Ухо разнеженно покоится на щедрой, на чистой, никем еще не целованной груди. Покоится и слушает, как ворошится разгоряченное девичье сердце.

— Да как же кончится, если мы не захотим? Сроду не кончится!

— Три года служить... все может быть за это время.

— Ничего не может быть! Я ждать тебя буду. Сколько понадобится, столько и прожду.

— Всю жизнь, а?

— Всю жизнь так всю жизнь. Я это умею.

— Люблю тебя! Даже не знаешь, как люблю!

— Знаю. Теперь я все на свете знаю.

Любава оправляет платье, встает. Глаза ее рассеянны и незрячи. Они скользят по высокому небу, прозрачному и бездонному, на котором веселое плавает солнце. Оно широко и добродушно улыбается, хотя все видело. Любава краснеет, опускает глаза, и вдруг они наполняются болью.

— Грустно мне что-то, Сережа! Будто обронила что и найти не могу.

— Бывает.

От яра к станции лосиными рогами ветвятся тропинки. Сергей по одной шагает, другая ведет печально задумавшуюся Любаву.

Дороги, как реки, все тропки в себя вбирают. По-

пробуй отыщи в большой реке жизни потом заветную свою тропку. Может быть, эта, сбегающая в ложок? У самого яра ее отчекрыжило обрывом. Нет!..

— Серега! — Любава оглядывается и, раскрылившись, летит к началу разветвления; летит и изо всех сил держится рукою за сердце, словно боится оторваться и упасть в яр.— Давай здесь простимся. Там — люди. При них не хочу.

— Да ведь не краденое. Через три года поженимся.

— Не хочу. Ну их! Вдвоем-то лучше... Поцелуй напоследок.

У станции приталпливался народ. Вопила гармошка. Осиплое ее оранье перешибал чей-то напористый голос:

Милый в армию уехал,
Он замочек мне купил.
Только ключик от замочка
Взять с собою позабыл...

Гуляют новобранцы. Их провожают шумно, однако без слез: не война.

— Лизавета,— узнал певунью Сергей и, осознав неизбежность предстоящего расставанья, лицом и голосом почужев, отерпшие разомкнул руки.— Вот кому весело! Птаха бездумная.

— Это только кажется так, Сережа. Ты не знаешь ее.

— Чего там! Вся на виду.

— Ты пиши мне почаще. Ладно?

— Само собой. И ты пиши. Не скоро увидимся.

— Приедешь в отпуск.

— Помни об этом дне. Слышь?

И повела за собой тропинка Сергея. Вот она обежала яр, на крутом срезе которого, до половины видном отсюда, вили гнезда стрижи. Обежала и у переезда влилась в издолбленный, в широкий и пыльный тракт и растеклась в нем, сгинула.

— Ждать буду, Сережа!

Он оглянулся, выронил из судорожно сведенного рта еле слышное:

— Жди-и...

Любава расслышала одно только «и», но догадалась и обещающе, всем телом, помыслами всеми потянулась вослед.

От толпы отделились двое парней. У каждого в руке по бутылке. Любава отступила к лесу.

— Наш день, Серега! Пей! Гуляй! Там не разгуляешься.

Выпив и расколотив о рельсы бутылки, они ушли к станции, а когда шли — оглядывались и смеялись.

«Неужели сказал? — обидой сплющило грудь, выдавило слезу.— Ведь это для тебя, для единственного!..»

Из-за поворота выскочил черный сыч-паровоз, оглядел все вокруг выпученными глазами, равнодушно, старчески гаркнул и протащил состав через переезд.

Гармошка еще вопила. Лизавета в желтом приметном платье еще металась по кругу, но толпу уже прошило дорожное беспокойство.

Круг рассыпался. Гармошка смолкла, недовольный мелкой человеческой суетой, рявкнул опять паровоз, запышкал, залехтел, как борзая, уставшая в тщетной погоне. Обозленные тем, что впустую крутнулись на месте колеса, ткнулись друг в друга вагоны. Смех, гвалт, пьяные песни утонули в железном гаме.

— Любава! Люба! — К яру, к лесу бежал кто-то, и, угадывая милого своего, поникшая подле куста волчьей ягоды, Любава встрепенулась, вскрикнула и полетела навстречу. Вставали на пути уплаканные светлою смолкой сосны, брызгала остывшей кровью прошлогодняя брусника, кричали раздавленные бесчувственным каблуком недавно обласканные цветы. Все это исчезло, стало невидимым, бестелесным. Вещественным было лишь время, как вар, тягучие секунды. Виделась только поляна, и на другом краю этой поляны — распластавшийся в беге человек — не Сергей.

«Так что же он? Чего ему надо?» — оборвала свой полет Любава. Оборвала, и сразу все — деревья, подснежники, старый ягодник, травы,— все, что мудро и с великим смыслом сотворено и выпестовано природой, все это оказалось тут же, вокруг Любавы. Лишним во всем этом большом, до мелочей продуманном царстве был только бегущий сюда человек.

А он уже тянул к Любаве распахнутые руки с напряженно разъятыми пальцами, он уже утишил свой бег, он с застенчивою надеждой, с нежностью улыбался и подходил, на что-то рассчитывая, но в любой миг готовый попятиться.

— Я все глядел, глядел тебя...— глуховато, спотыкаясь и замедляя шаг, говорил он и краснел. И девичьи щеки его, и мохнатый солнечный шар волос багрово

пылали.— Тебя Серега, что ли, обидел? Почему к поезду не пошла?

— Никто меня не обижал. Никтошеньки...

— А то я...— расшаперенные пальцы его спрессовались в тугой, не по-юношески сильный кулак: кулак вспух гневными жилами и тотчас расслабился.— Ну добро, коли так. А че скрываешься? Я едва разглядел. Вижу, белеет в соснах такой сугробчик. Ну, думаю, Любава. Все, значит, как надо?

— Все как надо, Ваня.

— Да. Ну я пошел...— через плечо уже оглянувшись, он только теперь рассмотрел истерзанное платье Любавы, и в добрых его, в щенячьих глазах всплеснулось неистовое смятенье.— Эх, Любушка!..

— Уходи! — злобно замахнулась Любава.— Слышишь?

Угрохотал черный сыч — паровоз, насмешливо окурив сизым дымом деревья, кусты и травы... и этих двоих... Уткнувшись в колени, Любава молчала и только из невероятной, из женской гордости не оказывала слез. Ни слов у нее не было, ни сил, чтобы сказать что-то или сдвинуться с места. Одно лишь тупое удивление скорой и непонятной переменчивости настроения, которое совсем недавно было ровным и светлым, а все в мире стояло так незыблемо, так основательно, что казалось вечным и неколебимым. Теперь это все померкло, накренилось и, казалось, вот-вот рухнет. А вокруг словно затевалось что-то жестокое и нечистое. И хоть никто этим не управлял, но все в природе злобно смеялось, и смех слышался ей из-за каждого куста, из-за каждого дерева.

— Вот они где воркуют, голубчики! — вкрадчивый из-за куста прошелестел голос.

Иван отпрянул и, как солдат-первогодок перед строгим взводным, вытянулся по стойке «смирно». Это вышло непроизвольно и смешно.

Над кустом возникла голова с яркою, с длинною, с неспокойною улыбкой, с мелким кошачьим оскалом; взметнулось желтое платье, плотно облившее гибкое быстрое тело.

— Куда ж, думаю, Ванюшка мой запропал? А он вон чем тут занимается! Схлестнулись, стало быть, не оробели? Скоро вы! А я, дура, уши развесила, чирикаю там...

— Молчи, Лиза!

— Не глянется? А Любе ничего. Любе поглянулось, видать. Может, мне отойти в сторонку, Любушка, подружка моя дорогая? А то попросту ладошкой прикроюсь. Давайте любитесь, пока я добрая.

— Молчи, Лизавета!

— Ой-ой! Напугал! Ну чисто всю истрясло от страха.

— Ну? Что я сказал? — Иван опомнился наконец, подскочил к ней, сильно и яростно встряхнул. Ясные глаза его гневно и грозно сузились, потемнели, суля недоброе.

— Ты — бить? Меня бить? За Любку, за стерву? Ай, бей-бей, собачья душа! Заслужила того верной своей любовью. Вот как ее, любовь-то мою, травят, пинают...— Лизавета откинулась, гнучую, кошачью напрягла спину, задышала часто и оскорбительно. Отклоняясь, она притягивала к себе Ивана и падала в траву, влекущая, хищная, злая.

«Нну, эти бабы!..» — расцепив руки ее, Иван освободился от жадных, от ревнивых объятий и отступил в сторону. Она упала, билась в траве и сквозь неплотно сомкнутые пальцы наблюдала за ним.

Прислонясь спиной к старому разоренному муравейнику, ощущая в груди сосущую пустоту, безмолвная сидела Любава и не могла решить: уйти или остаться... Хоть уйди, хоть останься — все равно пребудут с тобой и пустота эта и вечное недовольство собой.

У переезда опять гуднул паровоз, одолевший многие тысячи верст, гуднул и прогрохотал мимо. А позади состава остались эхо и запахи. Обнюхает их чуткий легкомысленный ветер и улетит, и улетит, минуя человеческие страсти, тревоги и неурядицы.

— Ты не беги, не беги, миленок! Побудь... не со мной, так с Любавой...

— Из-за вас к поезду опоздал...— пробормотал Иван и зашагал к станции.

— Скажи мне, подружка... все, как есть, скажи... Было у вас?

— Не тронь меня, слышишь? — Любава высвободилась из ее цепких рук.— Не тронь... я и без вас счастливая.

— Это кто ж тебя осчастливил? — едко засмеялась Лизавета и, обежав соперницу кругом, заглянула ей

в лицо.— Если он... если с ним, Любка, я глаза тебе выцарапаю. Вот те крест!

2.

В конторе было накурено, и Любаву поташнивало. Впрочем, ее тошнило и в других местах в последнее время. Взглянув на ходики с подвешенным к гире пресс-папье, она прибрала свои бумаги и, что нужно, передала бухгалтеру. Маленький, сморщенный, болезненного вида, из-за которого всегда казался злым, Платон Иванович мягко улыбнулся и, хромая, вышел из-за стола.

— Отработала, значит? — В руках у него была коробка конфет, перевязанная розовой ленточкой. Вручив коробку Любаве, бухгалтер легонько подтолкнул ее к выходу, но тотчас, словно вспомнил что-то, задержал и с надеждой спросил: — После сессии-то вернешься?

— Конечно. Я же по второму-то году на заочное перевелась,— уже с порога ответила Любава.

— Ну, умница, умница! Поезжай, да чтоб все сдала на «отлично»! — довольно закивал Платон Иванович, у которого не хватало в бухгалтерии специалистов. Любава с конторским делом освоилась, была добросовестна и исполнительна.

— Как выйдет. До свиданья, Платон Иванович.

В коридоре, на подоконнике, о чем-то беседовали Дутыш с Иваном. Посуровев лицом, Любава отчужденно кивнула им и прошла мимо.

— Девка-то вроде пухнет,— глумливо подмигнув, ухмыльнулся Никита.

— Не наша это с тобой печаль,— пробурчал Иван, болезненно морщась. Каждое слово о Любаве заставляло его страдать.

— Дак ведь как посмотреть на ето. Меня вроде не щиплет, тебя маленько пощипывает. Ну ладно, ладно, шибко-то не полыхай, братуня, сгоришь,— мелкой крупкой рассыпал смешок Никита и, для виду пошарив в кармане, удивился: — Гляди-ко ты, пусто! А ну-ко дай курнуть, а то я спички дома забыл.

Подавая ему портсигар, Иван держал его двумя руками, словно боялся уронить. Руки дрожали, и он не хотел, чтобы эту дрожь заметил востроглазый Никита.

— Слушай, шуруй-ка ко мне в помощники.

— В начальство выбился?

— Выдвигают,— опять шельмовато подмигнул Дутыш, в одну затяжку растратив полпапиросы.— Выдвигать перестанут, я живо братана твоего свергну.

— Да ну?

Никита мнил себя опасным человеком, которого остерегается всякое начальство. Мужики знали об этой невинной его слабости и, потешаясь, частенько подыгрывали ему. Иван тоже не отказал себе в удовольствии.

— Прямо так возьмешь и свергнешь?

— Как дважды два! До Лексана кто троих свалил? Хоть кого спроси — я. На собрании выдам речугу — народ сразу нос по ветру: ага, чем там попахивает? Я сяду, помолчу да ишо один дебат сделаю. Тут уж, братуня, мнение складывается. А мнение в наше время — все! Потому и ходит передо мной верхушка на цырлах. Тот же Лексан и так и эдак старается угодить. Тебе, Никит, дескать, нельзя тяжелое подымать. Тебе в перву голову руководить надо.

— И руководишь? — начиная скучать, из вежливости спросил Иван. Все это было слышано-переслышано. А Любава прошла, не остановилась. Глянула так, словно Иван в чем-то перед ней провинился.

— Само собой, братуня. Хорзовской фермой заведую. Ферма хоть и не велика, а ответственность — ууу! Есть при мне, промежду прочим, вакансия кочегара. Ежели хошь — оформлю.

— Мне бы что-нибудь попроще, дядя Никита. Я при начальстве робею,— съехидничал Иван, но Никита, увлекшись, не заметил.

— Не настроен в кочегары — бригадиром иди либо учетчиком. Тоже с пупа не сорвешь. У нас, братуня, все мужики в командном составе. Мало их, мужиков-то, беречь их надо, мужиков-то.

— Женщин, стало быть, не надо беречь?

— Женщ-щин? Ххы! Че их беречь? Сами уберегутся, пилы деревянные! Моя вон семь лет меня пилила... пока к другому не ушла. Того, сказывают, два раза из петли вытаскивали. А я ничо, здравствую. Служба непыльная. И поохотиться есть время, и книжку умную почитать. Ерудиция как следует быть.

— Книжки почитываешь, а газетку вчерашнюю читал?

— Газетки — ну их! Газетки у меня на розжиг идут

аль на курево. Вот про шпионов — это да! Или ишо про инопланетян... Тоже уважаю.

— Начитанный! А что под носом творится — не знаешь! Корма-то опять на ползимы заготовили!

— Меня это не прижигает. Даже напротив: к весне контингент коров поубавится.

— Хорош заведующий! Скот моришь...

— Дак я ж это...— слегка смутился Никита и щелчком прилепил окурок к носу какой-то женщины на плакате.— Я ж ночной заведующий. По-простому вроде как сторож.

— Поустраивались на теплые места,— не слушая его, сердито говорил Иван.— А бабы хрипок за вас гнут.

— Всяк за свою должность в ответе. Коров у меня не крадут, корма — тоже. Так что все в полной номенклатуре. Дай-ко ишо одну на дорожку,— но вместо двух Никита взял три папиросы: одну сунул в рот, две — за уши. Иван сердито выбил их, растоптал и, чуть не уронив Никиту, вышел, сильно хлопнув дверью.

На улице было свежо, тихо. Вечернее небо задумчиво сыпало редкие снежинки. Одна упала Ивану на губу. Он слизнул ее, распахнул ворот шинели и пустынной, точно вымершей улицей заковылял к своему дому. Из Рязановского переулка навстречу ему медленно выбрела тетка Матрена, поздоровавшись, пошла рядом.

— В гости-то че не заходишь?

— Зайду... как-нибудь.

— А может, щас? У меня с покрова бражонка стоит.

— Спасибо, тетушка. Сейчас не могу,— соврал Иван, хотя не знал, как убить время. Вынужденное безделье тяготило его. А на работу врачи не выпускали, вот и коротал день, как мог.

Матрена кивнула и, без слов поняв все, чего он не договорил, открыла калитку. Перешагнув порог, долго и остервенело терла распухшие суставы.

— Косточки-то мои... косточки-то мозжат как! Ох ты, господи! Ох, господи, воля твоя! Отпилить бы их, руки-то! Не руки — крюки! Маюсь век свой... Пошто маюсь?

Поворчав, постонав, Матрена сердито оглядела назревающее Любавино чрево, вздохнула, черкнув по ее лицу тусклыми угольными глазами.

— Вот она, жись-то, как вертит! Неласкова с нашим братом! Ох, ох, в институт свой когда поедешь?

— Собираюсь, да вот думаю... неловко в таком-то виде. Да и тебя как одну оставлю?

— Обо мне не гребтись, не дите! Собирайся давай. Я за груздками слетаю.

— Да постой ты, мама! Руки-то отмочи... едва вон гнутся.

— Руки что, саму согнуло,— старуха со стоном поднялась, стала надевать шубенку, охнула.— В поясницу стрельнуло. Как худу ведьму ломат...

— Может, все-таки остаться? Я ведь и весной могу сдать,— осторожно сказала Любава, но мать заворчала на нее, принялась расписывать, как худо жить неученой и как, наоборот, хорошо и легко живется образованным.

Любава слушала ее бесконечную воркотню и думала о своем. И материнская жалоба накладывалась на ее цветистые, веселые воспоминания.

— ...Ни я, ни Павел светлого дня не знали, от зари до зари гнулись...

Заря пылала, как раз та заря, накануне проводин. Любава и Сергей бродили в весеннем лесу, пили сок березовый, грызли стебли медунок, ногтями выцарапывали из влажной, липкой земли саранки и целовались. Потом Серега поджег старую скирду соломы, лежали на соломе, грелись... Любава сушила чулки. Серега нес ее через ерик, полный воды, оступился в яму, и оба рухнули в воду.

— ...И братьям твоим хотел образование дать, в люди вывести...

А может, и не в воду рухнули — глубже куда. И вместе с ними оказался этот кусок мира, с зарею, с соломенным костром, с беспокойными, жаркими руками Сереги. «Не надо, Сережа! Потом, потом...» — «Завтра?» — «Ну, если хочешь, завтра...» Выкатилось солнце, раздвинуло только им двоим видимые границы, и мир сразу предстал огромным, сложным. Только этой сложности они не сознавали тогда. Все было или казалось просто, как школьная задачка в двух действиях. Они говорили с Серегой о людях, о их страхах и подшучивали над людьми и над их страхами. Жить на такой доброй и прекрасной земле и чего-то бояться! Ну не глупо ли? Вон солнце встает — что же в том страшного? Или огонь вот горит... он же греет, огонь, а соломе не больно. Пепел земле на подкормку пойдет. «О чем ты дума-

ешь, Люба?» — «Ни о чем... мне спокойно... и так хорошо, как никогда...»

— ...А детушки не вышли в люди,— ворчала старуха, уже забыв про Любаву.— И отец их ненадолго пережил...

Она стояла подле портретов сыновей, мужа и высказывала им свои обиды, коря за то, что рано ушли из жизни, что оставили дом без мужских, надежных рук. Был бы отец жив, взял бы сейчас ремень и выстегал Любку-самовольницу...

— Ты же груздков обещала,— оторвавшись от своих воспоминаний, напомнила матери Любава.

— Разе? — вскинулась тотчас мать.— Вот мутовка старая! Совсем забыла. А все ты, все ты с панталыку меня сбивашь!

Мать отошла, отмякла, ворчала теперь добродушно, да, верно, и боль, ее донимавшая, отпустила. К чему-то потыкавшись из угла в угол, выглянула в окно: может, Иван там, спросить Любаву да на посошок кликнуть. Нет Ивана... Ну ладно, обойдемся и без посошка.

Ушла Матрена, клонясь вперед, будто сутулые ее плечи земля тянула, а она противилась неодолимому тяготению земному, прямила старые свои плечи и не могла выпрямить: сила на силу. Ходила когда-то прямо, глядела вокруг себя светло и ясно, и в каждом движении, во взмахе и теперь еще густых и тенистых ресниц были вызов и уверенность. Беды и время вымыли, выщелочили темный Матренин волос до тусклых седин, осутулили стройную спину, согнули стан. Извитые, извязанные жилами, провисли руки. Тяжелые, крупно выкованные, жили они на этом большом теле отдельно. Двигалось при ходьбе тело, а руки, словно протестуя, были недвижны, готовые вскинуться, воскрылить. И вскидывались, и воскрыляли. Но чаще горестно сдавливали рано пожелтевшие виски, чаще спокойно и деловито лежали на поручнях плуга, ласкали черень косы.

Более всего помнится Любаве, как почерневшие материны руки гужами оплетали тележные оглобли. Их будто приклепали к оглоблям. И кровь из них вытекла. Вытекла кровь, и ногти посинели, а руки все держат концы оглобель, а шею, охомутав, трет и трет задубевший ремень. Тележка с бугром картошкой нагружена. А тетка тащит этот нелегкий груз на базар за двадцать километров; ни грязь ей, ни ложки с протоками не пре-

пятствие. Тащит да покряхтывает. И довольна: сумела уломать бригадира, отпустил на промысел. Тащит и старается не замечать, забыть о том, что ссохшиеся бродни до крови растерли ноги, что вспух и горит на шее багровый рубец, что резкая боль в затылке... Тащит кормилица, тащит мать, а дороге конца не видно. Только терпение материно длиннее самой длинной дороги.

Потом она вернется, устало перешагнет порог, руку из-за спины — и явит Любаве диво невиданное — сладкого петуха на палочке. Ах, как чудно блеснет петух холеным гладким крылом своим, как повернется на одной ножке, но не вскрикнет. Зато вскрикнет Любава от счастья и, трепетно приняв его, ткнется пенною головенкой в широкие, в гудящие ладошки матери.

Ах, петухи, петухи, леденцовые горлопаны! Добрая, русская голова вас придумала! Сколько детских душ обласкано вами! Сколько глазенок ясных светилось вот так же радостно и зоревато!.. Петя-петушок, красный гребешок, махонькое сладкое чудо нашего детства!

«Чего она так долго-то?» — Любава нетерпеливо скрипнула лавкой, проверила еще раз — все ли собрала с собой — и пошла к погребу.

— Осклизнулась я...— виноватый, глухой из-под земли послышался голос.— Лестница эта, холера! Сколь раз заменить хотела — не собралась. Вот и ухнула.

— Вылезай, мама.

— Вылезти-то я не могу. Говорю же, осклизнулась.

— Помочь? — осторожно спросила Любава, зная, как сердится мать, когда ей напоминают о немощности.

— Да уж помогай. Сама-то, видно, не выберусь. Сперва груздочки прими. Я тут ма-ахоньких навыбирала. Махонькие доле сохранятся.

— Ушиблась?

— Ушибчись вроде не ушиблась. А вот руки будто хрустнули.

— Сломала, поди?

— Так уж и сломала,— сердито свела брови тетка Матрена, но, подавая грибы Любаве, чашку не удержала, охнув, выронила. Любава спустилась в погреб, высадила мать.

— Где больно-то?

— Тут вот, в запястьях. Груздки-то в банку склади да прикрой поплотней. И кому зря там не раздавай. Самой пригодятся. В тягости завсегда соленое в охотку.

«Фельдшера надо!» — глядя в побелевшее, в мелких бусинках пота лицо старухи, жалостливо думала Любава и, точно вспомнив, вдруг спохватилась:

— Книжку у Лизаветы забыла!

— Вечно не слава богу! — проворчала мать.— Беги, а то к поезду не поспеть.

В медпункте никого не было. И дома сказали, что Лизавета уехала за медикаментами в район.

«Ждать буду. Не поеду сегодня»,— решила Любава и воротилась домой. Тетка Матрена ходила по избе, убаюкивая немощные теперь и еще более отяжелевшие руки.

— Нету Лизаветы,— слукавила Любава.— А без книжки никак нельзя ехать.

— Не ври-ка! — сурово обрезала мать, догадавшись о причине задержки.— Собирайся давай! Ишь манер взяла старших обманывать!

— Не поеду!

— Это как — не поедешь?

— А вот так. Не поеду, и все.

— Ремня захотела? Не погляжу ни на че... высеку! Ой! Рученьки-то мои... ой! Дух задавило! Как я без рук-то теперь?

— А я зачем? Я же при тебе буду.

— Я те побуду! Я те побуду!

— Не надрывайся, мама. Я и позже могу уехать. Завтра уеду.

— Ну гляди, токо до завтрева.

Любава запихнула чемодан под кровать, переоделась и пошла вместо матери на вечернюю дойку. А когда вернулась, тетка Матрена, невероятно сугорбясь, распухшие скрестив на груди руки, покачивалась в переднем углу и чуть слышно всхлипывала.

— Все еще не была Лизавета?

— До меня ей, стерве гладкой! Забыла, на чьих руках выросла! О-ох! Моченьки не-ет...

Любава сбегала в медпункт и привела с собой гибкую, быструю, словно электрическая искра, Лизавету.

— Перелом, тетка! Айда в больницу.

— Ох, господи! Коров-то на кого брошу? И дом без присмотра...

— Не заботься — найдут замену. А за домом я погляжу.

Любава отправила мать с попутной машиной и, вы-

тащив из-под кровати чемодан, разобрала его, разложила, развешала платья и юбки по прежним местам.

«С приездом, Любовь Павловна!» — усмехнувшись, поздравила себя и, достав из-за матицы пачку писем, помеченных цифрами, стала читать.

«Любушка, зорька моя золотая!

Давно ли расстались, а мне кажется, сто лет минуло. И боль разлуки стала во сто раз сильнее. Я не думал, что так тяжело все это переносить. Я думал, любовь — одна только радость. А вот люблю тебя и — грустно. Пройдет еще много-много дней до того часа, когда я смогу тебя прижать к своей груди, и тоска наконец утихнет. Ведь так просто: приехать, увидеться, а вот не вольны. Мы только ниточки в громадном и сложном клубке жизни. И что бы мы ни хотели, что бы ни думали — все будет так, как предусмотрено логикой клубка. Я только хочу верить, что все предусмотрено разумно и справедливо, и ничто не помешает нашему счастью.

А ты веришь, родная моя?..»

Любава заплакала. Наплакавшись, снова стала читать письма, хотя читала и перечитывала их бессчетно и каждое знала наизусть, знала, где и что перечеркнуто, какого не достает знака препинания. Но все-таки перечитывала и так, словно общалась с живым человеком. А человека рядом не было. Порой Любаве казалось, что его и в живых-то нет. И она, как мать, когда-то оплакавшая отца, так же оплакала Серегу, а все остальные невыплаканные слезы соленым камнем застыли в душе, и носить ей этот камень, пока жива, читать и перечитывать письма и терпеливо, без треска сжигать понемногу, день за днем, неяркую свечку своей несложившейся жизни.

Но ведь жив, жив Серега! Только перестал писать. Наверно, не без причины. Там же армия, могли куда-нибудь в секретное место услать, откуда и писать запрещено, или выполняет важное задание, мало ли. Все может быть. Он даже в пограничных событиях участвовал и, по словам Ивана Рушкина, вел себя геройски. Ивану не повезло: в первом же бою пуля ужалила в ногу. Воротился домой, хромает теперь. А Серега служит. Служить ему, как медному котелку.

Иногда Любава жалеет, что ранили не его. Был бы сейчас с ней, а Иван, наоборот, дослуживал бы свой срок на восточной границе.

Подумает так и устыдится мыслей своих. Желая добра себе, поневоле желаешь зла человеку. Кому охота болью захлебываться! Нет-нет, пускай вернется Сергей живым и невредимым. А ждать недолго осталось. Другие дольше ждали... не дождались.

— Здорово живешь,— в дверь без стука, по-свойски просунулся щекастый улыбчивый мужчина.

— Проходи, Александр Семенович,— Любава собрала Серегины письма, стянула резинкой и, сунув под матицу, выжидательно уставилась на незваного гостя.

— Газеты почитываешь, Любава? — он хмыкнул, полез за папиросой, но, покосившись на хозяйку, сунул портсигар в карман.

— Кури.

— Так вот я и говорю,— разминая в толстых, с заброневшими ногтями пальцах тонюсенькую папироску, издалека начал Рушкин.— В свете последних событий... Коровенок доить некому. Тетку, слышал, в район увезли. Одна доярка в декрет ушла. Две в города усвистали. Аховая создалась ситуация! Ты, Любава, девка вострая, на зоотехника учишься... советуй, как быть.

— Ума не приложу.

— Стало быть, один я должен прикладывать,— огорчился Рушкин и, во все легкие затянувшись, потерялся в дыму.

— Прикладывать или прикладываться? — потянув носом, усмехнулась Любава.— Дохнешь — хоть закуску ищи.

— А? — Рушкин само собой не понял. Затянулся еще глубже и, достав новую папиросу, прикурил от прежней.— В институт-то когда поедешь? — выдержав недолгую паузу, спросил в лоб.

— До весны отложила.

— Да ну? Вот удача! — он вроде бы удивился, а сам уж заведомо знал, что Любава остается, и потому сразу же прибежал к ней.— Может, заменишь ненадолго мать-то. В конторе и без тебя обойдутся. Счетовода легче найти. А вот доярку... доярки в Хорзовой поценней, чем балерины. Нету их, Люба! Нету, дак в кузнице не выкуешь. Верно? И на базаре не купишь... в свете последних событий.

— Что ж, придется идти в доярки, раз они балерин дороже,— улыбнулась Любава, которую забавляла неуклюжая, смешная и вызывающая жалость, в то же вре-

мя хитрость председателя. Не от хорошей жизни ходит по дворам, уговаривает пойти на ферму. А желающих мало. Если точнее, их вовсе нет, желающих-то.

— Дороже, Любушка, много дороже,— со всхлипом затянувшись, Рушкин смежил короткие над маленькими плутовскими глазками веки, от этого стало казаться, будто глаза затянуло цыплячьей пленочкой. Однако посередине пленочки, точно бритвою кто надрезал, шла узкая щелка, сквозь которую испытующе и зорко хитрющие проглядывали зрачки.— Так что выручай, будь ласкова. А то ведь я это... задымлю с горя!

— Сейчас-то по какому случаю выпил?

— Сын у меня родился! На пять килограмм боровок! Во, пахарь! Уж его-то я не пущу в город! Уж его-то землю пахать заставлю!

— Значит, нашего полку прибыло?

— Полк не полк, а пол-отделения наберется. Пять солдатиков да две девки.

— Поздравляю. Надо бы что-нибудь подарить новорожденному-то...

— Ты уж подарила... выручила — и на том спасибо. Я теперь спать спокойно буду.— Он грузно поднялся, и Любава подумала, что Рушкин не молод, израненный весь, а вот бегает, хлопочет, бодрится на людях, но дома, видимо, снимает с себя личину и боль физическую, и боль душевную заливает вином, а дела все хуже. Человек ложится с мыслью, мол, утро вечера мудренее: проснешься — утро новое, а сам стал на день старше, а вместо мудрости — сознание собственного бессилия, обида и усталость.— Ага, усну. А вот Ваня совсем спать разучился... отаптывает по ночам твои завалины.

— Пускай попросит у Лизаветы сонных порошков.

— Шутишь? Ха-ха,— печально посмеялся Рушкин.— А ему не до шуток, как я понимаю.

— И мне не очень весело, Александр Семенович,— надевая материнский халат, сухо сказала Любава.— Мне, может, выть с тоски хочется, а я молчу.

Рушкин кивнул, как бы выражая согласие, хотя понимал, что все не так просто. И лучше согласиться для виду или отделаться шуточкой.

— Да, все вы овечки кроткие! Моя вон тоже до свадьбы всякое пела! Теперь чуть чего зубы показывает.

— Пей поменьше.

— Не пил бы, жизнь вынуждает. Вон он, колхоз-то,

весь рассохся. А я как-никак председатель. Стало быть, я больше всех виноват в этом. Ну, не подведи виноватого, Любава.

— Не подведу.

3.

Тетка Матрена пролежала в больнице около месяца. Какая-то из костей срослась неверно, и ее ломали и снова сращивали.

И вот вернулась домой, сердитая, смущенная тем, что впервые в жизни позволила себе заболеть, тем самым сорвав Любаве учебу. Вернулась тетка и ворчала, а Любава, угощая ее ужином, безмолвно улыбалась и, еще более располнев, ходила тяжелой ступью, боком. Она вполне освоилась на ферме и подчинилась обстоятельствам, ни о чем не жалея.

Тетка хлебала щи, ела шаньги, похваливала и успевала незлобиво ворчать, смахивая ладошкой редкую, будто ветром нанесенную слезу.

— Училась — не доучилась... Как я же, темной век проживешь. Для того ли гнулась я на тебя?

— Шаньги-то стынут, мама. Холодные шаньги — не шаньги вовсе. Кушай давай!

— Че ты меня наталкиваешь? Дите я, что ли? Сказывай, как жила без меня?

— Хорошо жила, коровушек твоих доила.

— Глянется материна работа?

— Работа не хуже всякой другой.

— Ехала бы в институт... Поди, не поздно еще?

— Теперь уж весны ждать буду. Я так и написала декану: весной сдам за оба семестра.

— Что за девка, что за самовольница? Вон че выкомаривает, матери не спросясь! Ну-ка иди сюда, я тя за патлы твои оттаскаю.

Ухватив дочь за тугие бело-золотистые косы, потрепала слегка и уткнулась ей в грудь смуглой высеребренной головой.

— Мама ты моя, мама! И чего ты убиваешься из-за меня. Никуда не уйдет учеба! Сдам... все заочники так учатся.

— Это уж не учеба! Это одно баловство, вот что,— сморкаясь и опять переходя на привычный ворчливый

тон, говорила тетка Матрена, хотя в душе во всем соглашалась с Любавой.

Ни раньше, ни теперь она единым словом не попрекнула дочь, хотя желала — во сне это видела,— чтобы все было, как у людей, по закону: умный, с положением муж, щебетливые внуки, и она при них, довольная и хлопотливая. Не сложилось...

«Сохрани, господи, раба твоего Сергея!»

Поскрипывая половицами, Любава стелила постель. Себе на голбце, матери — на кровати. Кряхтела, косясь на дочь, тетка Матрена и воровато обмахивала давно не крещенный морщеный лоб. Лик троеручицы был умиротворенно сыт и гладок. В нерусском взоре тихая благодать. Взбугренные веки медленны, как после долгого сна. На лбу запыленная лучилась звезда. Две руки обнимали невзрачного младенца, третья указывала на кротость его, на готовность принять за людей великие страдания. Тем же, по старому складу, двуперстием насилует изломанные пальцы тетка Матрена и не очень верит в хваленую апостолами всесильную мощь божества, но где-то в глубине души скоблится крохотная надежда: а вдруг?.. Отчего бы и не помолиться? Может, есть он, тот свет? Может, бог еще над людьми властен? Или помер он давно в человеке и никогда более не воскреснет?..

Отчего бы и не помолиться... Нас не убудет.

Крестит тетушка испаханный временем и безвременными скорбями лоб и думает о Любаве, которая улеглась на голбце и тихо вздыхает. Крестит, а глаза к долу, а мысли далеки от молитв. Крестом придавила и замерла. Ни сердца не слышит, ни дыхания своего. Любава... дочушка!

— Спишь? — отдирая занемевшую, пористую ладонь ото лба, спрашивает она шепотом.

Любава не откликается, дышит ровно и мокрые, солоноватые не вытирает щеки. Тетка Матрена на цыпочках крадется к голбцу, благословляет ее и выключает свет.

Едва слышное, булькающее доносится из черного репродуктора на стене бормотанье. Дальний мужской голос обозначает державное время, и после него, словно бы познав некую освободительную радость, заходится в трубной руладе певица:

— У любви, как у пташки, крылья...

Дальше идет сплошной дребезг, из которого вырываются одни только окончания да редкие слоги. Нехорошее приходит на ум. Кажется, певичка эта от пресыщения духовного, от обилия свалившихся на нее благ тяжко, по-ямщицки бранится, и ветхой коробке уж не по силам и совестна эта хриплая брань. Коробка жалко скрежещет и замолкает.

Ворочается и вздыхает на перине тетка Матрена, перебирая в памяти те счастливые дни. Перед глазами словно живые стоят ее мальчики. Они уж выросли... здоровыми, крепкими росли, не в счет, что пережили две голодовки. Первый-то, Родион-то, прямо в поле родился, под копешкой дал о себе знать. Благо, Павел был близко, сам принял сына на руки, сам пуповину перегрыз, обмыл водой родниковой и всю дорогу — от покоса до дому, верст семь, однако,— без передышки кричал от радости: «Сын у меня! Сын, Родька!»

Был гармонистом Родион, девок тревожил песнями, а ни единой не успел обласкать, видно, судьбы своей дожидался. Дождался... лежит в сырой земле.

Андриан пташек любил, ловил их, прикармливал и выпускал на волю. Потом они сами к нему прилетали. Прилетят, бывало, и долбят в окно: давай, хозяин, корми гостей. Сам лишнего кусочка не съест, а им оставит. Когда уходил на фронт, птицы стаей за ним летели. Помахал им, задумался и, словно чуял, что не вернется, сказал: «Ищите, птахи, другого кормильца».

Кирилл озорник был, из троих больше всех хлопот доставлял. И по огурешникам шастал, и девку одну, Танюху Зауральскую, охомутал. Да и она хороша оказалась... едва ушел на фронт — вышла за какого-то ферта замуж, уехала с ним неизвестно куда. А Кирюха писал ей, домой писал, когда не дождался от девки ответа.

Детушки, сердешные детушки! Как же так вышло-то? Осиротили вы мать свою.

И долго еще, пока сном не забудется, будет попрекать своих сыновей тетка Матрена. Наговорится вдоволь — заснет. В ее годы много ли спится. Сон зыбкий, как у курчонка.

И Любаву он обошел. Беззвучно плачет на голбце Любава. Может, одна-единственная на всю планету плачет она посреди долгой зимней ночи, плачет, а сама в себя, в ту потаенную жизнь вслушивается.

Чего бы плакать-то? Радоваться надо. А вот плачет-

ся ей, и, пока не вытечет главная слеза, век не смежить. Мир ночью съютился в доме, но и дом для Любавиного мира велик, хватает ему пространства на верхнем голбце. Слева — теплая печь русская, справа — занавеска, а за нею — полати — уже иная, живущая по своим законам малая галактика. Туда сейчас забралась кошка с котятами. Отдерни занавеску — увидишь зеленые две точки. Жутко, когда ты одна, пусть хоть и в крохотном мире, а рядом светятся дьявольские эти глаза.

На матице мята, и несет от нее забытым радостным летом; прямой обман: лето замерзло под снегом, почернели усохшие травы, опали цветы и листья, но все же приятно напоминание о красных, балованных солнышком днях. Сорвав запашистый крохотный листик, Любава мнет его меж пальцев, внюхивается, и что-то забытое шевелится внутри, будит закоченевшую в тоске душу. Был день... да полно! Был ли?.. И там, на поляне подле Пустынного, сладко тянуло лонской ягодой, вереском и подснежниками.

На улице баян всхлипнул, и кто-то хриповато запел о том, как пролетели когда-то над Сибирью гуси-лебеди. Какие гуси, Ваня, какие лебеди? Разве что мухи белые в ночь зимнюю, бесконечную... Зачем поешь, зачем себе и мне душу бередишь? Ведь я скоро матерью стану! Не твоего ребенка матерью, Ваня, Серегиного!..

Ей стало печально, печальней, чем прежде, и — жаль чего-то, проходящего мимо. Но она улыбалась.

Песня кончилась. Баян вскрикнул у самого палисадника и смолк. Любава и не глядя знала, что Иван взволнованно мнет замерзшими пальцами сигарету, жадно затягивается и ждет, ждет, не позовут ли его... Напрасно ждет. Он славный, но как-то нескладно живет, мучается и мучит Любаву своим молчаливым, робким ожиданием. Ведь это нарочно не придумаешь: преследует беременную женщину! Будто девок порожних нет.

Опять задребезжал репродуктор, и сквозь треск, сквозь шорох прорвалось несколько отчетливых слов певицы: «Любовь... любовь...»

4.

Деревни когда-то впритык стояли. Границей служил хлипкий бревенчатый мосток. В коллективизацию и осо-

бенно после войны граница эта довольно расширилась. Дом сносился за домом. Хозяин выбывал за хозяином. И вместо одного большого села образовались две крошечных деревеньки. И в каждой из них до укрупнения был свой колхоз-недомерок. А теперь оба входили в «Зарю», и председательствовал в ней хорзовский Александр Рушкин, который, по заведенной традиции, перетащил в свой околоток правление, почту, сельсовет и заодно — магазин. Собрался было и медпункт перевести, но свояченица его, Лизавета, категорически воспротивилась: «Где ты меня поместишь в Хорзовой-то? В курятнике? То-то. А здесь вон какой домина!..» И — осталась в Першиной. И по утрам можно видеть, как бежит она в больничку свою, стремительная, веселая, тонкая.

После возвращения Ивана, с которым Любава была холодна, неприступна, первой пришла мириться, поняв, что зря ревновала. Сочувствуя неопределенному положению подруги, часто наведывалась к ней, ощупывала, оглядывала, успокаивала, в душе радуясь, что беременность так подурнила Любаву: «Ишь разнесло-то как! Чистая корова!»

Любава примечала ее кривые ухмылочки, торжествующий блеск в зеленых дерзких глазах, но, хорошо зная подругу, не придавала этому никакого значения. «Живу я... никого не трогаю, и вы меня не троньте»,— мысленно внушала она чужим людям. То же и Лизавете. И чего они судят? Красива или уродлива — кому какой вред? Нет, лезут в душу, нет, перемалывают на своих жерновах Любавину жизнь. А главный судья — ребенок, который молчит пока, лишь изредка попинает ножонками и снова ждет своего часа.

Что бы ни случилось, как бы ни сложилась судьба — складно или нескладно,— появится человек, человечек, самый родной, роднее матери, ближе Сереги... Все устремления, все помыслы — ему, только ему. Являйся скорее, человек милый! Если мальчик — Володькой будешь, если девочка — Таней. Являйся и дай испытать мне еще раз, один разочек нестерпимую, сладостную боль! С тобой мне не будет так одиноко среди людей. Все стерплю, все вынесу, что свалится мне на долю, лишь бы ты был здоров и счастлив.

— ...Тяжелое-то не подымай,— наказывает Лизавета, сама через плечо оглядывает себя в зеркало. «Есть, есть на что поглядеть. Спина-то вон как к бедрам сте-

кает! В талии двумя пальцами можно перехватить. А нога, а нога-то... куда только парни смотрят! Господи, да кому тут смотреть? Полторы калеки на весь колхоз. Дернула же меня нелегкая в Хорзову распределиться! Сколько выгодных мест предлагали! Нет, поехала, свистушка, из-за какого-то Ваньки Рушкина. Ходит Ваня — глаза на затылке. Выбрал себе счастьице... с чужой мозолью».

Лизавета отвела взгляд от зеркала и, устыдившись мыслей своих, хохоча и подмигивая, застрекотала:

— Ты не дрейфь, Любка! Выронишь — сама не заметишь. А главное, на ферму не ходи. Там без тебя есть кому жижу месить.

Но в доме было глухо, пустынно, и Любава убегала от этой гнетущей тишины на люди, старалась занять свои руки, а заодно и помочь матери.

— Опять явилась, ослушница? — увидав ее, нахмурилась тетка Матрена. Она тревожилась за младенца, совсем позабыв, что сама и под копной, и в борозде когда-то рожала, в пути — где придется.

Любава сидела на чурочке, следила за ослабевшими руками матери, вслушиваясь в звон белых струй о донце подойника, в шумные вздохи коров, в шлепки, потом, взяв низенький стульчик, ведро, обмыв тугое, разбухшее вымя огромной черно-пестрой Зорьки, начинала доить. Розовые, влажные сосцы вытягивались, сжимались; вскипали на дне подойника белые пузырьки. Бил в ноздри парной ландышевый настой. Среди всех прочих Любава улавливала один только этот запах, вдыхала его и замирала, когда в ней начинало ворочаться незнакомое желанное существо. Ровный гулкий дых Зорьки, ленивое помахиванье хвоста, медленная, как размышление, жвачка успокаивали, и руки привычно и споро делали свое дело.

Вот уж опало вымя, вот уж до обода полно ведро, а пальцы мнут и мнут сморщенные соски, выцеживают из них все до последней капли. Растроганно, благодарно косится на Любаву корова и ждет обычной себе награды — краюху, густо посыпанную крупной солью.

Буйная раньше была Зорька, дикошарая. Теперь отишала: старится или чадо свое бережет? Редко-редко переступит копытами, медленно мотнет круторогою головой и снова утробно вздыхает и донимает нещадно неубывающую жвачку. Стельная Зорька спокойна и

величава. Ходит по земле важно, словно сознает неоспоримую свою значимость. От прежних, от молодых выходок осталась одна — неумеренность в еде. Много ей жмыха надо, картошки, сена, а кроме всего — лакомую корочку с солью. Но съеденное сверх нормы Зорька оплачивает щедрою мерой. Даже теперь, когда до отела остались считанные недели, когда, порозовев, уже загустело молоко, Любава надаивает от нее полное ведро. Другие коровы плеснут по литру — и пусты. А эта не корова — фабрика молочная.

Холит ее Любава, ублажает. Трещинки на сосках смазывает вазелином, каждодневно расчесывает шерсть, чистит копыта и раз в неделю моет с ног до головы. Услышав издали Любавину поступь, Зорька мычит приветственно, морщит в крутом повороте широкую плоскую шею.

— Я своих сопляков так не обихаживаю, как ты корову,— смеется Галина Рушкина. Она в отличие от младшей сестры медлительна, грудаста, но улыбка так же длинна и волниста. Завьет улыбку, избоченится, сыто хихикнет, так сыто, будто все лучшее дано ей на этом свете. А дано-то: бабьи заботы, детей орава да пьющий муж.— И растут, слушай, ровно крольчата. В именах путаться стала.

— Когда много детей — славно!

— Немало славного: стирка да мытье. Не-ет, другие бабы умней: высидят по одному и — довольны. Одного-то выкормить в забаву. А ты семерых попробуй. Этот ребус не каждому по зубам.— Так вот, с шуточкой, что ни день. А сегодня голос лучинкой треснул, но Любава подумала не на то: «Все известно ей, потому и безрадостно. Как и мне, до конца жизни все известно». Ей стало вдруг жутко от этой жестокой определенности. А Галина, вздрагивая всем телом, уткнулась в коровий бок, пальцы пьяно съехали по вымени вальяжной Аксарихи. Корова удивленно косилась на доярку, роняла слюну, тревожилась.

— Ты чего? Что случилось?

— Опять загуля-ял... неделю не просыхает...

Любава подыскивала сочувственные, редкие слова, но в то же время останавливала себя: скажи их, что изменится. Но сказать нужно, нужно! Без таких слов жить немыслимо.

— Это пройдет, Галя! Пройдет! Он добрый у тебя

и честный. И любит тебя. Сама слышала. Я, говорит, во всем белом свете одну-единственную женщину уважаю.

От слов ее, что ли, напряженное плечо женщины расслабилось, помертвевшие руки ожили, налились силой.

— Уважает, а сам ударил... вечор.

— Спьяна, поди? Поди, пьяного пилила?

— Был грех,— смущенно замялась Галина.— По косточкам все его достоинства разобрала... И, знаешь, такое дрянцо получилось — жуть!

— Какой прок пьяного воспитывать? Ты трезвого пили.

— Дуры мы. Языкастые дуры!

— Сдерживаться надо. Ему тяжелей, чем тебе. Ты об одной семье хлопочешь, он — обо всем колхозе.

— Правда, Любушка, твоя правда! Мало побил, надо бы больше,— улыбнулась, оживая, Галина.— Так-то он сроду не буянил. Вечор после правления пришел, расстроен, а я накинулась...

— Ты лучше поддержи его лишний раз, посоветуй. Ссориться нехитро.

— Ты, Люба, будто две жизни жила. Все разумно у тебя, все к месту.

— Я на мать насмотрелась. Она сроду отца худым словом не задела. Потому и жили душа в душу. А уж мама-то за себя постоять умеет.

Они заканчивали дойку, когда появился сам Рушкин. За ним, ворча на ходу и тузя его по спине, семенила смеющаяся Лизавета.

— Опять надрызгался, христовый?

— Пьют и звери и скоты. Мне по должности положено. Должность такая каторжная. Вчера опять двое заявления о выходе подали.

— Еще десятеро подадут — вот гулянок-то будет!

— Тогда и я все к черту кину! В свете последних событий...

— Не кинешь. Ты человек несвободный. А Гальку не тронь... затуркал, разогнуться ей не даешь.

— Не твоего ума дело, сестра,— отозвалась из морозилки Галина.— Как-нибудь без сопливых разберемся.

— Гляди-ка ты! — удивленно пробормотал Рушкин.— Жена-то у меня... чистое золото! Эй ты, вертихвостка! Учись у старшей сестры!

— Детей плодить да от мужа колотушки получать? Это не про меня.

— Без детей, без мужа хошь жизнь прожить? Кукушка!..

— А хоть и кукушка, зато себе госпожа. Зато ребра никто не считает.

— Раз в жизни ударил — казнюсь, Галя! Казнюсь, милка! Хошь, на колени перед тобой стану? Ты в глаза мне наплюй.

— Кабы в твои щелки попасть можно было,— подколола Лизавета.— Не глаза — намек только.

— Ну вот что,— сурово оборвала Галина.— Не тебе нас судить. Разберемся сами.

— Лапушка! Ла-апушка! — рассолодел от ее неожиданного заступничества Рушкин.

— Трудно ей тут, Александр Семенович,— вмешалась Любава, сочтя, что теперь — самое время.— Все-таки семеро на шее. Ты — восьмой. Вымотали вы ее. Назначь туда, где полегче.

— Назначу! Ей-боженьки, ежели появилась такая думка!

— Да что вы заладили? — возмутилась Галина.— Мне и здесь хорошо.

— Ну, гляди ты: золото-баба, чистое золото! — умилился Рушкин, апостольски складывая перед собой руки. Ни дать ни взять — Никола-угодник, хоть сейчас в святцы записывай.

— С тобой и золото помедеет!

— Ух и варначка же ты, Лизка! — «апостол» сплюнул и выругался.— Совсем изварначилась со своими клизмами. Бери с Галины пример, может, человеком станешь.

— Уж какой я ни есть человек, а по утрам водку не бузгаю. Где опять насосался?

— Пуртова провожал. В леспромхоз наладился Пуртов.

— Скатертью дорога.

— Скатертью?! Да он лучший мой тракторист! Ежели все лучшие уйдут — с кем останусь? Тебя на трактор не посадишь...

— Никиту вон посади. Ходит, углы огибает,— указала Лизавета на сторожа, который стоял, переминаясь с ноги на ногу, подле Любавы.

— Меня из руководства никак нельзя. Я моненкла-

турный,— досадуя, что на него не вовремя обратили внимание, проворчал сторож. Он уж не в первый раз что-то порывался сказать Любаве, но та досадливо отмахивалась, отходила прочь. В конце концов не выдержав, кинула в него навильник сена и ушла в кочегарку.

— Молокопровод-то когда наладишь, хозяин? — наседала Лизавета на зятя. Вроде бы в шуточку наседала, а вопросы-то были серьезные, и отвечать на них тоже надо было серьезно.— Шары налил и не печалишься. А бабы, как встарь, бруцеллез наживают...

Рушкин собрался было ответить, но, опять погрустнев, обидчиво прикрыл узкие глазки, молча прошел в дальний угол коровника. Что ни говори, а Лизавета права: запущено тут все, словно и впрямь нет на ферме хозяина. Заведующий фермой Тепляков то пьет, то болен. Да что на ферме, его и в колхозе нет, если подходить самокритично. Впрочем, любой, хотя бы и семи пядей во лбу, без людей ничего не придумает, а придумает, так не реализует.

— Что я, глупей других, что ли? — сам с собою заговорил Рушкин, вспомнив, как был накануне в районе и получил там выволочку.— Вы вот сядьте на мое место! Ага, сядьте и поруководите. Указывать легко... в свете последних событий. И директивы писать не шибко трудно. Что ни день, то и директива. А я тут колочусь, как рыба об лед... из кожи лезу. Что, неправда? А ферму новую кто построил? Александр Семенович Рушкин, будьте настолько любезны. И склады он же, и механизированный ток... Ему бы памятник за это, Рушкину-то... а не выговор на память. Бегут вот люди... А почему бегут... Уваженье к земле убито. А Рушкин пыхти, надрывайся, будто ему больше всех надо.

Сзади к нему неслышно подкрался Никита, навел ухо и поманил к себе женщин: «Послушайте-ко, че он докладывает!»

— А вот я тя свергну за такие-то речи! — прервал Никита председателев монолог.— Возьму и свергну, свидетели есть...

— А? — Рушкин не понял, чего от него добивается этот маленький, жалкий человечек. Че говоришь?

— Что слышал. А тебя, промежду прочим, многие слыхали. Так что знай. В случае чего — лишишься должности, загремишь с верхотуры-то!

— Ну? Вот горе-то!

— Погорюешь! Вон Угрюмов какой хват был, а я его устерег.

— Это ты умеешь,— вступилась за мужа Галина и, потеснив Никиту, спросила: — Обедать придешь, Александр? Я пельменей настряпала.

— Велишь, дак приду.

— Ты что, в доме своем не хозяин? Велишь... Приходи, щас плиту растоплю.

— Галя... Эх, Галя! Роднуля ты моя! — Рушкин растроганно стиснул жену в объятиях, отпустил и, ни на кого не глядя, вышел. Не посторонись Никита вовремя, прошел бы через него.

— Экой вездеход! Прет напролом, будто обойти нельзя,— проворчал Никита, обронив шапку в желоб для стоков.

— Свергателей-то перестали бояться! — усмехнулась тетка Матрена.— Меняются времена.

— А ниче, ниче, испужается! Дождусь своего момента!

Галина, будто нечаянно, мазнула его по щеке мокрой тряпкой, которой обтирала коровье вымя, и потянулась вслед за мужем.

— Че размахалась тут? У, порода! — грозил ей кулаком Никита; Галина не слышала его и, гордая тем, что поняла мужа, довольно улыбалась своим мыслям, ведь знала — Александру колхоз в душу запал. Тратился муженек и на войне, и после войны... вернулся с фронта весь заштопанный, а вот сросся, заматерел и наклепал семерых ребятишек. И откуда в нем силы берутся?

Шла, улыбалась, а ноги сводило от усталости, а поясница разламывалась — с четырех утра на ногах и легла около полуночи, да еще ссора вчерашняя, из-за которой глаз не сомкнула, проплакала до вторых петухов. И вот явится сейчас домой, и грянут заботы горным обвалом... Ох жизнь, жизнь! А что, нормальная жизнь. Кому охота, пускай завидуют.

Любава, к примеру, завидовала ей и не скрывала этого. Завидовала тому, что есть добрый любящий муж, что много крикливых детишек, а если случаются в семье неурядицы, так ведь это по любви. Милые ссорятся — крепче мирятся. Никто ведь не знает, кроме Александра и Галины, сколько нитей, прочных и невидимых, связывают их накрепко.

Сама Любава тоже опутана незримыми нитями, но концы этих нитей и их начала на ней одной. И порой чудится, что вокруг нее намотался такой зловещий плотный клубок, из которого никогда уж не выпутаться. И со стороны никто не поможет. Хотя... не слишком ли много она выдумывает, боится чего-то неизвестного, дрожит за свое такое далекое будущее. К чему оно ей, скажем, лет через сорок? Тогда и сама, и страхи твои — все будет иным... привыкнешь и к ним, и ко всему тому, что выпадет на твою долю. Все утешаешь себя, ждешь чего-то или боишься чего-то, а завтра настанет — и ничего страшного. Так стоит ли жить туманной надеждой, стоит ли бояться еще не родившихся страхов? Надо жить, и все. Жить разве страшно?.. Не одна на земле живешь.

Вот и еще день минул. Что было в нем неузнанного, обогатившего ее опытом? Управа на ферме, управа дома... Это повторяется ежедневно. Вот разве толчки сегодня сильнее...

Напоив Пестренку и овечек, накормив котят и куриц, села на голбце. Темно в избе, морочно. Мать снова шепчет молитву в горнице, в цветной рушник отбивает поклоны.

— Зачастила ты, мам... с войны не маливалась.— Матрена затихла, словно застеснялась, и, помолчав, снова запришептывала.— Пространству молишься... напрасный труд.

— Меня не убудет,— снова замолчав, не сразу отозвалась мать и принялась выговаривать судьбе ли, богу ли, о котором только от людей слышала, во сне не приснился ни разу, все свои просьбы.

Любава под шепоток под этот разделась, легла и отдалась своим мыслям. «Ты, Люба, че в одиночку-то? Хоть на собрания ходи... И в кино совсем не бываешь».— «У меня вся жизнь — кино, Ваня... только на экране — одна картинка». И морщит Ваня чистый свой лоб, думает, что бы еще сказать, как бы вывести бедную Любаву из летаргического сна, а того не знает, что Любава не спит... человечка в себе слушает, шепчет ему слова разные, самые главные слова, а он то спит, то взбрыкивает и еще не знает, что мать целую жизнь ему придумала, все расписала за него. Человечек этот будет жить, как все люди, только счастлив будет по-своему, светло, сильно... И Любава будет счастлива его отра-

женным счастьем. Пойдут по улице, он — топ-топ толстенькими ножонками, где-то в пыль плюхнется, но не заревет, в Сохиных, терпеливый! Травинку заметит, задумается, в воде отражение свое увидит — засмеется. И все — загадка для него, и все — открытие. И каждый день его будет греть солнышко. Солнышко да дыханье мамино.

— Люба! — позвала Матрена. Дочь не откликнулась, плотно зажмурила мокрые веки. Мать, благословив ее, включила в горнице ночник и замерла перед портретами сыновей и мужа.

На улице снова всхлипнул баян, и, словно ему отзываясь, захрипел репродуктор, сообщая, что где-то воюют. Где — Люба не разобрала. Да хоть где — все равно люди гибнут. А разве для гибели они родились?

Старуха выключила ночник и, поцеловав портреты, каждый по старшинству, легла и долго еще ворочалась, и, забываясь, вслух роняла редкие, отрывочные слова, богу ли, мертвым ли адресованные.

«Мертвые не слышат,— горько улыбнулась в темноте Любава.— Бога нет».

5.

Зимы верхушка, а вдруг грянула оттепель. Закружился снежок, сырой, липкий, воробей ступит — лапка его в снегу отпечатывается. Плачут окна, с крыш капель, и хочется шубу распахнуть настежь, дать груди подышать вольно, погладить заледеневшую ночью тополиную веточку. Теплынь — хоть и солнышка не видно. Небо залито золотистым маревом. Откуда быть снегу? А он сыплет и сыплет. И дальний свет солнца через снег, через облака, через неизмеримое пространство все же проникает не только на землю, но и в саму душу человека, и душа полна грустным восторгом перед чудесной силою солнца. Грусть оттого, что не можешь, как солнце, вот так же порвать без усилий чадру небесную, пригреть. А оно выглянуло через дыру, пригрело, и прясла вспотели, засверкали стекла. Синицам и снегирям вольно — зерно на дороге золотой россыпью: кто-то осенью вез домой да по пути с полмешка пшеницы рассыпал. Раньше бы все до зернышка собрал, провеял,

сейчас лень склониться: хлеб дешев, хотя человеческий труд вроде бы не уценивался.

Так вот, значит, оттепель. И на душе у людей потеплело. Любава, посуду перемыв, сидит подле зеркала, чему-то улыбается. Улыбнулась и увидела две тонюсенькие морщинки возле губ. «Как же это? Откуда? — удивилась она.— Неужто старость? А я не жила еще...»

Говорить о старости — святотатство, а время оставило свои отметины. Год за два, если не за три прожит. Скоро явится на свет человечек, заверещит требовательно: корми, мать! Пеленки стирай! Скорей бы уж! И страшно чуть-чуть, и не терпится...

Из окна Сохиных виден лог, поднимающийся к Пустынному. За озером — поле, а дальше — бор. В бору сохатые бродят, лисы шныряют. Никита гоняется за ними, домой приходит пустым. Такой уж охотник. Сейчас дома сидит, наверно. Из покосившейся трубы дым вьется. Полуслепое окно без наличника наполовину занесено снегом. Палисадник неизвестно что огораживает — не растет там ни деревца, ни кустика. Хозяину невдомек взять лопату да снег выгрести. Все занят: то по лесу на лыжах носится, то фантастические книжки читает или обсуждает с первым встречным события за рубежом. Лектора его начитанности побаиваются. О чем бы ни говорилось в лекции, Никита к космосу сводит. Правда, один лектор недавно, очкарик такой простодушный, на его вопрос: «А что насчет Марса скажете? Живут там людишки-то?» — на полном серьезе ответил: «Конечно, живут. Я недавно от одного марсианина письмо получил. Тоскливо, говорит, без землян. И билет к вам дороговато стоит...» — «Нда... это, конечное дело, безвыходная ситуация»,— не зная, то ли подшучивают над ним, то ли правду говорят, задумался Никита. После лекции видела его Любава в библиотеке: книжки о Марсе требовал, о самоновейших межпланетных исследованиях.

Любава подошла к окну, раздвинула шторки и через герани стала смотреть на дорогу, бегущую вдоль яра к Пустынному. Бежит на угор мимо соломенных скирд, мимо старой-престарой сосны, разваленной молнией, к деревне Дроновой, которая в семи километрах. Рядом совсем деревня, а Любава там не бывала. Вон бабка Фекла, через дом живет, такая же... сроду из Хорзовой никуда не выезжала, паровоза в глаза не видела, в кино

боится ходить, не по той, конечно, причине, по которой Любава не ходит. Сидит сиднем Любава, а порой хочется сорваться с места, обо всем позабыв, обежать всю землю и, пусть второпях, людей поглядеть разных — городских, деревенских, своих, иноземных. Ездят же люди, на мир смотрят! Вон по телевизору казашка одна пела, лет семнадцати деваха, а уж на фестивале в Болгарии побывала, и платье на ней в блестках, и ручки в перстнях, тоненькие, совсем игрушечные ручки. Есть же люди судьбы удачливой. Ох есть!.. Любава поглядела на свои крупные, обветренные руки, хрустнула пальцами. Вон кожа-то как огрубела! Да, это не певичкины пальчики. А все ж длинны да и по форме не хуже. Если бы кремом их, вазелином или духами французскими, ну и перстни, само собой, надеть, и кольца... Нну, размечталась, дура! Твои драгоценности — титьки коровьи, твоя самая дальняя дорога — от дому до фермы. Хочешь — ходи, хочешь — езди.

Любава с треском задернула занавеску, не заметив, что на ее окно не мигая смотрит из своей ограды Никита.

Видно, долго в поле глядела: на улице-то стемнело. В горнице чуть слышно посапывает уснувшая мать. Пускай отдыхает. Сегодня у всех людей праздник. Новый год — радости новые. Можно и понежиться, дать передышку на денек рукам, ногам... если б голове еще дать отдых!

Гуляют люди (вон Никита запел, видно, провожает год старый). Мать и дочь у себя под крышей молчат, вздыхают каждая о своем.

А где-то хлопоты, пирогами и вареньем пахнет. Отчего же веселье-то не для всех на земле? Одни плачут, другие смеются — радости не всем поровну отпущено. А жаль... несправедливо это.

— Мам, — включив свет, говорит Любава,— давай посмеемся...

— Чего? — Матрена привстала с кровати, вгляделась в лицо дочери, на котором до крови прокушенные дергались губы, и без удивления согласилась.— Давай. Нам бы гармониста сюда — собрались... две плясуньи.

— Это сами сообразим,— Любава вынула из-под кровати фанерный ящик, в котором с войны хранилась поблекшая Родионова гармошка, расстегнула ремни на мехах, развела и, чуточку завирая, вывела проигрыш.

Басы не трогала. Не согласовывались они с ладами. А на ладах получилась «Хонька». Матрена притопнула, оправила цветастую юбку, примерила к полу другую ногу, вывернула ее и, сдернув платок с головы, поплыла по горнице, припевая:

Ах ты, хонька-махонька моя,
Полюби-ко потихоньку меня.
Потихоньку-тихонечку,
Помаленьку-маленечку...

Прошлась пару кругов плавно, чуть собирая половики, а потом лихо дробанула, ударила в ладоши, будто и не было боли в костях, будто не пузырились от надсады синие старческие вены, не горели мозоли на подошвах.

...Посули да рукой помани.
А не можешь, дак хоть так обмани.

В общем, когда к их двору подкатил председателев «Москвич», веселье было в разгаре. Смеялась Любава, и Матрена смеялась, выкидывая под гармонь такие коленца, которые и молодухе не всякой под силу.

— Ишь че выкомаривают, холеры! — оторопела Галина, перешагнув порог первой.— Уже наповтекались! Вот народ! Не теряется!

— Собирайтесь, люди! Старый год провожать будем! — шумела Лизавета, нажимая на «р», и кружила по горнице старуху.

Любава, отставив гармонь, тихо, дальне улыбалась.

— Куда собираться-то? — хмуро пытала тетка Матрена, недовольная ее поздним вторжением и все же польщенная тем, что есть люди, которые не забыли двух горюх.

— В гости зовем... неуж непонятно? — поддержала сестру Галина. Сам Рушкин стоял у порожка, щурился, показывая пальцем на шумливых женщин: «Две бабы — базар, три — ярмарка».

— До гостей нам! — огрызнулась старуха.— Девка последние дни дохаживает.

— Самое то, на глазах будет. А то загуляем — мало ли что! — и ей приспичит...

— Гуляйте, я сама догляжу.

— Но-но, тетка! Ты со мной поаккуратней! Надевай шубенку-то, пока шприц не достала,— пригрозила Лизавета. И хоть ссорилась часто с Любавой, хоть обижа-

ла ее, а была она сейчас очень родной, очень понятной и привнесла в дом Сохиных что-то веселое, свежее, и старуха против воли улыбалась.

— Я те достану! Я те так достану, сорока, три дня оглядываться будешь! — ворчала она.

Уколов тетка Матрена боялась панически. И Лизавета, пользуя ее, много помаялась.

— Не поедешь — воткну укол, честное мое слово! Я и шприц с собой захватила,— она уже тормошила Любаву, одевала ее, стараясь делать все мягко, ласково.

Засобиралась и тетка Матрена, рассудив, что у фельдшерицы на глазах будет спокойней. В машине она совсем отошла и сказала Рушкину:

— В легковухе-то сроду не ездила. Ну-ка промчи с ветерком!

— Это сколько угодно! Для тебя, тетушка, на том свете живой воды выпрошу.

Машина вымахнула за деревню.

Неестественный, ватный, колыхался снежок, умягчал дорогу, которую обнюхивал краснобокий, со специальным управлением «Москвич». Рушкин нажимал на рычаги, поскрипывал протезом и, отворачивая от жены побуревшее от нескольких тайком пропущенных стопарей лицо, косился на нее в зеркальце. Галина будто и не догадывалась, что муж под хмельком, но, когда машину подбрасывало на ухабах, тыкала его в бок, сердито сводя крутые короткие брови. Рушкин виновато морщился, щурил узкие цыплячьи глазки и сбавлял газ.

Катился «Москвич» по мягкому шоссе, словно нарочно для Любавы устланному чистым снежком, таращился желтыми фарами на скирды соломы по обеим сторонам дороги и изредка роптал на подвыпившего водителя. Немало ему довелось испытать на этих дорогах. И со встречными машинами сталкивался и запрокидывался колесами вверх. И хоть не стар был (два года назад выхлопотали через военкомат), но мят и штопан не меньше своего хозяина.

— Ну вот, отвела душу на старости лет,— вылезая из машины, посмеивалась тетка Матрена.— Добра машина!

У поставленных в ряд под одной большой клеенкой столов хлопотал Иван Рушкин. Робея перед гостями, а

всего более перед Любавой, он то потирал родимое пятно у переносья, то гнул в руках вилку, не находя ей другого применения. К нему тотчас подстроился старший брат.

— Ты шарахни, братан, для смелости. Не робей — шарахни.

Наливая Ивану, не забывал про себя и потому улыбался пуще прежнего, и пуще прежнего маслились щуроватые глазки.

— Ну-ну! Присоседился! — подметив излишнюю его активность, приостановила Галина.

— Не тронь, старое допиваю.

— Ты свой лимит на три года вперед выбрал. Поставь-ка!

— Уравняли мы вас... на свою голову! Ух, пилы деревянные!

— Началось! — усмехнулась Лизавета.— Гляди, Ванечка, и на ус мотай.

— Мотаю, потому и в холостяках,— креснея, отшутился Иван.

— И напрасно,— с чисто женскою непоследовательностью возразила Лизавета.— Женись на мне — никогда пилить не стану. Будешь играть, я — петь. Развеселая получится пара!

— Братьям-то можно ли на сестрах жениться? — рассудительно вставила тетка Матрена.

— Нынче все можно. И мы свое не упустим.

— Что верно, то верно: Лизка в молоко не выстрелит,— украдкой опрокинув стаканчик, крякнул Рушкин и зажевал огурцом.

— Не донимайте парня! Выпейте лучше! — налив рюмки, предложила Галина.— По единой!

— Золотые слова. Вовремя сказаны,— одобрительно заулыбался Рушкин, но тут же померк.

— А ты, муженек, первую пропусти,— приостановила его Галина.

— Это почему же такое вопиющее неравенство? — возмутился Рушкин, отодвигая свою рюмку подальше от жены. Галина взяла его за локоть и в его же руке подтянула рюмку к себе.

— Вот так. Пропусти. Дольше сохранишься.

— Не скажи,— вставила Лизавета, рассмеявшись. Манипуляции сестры и Рушкина ее забавляли.— Проспиртованные-то, наоборот, дольше живут. У нас в учи-

лище наглядные пособия в спирту... уж сколько лет стоят. И все как живые.

— Очень даже правильные мысли,— тотчас подхватил Рушкин и снова потянулся к посудинке.

— Не нарушай порядок,— построже сказала Галина.— Большинством голосов решили: первую не пьешь. Ну, за старый год, что ли? Скончался он, и пухом ему земля.

После второй, на сей раз Рушкина уж не ущемляли в правах, и особенно после третьей языки развязались; потекла обычная застольная беседа, в которую изредка вплетался звон настенных часов.

Иван, чувствуя, что пьянеет, все же не удерживал себя, громко смеялся каждой шутке и старался не глядеть на Любаву, которую в этот момент жалел. Она была в его глазах некрасивой, неловкой и знала об этом. И он знал, что Любава знает. Но ей было безразлично, что думают о ее внешности. И сам Иван безразличен. Вон рядом сидит Лизавета с гибкой, стройной фигурой — любуйся ей сколько угодно. Иван любовался и сравнивал. Хороша, весела Лизавета, но никто и никогда не сможет сравниться с Любавой. Никто и никогда не заменит ее. Иван будет ждать своего часа и дождется, что бы там ни было.

— Я пропущу, ладно? — сказал он, когда Галина опять налила. Молча поднялся, взял баян и, усевшись в сторонке, потихоньку запел самому себе, а песню слушали все, его песню.

Упали бомбы в синеву,
На доброту упали нашу,
На неизмятую траву,
На недосеянную пашню.
Сибирь была синя-синя,
И радости, и хлеба вдоволь...
Что ж нынче плачут у плетня,
Заламывая руки, вдовы?
Страну, где небо всех добрей,
Сплошь затянуло черным дымом.
На волос русских матерей
Упали первые седины...

— Вот так, значит... в свете последних событий,— смахнув слезу, хрипло проговорил Рушкин. Стакан в его руке хрупнул.— Вот так, братко!

Чем мог этот парень, знавший о большой войне толь-

ко понаслышке да по книгам, разжалобить своего старшего брата, трубившего в страдные, в горькие для Родины годы от первого и до последнего часа? Александру еще повезло. Он выжил. И лишь накануне победы, оглядывая какой-то бункер, был ранен гранатой и лишился ступни. Отчего же он смахивает ладошкой слезу и время от времени гулко стучит по своей широченной груди?.. «Ах, война, война...— не людям, себе самому потаенно шепчет Александр.— Войнища...»

Вот и тетка Матрена заморгала часто и отвернулась. Шмыгнула носом Галина, оставшаяся в войну старшей в семье. Отец на фронте погиб, мать замерзла на лесозаготовках. Галина несколько недель кусочничала и никак не хотела идти в детдом. Их выкормили, выучили всей деревней. Больше других помогала тетка Матрена.

После медицинского училища Лизавета вернулась в Хорзову, каждого из этих людей почитая близкой родней. Да ведь так по сути и есть. Все люди — родня, все одного корня, одной планеты. Как бы ни пыжились они, как бы ни падали, ни возносились, а ходят все-таки по земле. Все ищут чего-то, все умничают и глупят, создают, созидают, чтобы однажды разрушить все это и начать сызнова... Зачем? Зачем, милые вы мои чудаки? Ведь все так просто, так просто! Главная мудрость как раз в том и состоит, чтобы любить жизнь и стать в этой жизни чуточку лучше, чем ты есть. Право же, это каждому по силам.

Чудодей ты, Иван! Ты заставил их, разных по возрасту, непохожих судьбой, задуматься об одном и том же. И даже с беспечных Лизаветиных губ, долее всех противившихся грустной песенной власти, сползла нехотя своевольная улыбка.

Одна только Любава не внимала музыке и, подавляя стон, раскачивалась из стороны в сторону. Она до крови искусала губы, но боль эта была ничтожна перед той болью, которая рвала изнутри, точно хотела вывернуть все нутро наизнанку.

— Жизнь...— тряс головой Александр Рушкин, и слезы с толстых его щек падали на клеенку.— Что она такое — жизнь, а? В чем ее главная сердцевина? Ты погоди, братан, ты скажи мне: в чем загадка жизни? И человеку какого неба надо еще, ежели синее над головой плохое?

— И под синим небом горе черное,— глухо отозва-

лась тетка Матрена.— Черное — и другого цвета ему не придумали.

— Я не мастер загадки отгадывать,— сжав мехи, отчетливо, сильно, хотя и негромко заговорил Иван. Жилось и думалось в этот день ему уверенно и ясно.— Знаю одно: жить надо. Надо жить не так, как вчера, а по-другому.

— Как по-другому-то? — подхватила, смеясь, Лизавета.— Ты нарисуй мне, Ваня. Я и заживу по твоей программе.

— Смеешься, а смеху-то нет,— резко оборвала сестру Галина, чувствуя, что мужчины хотят поговорить о чем-то важном, насущном, и прерывать их беседу сейчас нельзя. Нечасто возникают у них такие серьезные разговоры.

— Иван правильно толкует: по-другому. И человек может. Смог же он из обезьяны, из образины волосатой... превратиться в себя теперешнего! Смог! Значит, и еще многое сможет.

— Сможет, сможет... опять обезьяной стать. Да иные уж стали... почти. Только что волосу поменьше,— зачастила Лизавета, стараясь перевести разговор, который портил ей настроение.

— Это смотря у кого. У тебя, к примеру, волосу в избытке,— ухмыльнулся Рушкин и подцепил вилкой груздь. И он понял, что нужно говорить в праздник о том, что полегче... что надо петь, балагурить, а не вздыхать, не затрагивать то, о чем беспокоится человек от сотворения мира.

— А что, вашему брату это нравится,— подмигнула ему Лизавета, косясь на Ивана.— В субботу из области ехала... один студентик ко мне прицепился... до самой Хорзовой не могла отогнать.

— Бездумно живешь, сестра, безоглядно! Влюбилась бы хоть в кого, что ли? — вздохнула Галина, выговаривая сестре. Выговаривала не впервые, да все без пользы. Для нее это как об стенку горох.

— Давно уж в Ваню влюбилась. Так он бежит от меня, как жулик от милиционера. Видно, придется жить без любви...

— Ну, врешь! Вон Любава...— начал Рушкин, но, увидев перекошенное Любавино лицо, осекся.

Боль прорвалась наружу, нарушив беседу, выжала глухой, но все же достаточно ясно слышимый стон.

— Любушка! Бедная ты моя! — всполошилась Лизавета, подбегая к подруге.— У ней уж схватки начались, а мы сидим тут, лясы точим.

— Домой хочу,— сквозь зубы выдавила Любава.— Проводите меня домой.

— Здесь-то чем хуже? — вмешалась Галина и побежала готовить постель.— Уходите отсюда, мучители! — вернувшись, стала прогонять мужчин.

— Домой,— безумея от боли, бормотала Любава. Ее разрывало, тянуло, словно крючьями, временами отключалось сознание.— Ддомой...

— Эй, губернатор! — подступила к Рушкину Лизавета.— Тачку свою заводи.

— Щас, щас...— заспешил Рушкин и, не одеваясь, выскочил в ограду.

Женщины собрали, вывели Любаву на улицу, зафырчав, «Москвич» укатил.

Иван, оставшись один, ходил вокруг стола, не находя себе места. С плеча свешивался баян, который он позабыл снять.

Рушкин скоро вернулся и, едва перешагнув порог, знаком указал на пустые стаканы.

— Морозец-то разыгрался! Ух наяривает! — хлопнув стакан, заел огурцом, внимательно посмотрел на Ивана.— Перепугался, братан? Привыкай. Я вот привык... к своим опятам.

— Дети же... а ты их опятами,— чтобы сказать что-то, возразил Иван, а баян вырвался и, свесившись басовой половиной, коснулся пола.

— Опенок — гриб очень даже замечательный. Особенно для закуски,— Александр еще раз наполнил стаканы, однако пить на этот раз не стал.— Ты не дрейфь, не дрейфь, братан! — сказал проникновенно и грустно.— Наши бабы рожать умеют... чтобы оплакивать было кого.

— Странно как-то,— сняв наконец баян с плеча, Иван прошелся из угла в угол, остановился и потер лоб.— Не было человека и — вдруг явился. Будет расти, лепетать...

— Отвыкал бы ты, Ваня,— бережно обняв со спины брата, чуть слышно сказал Рушкин.— Маешься, а у ней другой на сердце. Переломи себя, а? Исхудал весь, изведся...

— Человек, Саша, не тростинка: захотел — перело-

мил. Привязчив он, человек-то... сам себя жилами к судьбе своей привязывает.

— Судьба-то... на другого рассчитана, Ваня.

— Ты про Серегу? Не выйдет у них с Серегой. Нашел он себе подружку... в отпуск к ней ездил... Я письмо вчера получил.

— Ну, этим меня не удивишь. Все они летуны, все без корня. У них и фамиль-то: Иноземцевы...

Прошипев, забили часы. После второго удара — в двенадцать по московскому времени — диктор поздравил с Новым годом. Братья, однако, не обратили на это внимания. Рушкин, узнав о Серегином вероломстве, сидел и покачивал головой. «Знал ведь я... чуял, что не вернется... весь в батю, хлюст! Ох, Любушка! Будешь ты жить ни девкой, ни бабой... И с Ваней у вас не склеится... Нет, не склеится».

Иван гнул в руках вилку, вязал узлом и развязывал и незряче глядел в окно, в темень, из которой появился неожиданно человек, Дутыш. Потянуло его к людям. Затосковав в своей постылой норе, Никита прошелся раз-другой по деревне, пересчитал дома, в которых веселились, прикинул, к кому бы зайти на огонек. У Иноземцевых — сам в гости приехал — угощение, конечно, всех богаче: пироги нельмовые с клюквой, пиво густое, самодельное, и жареный гусь, и грибы в сметане, и шаньги, и хворост, просвечивающий насквозь, и сало-шпиг многослойное, тоненько нарезанное, и много других разносолов, да эти не пригласят к столу, а если без приглашения войти — Иноземчиха не постесняется, вытурит. «Пойду к председателю,— решил Никита. Он хоть и недолюбливал всяческое начальство, а простоту и душевную отзывчивость Рушкиных понимал и иной раз запросто к ним наведывался.— Пойду, эти поприветливей».

— С Новым годом вас, детушки, с новым, стало быть, счастьем! — нацепив по пути соломенную бороду, вываляв шапку в снегу и выворотив мехом наружу шубу, провозвестил Дутыш.

— Охо, Дед-то, Мороз-то какой взаправдашний! — обрадовался хозяин. Он радовался каждому человеку и зла ни на кого долго в себе не таил.— Ну, проходи, проходи, Морозушко, беседуй. Как там, в лесу-то? Что судят-рядят об нас? Сколь получают?

— Худо, говорят, руководите,— сбрасывая шапку и

шубу, Никита зябко передернул плечами, с намеком пошлепал ладонью об ладонь.— Народ у вас мерзнет.

— Это есть... никудышные мы руководители,— добродушно поддакнул ему Рушкин и налил штрафную.— А народ сам виноват, раз терпит таких никудышных.

— А вот погоди, свалим,— пообещал Никита и, не касаясь ртом стакана, влил водку в себя.— Потому как засиделись... Любите подолгу сидеть у власти. Иной зацепится — до гроба командует... А сам уж на песок изошел... Тебе-то не дам засидеться... опрокину.

— Хорошее дело, Морозушко, нужное дело,— снова ему наливая, кивал Рушкин. После третьей Никита сунулся носом в капусту, забормотал что-то невразумительное, задергал острой лысоватой головкой и, повозившись чуток, покорился силе вина, уснул. А братья долго еще сидели, перебрасывались редко словами, но больше молчали. Часы шипели сердито, отбивали час за часом.

Под утро, уж после гимна, вбежала возбужденная Лизавета, торжественно возвестила:

— Сын! Голосистый парнишка! На Серегу похож.

— Что ж, дернем за парня... в свете последних событий,— предложил Рушкин и, разлив водку, принялся будить сомлевшего Никиту. Тот, не просыпаясь, высосал водку и снова уткнулся носом в капусту.

Рушкин, отяжелев, почесал пузо и отправился спать.

— Любишь Любку-то? — шепотом спросила Лизавета, прикрыв за Рушкиным дверь.— А ведь я лучше ее... во сто крат лучше, гляди!

Избоченясь, она прошлась перед Иваном, выгнулась, заглянула в глаза. Он отворачивался, уводил взгляд, а рядом тосковало молодое, зовущее, ладное тело.

— Пусть на тебя студент глядит. Или — другой кто.

— Врала я тебе, Ваня! Все врала. Никакого студента не было вовсе. Я, Ваня, тобой заболела... смертно.

— Выздоровеешь. От любви только в книжках умирают. В жизни клин клином вышибают, клиньев много. Любой выбирай.

— Может, и правда советом твоим воспользоваться,— печально усмехнулась Лизавета. Отошла, села на табурет, сложив на коленях руки.

— Я покажу вам... я вам всем покажу, гадский потрох! — что-то увидев во сне, грозил Никита и дергался, рассыпая капусту.

— Не теряйся,— жестко сказал Иван.— Время бы-

стро бежит. Не успеешь оглянуться — тридцать стукнет. Потом сорок. И бабьей жизни конец...

— Поживем — увидим,— встряхнувшись, оправив волосы, Лизавета опять подбежала к Ивану, неожиданно чмокнула его в щеку.— Только одно запомни: с ней вам вместе не быть. Так и знай, миленок!

6.

Сладкое, счастливое состояние материнства грянуло как награда за долгие дни безнадежного отчаянья и одиночества. Оно пришло через боль, через косые, стригущие взгляды, через пересуды и потери, выношенное в сердце. Но что боль и что пересуды в сравнении с тем, кто явился на свет! Любой звук его, любой пузырек на мягких губках, молочный запах теплой кожицы неизмеримо больше всех потерь и страданий. Если б снова пришлось пройти через это — прошла бы, не моргнув, ради Володьки, ради великого, главного в ее судьбе человека. Все прежнее — страх перед неизвестностью, изматывающее уныние, глухое отчаянье, тоска,— все-все отодвинулось или, быть может, исчезло совсем. Настала для Любавы счастливая, светлая пора. Каждое движение, каждое слово ее обрели новый смысл, стали значительней и весомей. Любава не бегала теперь по земле, а ступала, сама не сознавая своего величия, голову держала высоко, несла себя сильно и внушительно — за двоих. А Матренина закаменевшая душа отмякла, глубокие борозды, сухие скулы и складки лица лоснились довольством: в кои-то веки — право или неправо, но счастливо! — выпала удача внука поняньkать, последнего мужчину в роду Сохиных. Человек этот, человечек несмышленый, словно солнышком плеснул в душу, растопил вековечный вдовий холод, как половодье, заполнил собою все иссохшие рвы и ямы. Много вырыло их время, вырвав изнутри живую, свежую плоть. Думала, до гроба не зарастут, болеть будут...

Человек, человечинка славная, ясная! Да будет благословенно твое явление! Изнылась, истосковалась, изждалась маетная старухина душа. Явился, пленил и мать и бабку. Рожала одна Любава, а все трое оплетены незримой его пуповиной, ничем ее не разрубишь, не разорвешь никакою силой.

Утро начинается с Володькиного крика. Как петушок, в пятом часу он делает в доме побудку. Любава сует ему наполненную молоком левую грудь. Володька вминает ее в себя беззубым, но очень сильным ртом, полежит, потянется и звонко-звонко зачмокает. А ручонка властно (ах, собственник!) охватит всей пятерней, сколько может, потянет к себе. Держи крепче, сыночек, тут все твое... Насытившись, он не выпускает грудь, тискает сосок деснами, дремлет; на мгновение очнувшись, опять засосет уже из правой груди, в которой молока почему-то больше. Насытившись, засыпает. Потом уж и петухи кричат на седалах, и мамки нет рядом, ушла потихоньку на ферму, а он спит да потягивается в теплой своей постельке.

Любава идет переулком, одной стороною припавшим к горе. Гора в реденьком сосняке. С отяжелевших веток на валуны, вросшие в землю, глухо шлепая, осыпается снег. В проруби, под обрывом, плещутся щуки. Кто-то спускается вниз, позванивая спозаранку ведрами. Тишина звонкая, синий мороз. Пьешь воздух, пьешь, а все мало. Зайдешь в скотник, там дух спертый. Хоть по пути вдоволь надышишься.

Вот и ферма. В пригоне — сено. И Никита задал его Любавиной группе. Стоит около сторожки, ждет, чтоб самым первым в деревне сказать Любаве «доброе утро». Что-то внимателен он стал, уж слишком внимателен!

— Доброе утро, Любава.

— Доброе утро, дядя Никита.

— Дядя? — в его голосе легкое недовольство, но Любава этого не замечает и, надев халат, проходит в коровник.— Можно и дядя, конешное дело. Я эть не возражаю,— бормочет Никита, чуть ли не наступая ей на пятки.— Не такой уж я принципиальный. Но ежели о возрасте говорить — пятьдесят лет велик ли возраст. И сердце во мне не изношено. Оно, сердце-то, знаешь, как бьется? У!..

Любава не слушает его, подмывает вымя, и — струится, парит молочко, ведерко за ведерком. Увезут его в город, по магазинам, по детским садикам... там будет зузить, наливаясь здоровьем, незнакомая малышня. Может, и Любаву помянет кто-нибудь добрым словом.

— ...Ты одна, и я один... а дома́ напротив,— гудит над ухом Никита. Вроде сватается. Он уж не в первый раз сватается. Любава поначалу сердилась, потом при-

выкла и слушала его вполуха.— Переходи ко мне. Или, наоборот, я к тебе переберусь. И будем парнишку вместе ростить.

— Ты не переживай, дядя Никита,— нарочно ударяя на слове «дядя», улыбается про себя Любава.— Я и сама выращу.

— Намек-то, кажись, не в мою пользу, а?

— Не в твою, дядя Никита, угадал.

— Дядя, да ишо и Никита,— вздыхает сторож и спихивает шапчонку на самую макушку.— Смеешься надо мной, все смеются. Оно, конечно, с виду я неказист и умом особо не выделяюсь. Но душа-то во мне человечья, Любава! Душа другую душу ищет. Я ведь не пустышка, поверь! А что под дурачка ряжусь... так это с тоски. Может, понадеяться мне, а? Может, подождать, а? Я хоть сколь могу ждать...

— Не надейся, дядя Никита. Так будет лучше.

— Это последнее твое слово?

— Самое распоследнее.

— Ты гляди, гадский потрох! — удивился Никита и поправил шапчонку.— Настырна... горда! А чем гордиться-то? Чем? Нагуляла вон!.. Я бы и с этим ее подобрал...

— Ладно, сыпь отсюда, жених! А хошь подобрать — подбирай после коров. За ночь-то вон сколь накопилось...

Выдворив «жениха», подсаживается к другой корове, и руки заученно обихаживают вымя, белые струи со свистом рассекают тяжелый воздух. Два-три часа пролетают в хлопотах незаметно. Слив молоко, почистив стойла и задав корму, Любава чуть ли не бегом возвращается домой. В голову лезут тревожные мысли, хотя Володька под присмотром матери. Вдруг повернулся на животик, уткнулся лицом в подушку и задохнулся? Или, упаси бог, с кроватки упал? Скорее, скорее!

Бежит Любава, за ней, едва поспевая, тень бежит, и остается позади звук скрипящего снега. Кто-то навстречу попался, кажется, Иван. Не узнавая, поздоровалась и — дальше.

Волновалась напрасно. Володька спит себе, сух, ухожен. Ну, спит, и ладно. Теперь можно заняться постирушками. Сегодня суббота, банный день.

Принесла речной воды для щелока, колодезной — для мытья и стирки, затопила баньку. Горьким, смолистым духом потянуло из черной каменки. Стара банька,

отцом еще строена, а жар держит емко. Мать плещет на раскаленную каменку и, досыта напарившись, вытягивается на мокром полке, переводит дух. Смолоду боялась одна в баню ходить, старухи пугали соседком. Явится, дескать, из каменки, ежели без креста... Нечистого перестала бояться, а крест на гайтане носит. Гайтан изопрел, а все ж таки не меняет... носить его, пока крест на груди носишь. «Дай-ко ишо разок попарюсь! — поддав в каменку, Матрена, словно старая медведица, кряхтя взбирается на полок и выбивает из себя лихоманку.— Не банька бы, дак уж давно бы окочурилась...»

Но сегодня старуха перестаралась. Любава, попроведав ее, вывела из бани едва живую. «Ты что, мама? Угореть могла бы...»

— Я что, лишь бы Володька не угорел...— чуть слышно шепчет старуха и, попив квасу, растягивается на нижнем голбце.— Смотри там за ним... не ошпарь, а когда на улку вынесешь — ветром чтоб не хватило!

— Лежи давай, отпыхивайся, советчица! — сердито прерывает ее Любава.— Сама-то чуть богу душу не отдала... А советуешь.

Два дитяти на шее — старый да малый. И за каждым нужен глаз да глаз.

Володька порозовел сразу, пульхается в деревянном белом корытце, тепло ему там, упруго, речная мягкая водица бочок ласкает. Расти, сы́ночка, здоровей! Скоро на ножки станешь, пойдешь в садик, в школу, потом в армию, как папка... А там и женишься... и не с мамой в баню будешь ходить, с женой... Только не обманывай ее, сынок, люби ее, всем сердцем люби, потому что любовь мельчить нельзя. От мелкой-то много ли радости? Любовь красива, когда через край переплескивает.

Улыбается... Кому же ты улыбаешься, сын? Мамке? Или словам ее? Улыбается, словно понял... а сам только то и понимает, что грудь деснами тискать. Кукленыш совсем, а глазеныши умные, смотрят безмолвно, а в них вопрос... о чем же ты спрашиваешь? Не об отце? Если о нем — сама не знаю, что ответить, Володя. Служит отец... наверно, дослуживает. Будем надеяться, что вернется и вы свидитесь. Ведь это каким человеком нужно быть, чтоб не посмотреть на своего собственного сына! Сергей, он не такой... Он любит нас, он о нас с тобой думает... Не верю я, что папка наш мелкий, лживый

и скользкий человечишка. Папка наш добр, правдив, смел... на границе служит...

После бани Володька уснул. Натерев матери редьки с квасом, Любава вынула из ящика почту: местная и областная газетки да три письма. Одно из института — напоминают о задолженности. Второе — тьфу ты господи! — из госстраха, спрашивают, не желает ли товарищ Сохина страховаться? Нет, товарищ Сохина не желает. Некому покушаться на ее жизнь. Третье письмо от Верки Чикишевой, от школьной подружки. Хвастает, как хорошо, как ловко устроилась в городе. Уже и квартиру однокомнатную получила недалеко от центра, и на службе полный ажур. После школы кончила курсы машинисток, устроилась в нефтяной главк. А этим летом ездила отдыхать в международный лагерь «Спутник». «На будущий год поеду в Варну».— «Да хоть в Ниццу поезжай»,— отложив письмо, сказала ей мысленно Любава. Было скучно читать строки, от которых веяло холодным расчетом и душевной сытостью. Верка была в классе самой недалекой, вечно получала двойки и за всю жизнь не дочитала до конца ни единой книжки. Но уже задолго до окончания школы она говорила, что устроит себе жизнь. И устроила. Вот, пожалуйста: квартира в центре, должность в главке, загранпоездки. Любава представила, как толстомясая Верка фальшивым, умильно-сладким голоском, столь неуместным при ее крупной, тяжелой фигуре, виляя жирными бедрами, докладывает начальнику о входящих... И вот входит Сергей, и она кокетливо хихикает, по-московски акает, просит подождать не потому, что начальник занят, а просто пускает пыль в глаза. Сергей? Почему Сергей? Он же служит... Нужна ему эта Верка! Она, как все секретарши на свете, безлика, быть может, ярче накрашена да пальцы сплошь в перстнях... от матери золотишко досталось. «Я, Любка, кого хочешь охмурю, если пожелаю»,— вспомнилось Любаве. Неразборчивых-то охмуришь, конечно. Разборчивый не поглядит на твои перстни, мимо пройдет. А чего это она вдруг вспомнила обо мне? Нет, эта фефела зря пальцем не пошевелит. Письмишко-то дочитать надо.

«А как у вас с Серегой дела? — спрашивала в конце письма Верка.— Переписываетесь? Мне, случается, пишет. Недавно прислал свое фото. Школьная дружба не забывается...»

Именно эта последняя фраза о дружбе и насторожила Любаву. Значит, он пишет Верке, и служба тут ни при чем. Возможно, пишет постоянно, а написать Любаве нет времени. Верно, узнал, что родился Володька. Что ж, дело хозяйское. Я не стану навязываться. И все же как это низко, как подло с его стороны вести себя так (по отношению к Любаве!). Клялся в любви, писал такие умные, горячие письма... и вдруг это фото Верке... Да пусть, пусть...

— К вам можно? — нежданная, незваная в избу вошла Иноземчиха. И сразу к Володькиной кроватке. Но с нижнего голбца поднялась, глуша в себе стон, Матрена, стала на пути.— Внучка-то можно посмотреть?

— Разденься сначала... холоду нанесла,— проворчала старуха и оглянулась на Любаву. «Пускай, пускай смотрит! — кивнула Любава.— Внучек, да не ее. Твой внучек, мама».

— А я ведь зыбку вам принесла... с очепом, новая зыбка. Мужик сработал...— частила Иноземчиха, не слишком смущенная холодным приемом.— В кроватке-то ладно ли? В зыбке надо, по-нашему, по-деревенски.

Вышла в сени и внесла зыбку, нарядную, раскрашенную, и коническую пружину, за которую подвешивалась к потолку зыбка.

— Спасибо... Сколько мы вам должны? — не отказываясь, сказала Любава.

— А нисколь... за так, по-соседски.

— Если за так — несите обратно. Милостыню не принимаем.

— Гонору-то в тебе, Любша! Ох, гонору! А ведь я подумывала в сношеньки тебя взять...— вздохнула Иноземчиха.

— Сначала спросите — пойду ли,— огрызнулась Любава.

— Пойдешь, а как же? Робенчишко-то Серегин...

— Не Серегин, а наш, наш, Дарья. Сохинская кровь...— возразила Матрена и оправила Володькину постельку.

— Ну хоть и ваш... а все одно не ветром надуло. Дай взглянуть на него — сразу скажу, чей. Да не бойся, не изурочу!

Подошла, склонилась над ребенком, отыскивая в его безмятежном личике знакомые черты. Нет, и впрямь не

похож на Сергея. Вылитый Сохин. Хоть бы чем-нибудь сына напоминал!

— Нисколь не похожий... Может, и не Серегин вовсе? А?

— Тебе уши, что ль, заложило? — резко оборвала ее Матрена.— По-русски сказано: наш!

— Ну ваш, дак кормите. Кормите, ежели вы такие гордые. Алиментов не дождетесь.

— Дарья Анисимовна, вы уходите. Мы ведь не звали вас... и впредь звать не будем,— побледнев, сказала Любава и подала гостье шубу.

— Ладно, коли так. А я-то, грешная, по-доброму хотела. Думала, сведу вас с Серегой. Ладно, живите.

— И ты живи,— усмехнулась Матрена,— а к нам не касайся.

— И зыбку свою заберите.

— Нет, чего ж, зыбку мы примем. Кинь ей пару сотен на бедность... Да сотню за то, чтоб больше сюда не ходила,— приказала Матрена, и Любава исполнила ее совет с удовольствием.

Иноземчиха, втискиваясь в шубу, шептала проклятья, но вслух сказать их не смела, зная крутой старухин нрав. Деньги, поданные Любавой, кинула на пол, но жадность переселила обиду — вернулась от порога и подняла.

— Отбрили сватьюшку — воздух чище,— тихонько смеялась тетка Матрена, и Любава смеялась, а из кроватки, проснувшись, улыбался маленький идол, и обе женщины склонились над ним, заагукали, захлопотали.

Над Пустынным красное, яростное катилось солнце. На старой колокольне орали галки. Гудели телефонные провода, и двое мальчишек, приставив уши к столбу, слушали исходящий от них гул. Жизнь била в свои колокола, и праздничный, торжественный перезвон их слушала вся планета и замирала перед колдовским, всесильным их очарованием. Громче, колокола, громче!

7.

Седьмое января, рождество по-старому. Престольный хорзовский праздник. Раньше, бывало, ходили по домам, рождество славили, получая взамен за песни обрядовые сырчики, блины, пироги рыбные и шаньги.

Теперь уж вряд ли кто помнит об этом старинном празднике. Разве что старушонки да Никита, которому повод зайти к кому-нибудь в гости. Он уж побывал в двух-трех домах и, бредя по улице, выписывал синусоиды.

Шумел, гремел пожа-ар московский...

Любава обминула его, но все же столкнулась. Для Никиты улица узка.

— Ага, попалась, гадский потрох! Замуж за меня не надумала?— уцепившись за ее рукав, орал на всю деревню Никита.

— Во пара — лучше не придумаешь,— расхохоталась встретившаяся им Лизавета.— Бегите в Совет, расписывайтесь.

— Чего прилип, как лист банный? — грубо столкнула с себя его руку Любава и пошла в контору. Зачем-то вызывал Платон Иванович.

— Я вот чего, Люба...— начал он, выхромав из-за стола ей навстречу. Тут же и председатель сидит, сегодня трезвый и почему-то грустный.— Давай обратно в контору. Мы с тобой сработались. Председатель не возражает.

— Нет, а че возражать? Бухгалтера тоже нужны... Нужны, конечно,— мотнул головой Рушкин.— Надоело на ферме-то?

— Нет, ничего... я уж привыкла... Да и коровы мои выправились. Им бы корму получше...

— Корму? А где его взять, корму, Люба? Не запасли... не хватило силенок... Не знаю, как будем выкручиваться... в свете последних событий,— поник Рушкин и задрожал раненой ногою.— Наплодили скота, а держать его по-людски не умеем. Э-эх, хоз-зяева! Бить нас некому.

— Бить-то есть кому. Да толк будет ли? — подал голос Платон Иванович.— Ну дак че, Люба, бросай буренок и — сюда.

— И верно, переходи в контору, Любава. Здесь все же полегче... почище тоже,— поддержал бухгалтера Рушкин.— А я подумаю, кого вместо тебя назначить.

— Не назначайте никого, Александр Семенович... Я остаюсь на ферме.

— А, ну гляди,— пожал плечами Рушкин. На сей раз, хоть и по-прежнему доярок не хватало, он не

обрадовался решению Любавы. «Захворал, похоже... ишь какой серый!» — выйдя из конторы, думала Любава. За ней увязалась Танюшка Рушкина, дочка председателя.

— Тетя Люба, Володьку покачать можно? — странно Любаве, что ее, двадцатидвухлетнюю, уже называют тетей. Да что ж, выходит, так и должно быть.

— Покачай, Танюша, покачай, детка,— разрешает она и, заспешив, нечаянно смахивает со стола кастрюлю с соленьями.— Ффу, неповоротливая какая!

— Потому что большая,— пояснила ей Танюшка.— Я вот маленькая и верткая.

Покрутившись на одной ножке, она стала подбирать огурцы, бормоча при этом: «На полу валяется соленый огурец, и никто его не ест».

— Что это? Стихи? — удивилась Любава.

— Ага, я девушка умная,— ползая по полу, стрекотала Танюшка.— А Володька огурцы кушает?

— Ну что ты, он еще мал. Несмышленыш совсем.

— И я маленькая, а ем.

— Ой, заговорилась с тобой! Мне же на ферму нужно! — спохватилась Любава.

Только что приходила мать, гневная, вся в слезах. Обезножела телочка от Любавиной Зорьки. В телятнике студено. Загулял кочегар, не нагрел котлы ночью — многие телята пристыли. Почернела тетка Матрена, лицо за одно утро осунулось. Оттрепала кочегара по щекам, обругала бригадира и нового заведующего фермой Никиту Дутыша. Но что толку!

— Он ротик разевает... Голодный? — перебивает Любавины мысли девчушка.

— Сытый. Только что грудью кормила.

— Нет, голодный.

— Ой, ну тебя! Посиди с ним часок, пока я на ферму сбегаю. Посидишь?

— Посижу. Я девушка послушная.

— Я скоро вернусь, конфет куплю...

В котельной кочегарила тетка Матрена. Старенькие два котла выли и вздрагивали. Что-то огромное колотилось в их грудных клетках, сумасшедше приплясывала стрелка манометра.

— Взорвешь, тетка! — нерешительно топтался у входа коротконогий кочегар с синяком под глазом (теткина печать). Топтался, не смея войти.

— Зато тепла нагоню. Ты уматывай, уматывай, гулеван, пока второй глаз не подбила.

— За котлы-то я отвечаю или кто? Меня тут служить приставили,— бубнил кочегар и вжимал голову в плечи.

— Приставлен — служи, а не шляйся. Ночью-то где шлялся?

— Я тебе не отчетен. Я перед заведующим отчитаюсь.

— Погоди, и тому попадет! — пригрозила тетка.— А ты уматывай.

Кочегар, пробурчав что-то себе под нос, убрался.

— Телочку-то лучше домой унести,— сказала Любава.— Не век же ты будешь тут кочегарить, а на того прохиндея надежды мало.

— Какая там надежа! Гулеван, одно слово! Возьми телушку, дома-то, может, выходим,— старуха вдруг зыркнула на дочь сердитыми, тускло помедненными глазами.— Володьку с кем оставила?

— Танюшка Рушкина водится.

— Нашла няньку, безголовая! Ступай к нему!

— Ясеневку вот только прихвачу.

— Сообразила! Без надзора ребенка оставила,— возмущалась старуха, забыв, что сама, уходя в поле, запирала детей на замок, и все выросли здоровыми и крепкими. Но это было давно. А Володька — последняя ее радость. Он заполнил все свободное время женщин. Его писк, его невнятное агуканье стали в доме сладчайшей музыкой, окрасив жизнь радостным смыслом. Обе женщины только и дышали на Володьку. Любава теперь успокоилась и чувствовала себя почти счастливой. Все, что было связано с Сергеем, с прошлым, отодвинулось в сторону, и хоть вспыхивала порой боль в груди, но жгла не так сильно, как раньше. Пришли иные заботы, иные огорчения. У Володьки сыпь появилась — надо бежать к Лизавете. Долго не зарастает пупок — уж не грыжа ли? И каждый день, и каждый час полон. Теперь вот заботы с Ясеневкой.

Телочка черная, не в мать. Лишь звездочка на лбу да чулочки на передних ногах белые.

«Крупная! Донесу ли? — разглаживая густую ровную шерстку, восторгалась Любава.— Ну, в гости ко мне пойдем, красавица!» Поставив телку на ноги, Любава пригнулась под нее, взяла на плечи, придерживая

за аккуратные длинные ножки. Напряглись, хрустнули шейные позвонки, перехватило горло, заныл низ живота.

«Не нарушить бы что в себе»,— мелькнуло на миг опасение. Но Ясеневка забеспокоилась, забилась, и Любава тотчас забыла свои страхи, стала уговаривать, гладить телку, и та затихла.

Навстречу, грохоча гусеницами, постреливая газовыми выхлопами, загребал с сеном ДТ-54. Телочка рванулась, уронила Любаву; очутившись на ножках, упала сама. Трактор остановился, заработал на малых оборотах. Из кабины выскочил чумазый Иван Рушкин.

— Чего надрываешься! — поднимая Любаву, возмущался он.— Скажи слово, всю ферму на плечах перетаскаю.

— Не перетаскивай... лучше следи за кочегаром.

— Не успеваю...— покаянно говорил он, а сам тревожился.— А насчет кочегара... я ему! Да и Никите мало не будет.

Взвалив на себя теленка, одной рукой обнял позеленевшую Любаву и осторожно повел к дому. Позади сердито покряхтывал трактор.

— Худо тебе, тетя Люба? — допытывалась Танюшка, увидев Любаву.

— Терпеть можно,— кривясь, ответила Любава.— Конфетку-то я не купила тебе. В другой раз... ладно?

— Да уж ладно. А я Володьку огурцами кормила. Он так сме-ешно чмокал!

— Ему же нельзя, Таня! Зачем ты?

— Мне можно, ему дак нельзя? — усомнилась девочка.

— Ступай домой,— подтолкнул ее к порогу Иван.— Ступай, тебя потеряли.

— Меня никогда не теряют. На тракторе прокати!

— Потом, потом.

Он уложил Любаву в постель, заглушил трактор и вернулся.

— Все вы обманщики! — упрекнула Танюшка.— Обещал прокатить и не прокатил. А тетя Люба конфет не купила.

— Не до тебя сейчас. Видишь?

— А когда до меня?

«В самом деле,— смутился Иван,— когда до нее? Человек же!» Он дал девочке денег и отправил ее в магазин за конфетами, а сам остался около Любавы.

К вечеру Любаве стало худо. Из нее густо лила кровь, пропитывая простыни и одеяло. Стыдясь Ивана, она велела накрыть себя еще одним одеялом, а когда стало невмочь, прогнала его домой. Иван обиделся, но подчинился.

В зыбке завозился Володька. Любава еще встала, обиходила его, переоделась и уложила ребенка рядом с собой.

Тетка Матрена кочегарила допоздна, явилась домой едва живая от усталости.

— Управлялась? Нет? Опять неможется?

— В голове звон. Простыла, наверно. Ну и так... по-женски.

— Лежи, сама управлюсь. Телку не поила?

— Один раз только.

— Ладно, лежи.

Старуха ходила еще часа два, гремела ведерными чугунами, ухватами, скрипела пригонными воротцами и негромко ворчала, должно быть, заново переживая огорчившие ее утренние события.

А Любава все слабела. Качался, плыл потолок, и кровать куда-то плыла и все прочее. Володька, словно сочувствуя ей, был тих и молча сосал грудь, но после полуночи загукал, завертелся, потом выбился из пеленок, выгнулся и зашелся в плаче до синевы.

— Дай хоть тить ему, что ли,— подала голос старуха.— Да пеленки смени. Сырой, поди?

— Сырой чуток.— Любава встала, сделала шаг, другой — ноги подкосились, и она растянулась посреди горницы.— Худо мне, худо, мама!

— Ох, господи, ох! — включив свет, ужаснулась старуха.— Говорила ведь дуре: не тронь телку! Нет, тронула! Нет, понесла! И — натворила с собой... Крови-то, крови-то! Матушки!

Она сдернула на пол перину с подушкой, закатила на них Любаву и, перепеленав внучка, кинулась за фельдшерицей.

Вскоре под окнами зафырчала машина. Лизавета вбежала не здороваясь. Увидев окровавленную постель, истошно орущего младенца, молча всплеснула руками.

— Глу-упая! Чего ради себя увечишь?

— Володьку оденьте потеплей,— едва шевеля помертвевшими губами, наказывала Любава.

— Володька дома останется. Тебя бы живой довез-

ти... Бережешь вас, бережешь... сами-то себя когда беречь будете?

— Володенька... хоть проститься с ним дайте,— беспомощное, в плаче перекошенное личико коснулось ее щеки. Любава нашла в себе силы вцепиться в ребенка, сделала ему больно.— Мой он, мой! Не отдам...

— Твой, Любушка, твой! Никто не претендует. Да ведь с тобой и с самой-то нянчиться надо.

Отняли Володьку. Любава беззвучно проплакала до самой больницы. Томили недобрые предчувствия. А в предчувствия она верила.

8.

Огромная, непонятная боль скрутила маленькое, еще недавно полное жизни тельце. Тетка Матрена прижала внучонка к себе, принялась дуть ему в ротик, словно хотела разжечь гаснущий огонек жизни, а он затухал, а тельце вилось в руках, корчилось от неведомой, от лютой напасти, на глазах синело и выгоняло из себя холодную влагу.

— Лю-юдии! Лю-юдиии! — высадив окно, в отчаянье закричала старуха, и первым, услыхав ее, отозвался Иван, возвращавшийся из мастерских.

— Кто тут? Кто тебя? — ворвавшись в избу, пытал он и вертел головою. Старуха, онемев от ужаса, протягивала ему ребенка, силилась что-то сказать. Но страшнее всего кричали исплаканные, полные ужаса глаза. Они выплескивали всю душу старухину, лихорадочно горели и жгли. Глаза эти, черные, полные ужаса, умоляли о помощи.

— Ты сядь, сядь. Я понимаю,— Иван, взяв ребенка, пытался усадить старуху.— Понимаю, Володька болен. Щас позову Лизавету. Сядь же! — силком усаживая ее, говорил он, не решаясь оставить Матрену наедине с ребенком.— Она придет... поможет. Подожди, а? Я на машине сейчас сгоняю...

— По-мирааа...— невнятно выдавила старуха, яростным, конвульсивным усилием заставив повернуться онемевший язык.— Поми-ра-аат!

— Не помрет, не бойся. Щас Лизавета придет... укол поставит... щас! — выбегая, крикнул Иван.

Старуха не слышала его, не понимала: весь мир

исчез для нее, все звуки, все предметы кроме одного крохотного человечка, утратившего в борьбе с напастью ту радость, тот свет, которые он источал для матери, для бабушки. Ребенок тихо, как взрослый, приговоренный к смерти человек, постанывал, словно понимал свой неизбежный конец и со всем примирился. Матрена снова принялась дуть в него, вдувать жизнь и вдруг испугалась, крепко-накрепко запечатала рот обеими ладонями: а если и стон этот замрет от ее неосторожного дыхания, расплещется последняя капелька жизни?..

«Носить... греть... потеплей закутать!» — Вскочив, старуха схватила одеяло, шубу, пуховый платок и нежно-нежно, осторожно-осторожно стала укутывать Володьку во все эти теплые вещи. Он сделался тяжелый, грузный, словно вырос уже, словно обманул только что явившуюся за ним смерть, и, почти уверовав в это, старуха перенеслась в придуманное ею будущее вместе с Володькой, заулыбалась, стала качать его и чуть слышно петь колыбельную. Голос ее рвался, хрипло скрежетал, точно меж голосовых связок попало толченое стекло.

Ребенок притих. А она все пела.

И пел сверчок за печкой, пел нежно и звонко, и, может, его услышав, Володька заснул.

Иван вывел из гаража братов «Москвич» и погнал в Першину к Лизавете. В медпункте ее не было. Дремавшая сторожиха на вопрос «где она?» выругалась ответно, зевнула, почесалась и лишь потом вяло пробормотала: «Уехала с каким-то хахалем. Куда — неизвестно».

— Что ж она, а? Там человек умирает... там...

— Кто, гышь? Кто помират-то? — сразу оживившись, переспросила сторожиха; смерть и свадьба — события сравнительно редкие, и завтра надо будет непременно посетить родственников усопшего и поплакать.

Иван, не ответив ей, рванулся к телефону — сигнал в трубку не поступал. Стукнув кулаком по телефону, снова вслушался — связь, как это часто случается, пропала. «Поеду сам... за час обернусь».

— Дак ты не сказал, кто к праотцам-то отправился,— перебила его сторожиха. Иван глядел на нее бессмысленными, незрячими глазами, молчал.— Нальют шары и шастают по ночам,— проворчала она, закрывая на засов двери.— Путного слова от них не дождешься.

Выкатив за деревню, Иван заметил, что дорогу перемело. В левый бок машины бил ветер, и на суметах она подскакивала, задирала нос, потом ныряла сверху в прогалину и, сердито, натужно урча, взбиралась на другой снежный вал. «Скорей! Скорей!» — словно человека, торопил Иван машину, и та из последних сил катилась, прыгала с одного снежного трамплина на другой, перегревшись, парила, но везла. Через полчаса Иван был в районе. Подвернув к больнице, взбежал на крыльцо. Не раздеваясь, вбежал в ординаторскую, схватил за локоть какого-то врача, не заметив здесь же сидящей Лизаветы.

— Там парнишечка... там ребенок... скорей, пожалуйста, доктор! — отрывисто говорил он, вталкивая доктора в халат.

— Володька, что ли? — встревожилась Лизавета.— Ох господи! А я здесь...

Она засуетилась, накинула шубку и побежала к машине. Следом за ней спешил Иван и молодой, слегка оторопевший от его напора врач. «Москвич», отдыхая от трудной дороги, работал на малых оборотах. Иван дал газ и с места рванул на второй скорости.

— Вы хоть объясните мне, в чем дело? — ничуть не сердясь на бесцеремонность Ивана, спрашивал доктор и улыбался. Ему не впервой приходилось выезжать по неожиданным вызовам. Люди иногда путали адреса и обращались не на станцию «Скорой помощи», а прямо в больницу. И врач не отказывался, если вызывали его, ехал в любое время дня и ночи, шел пешком. Он был молод, неутомим, добр и любил свою профессию.

— Не знаю,— честно сказал Иван.— Не знаю, но худо.— «Москвич» бросило и повело в сторону.

— Вот те раз! — покачал головой врач.— Может, и еду к вам зря?

— Нет, худо... парнишка синий совсем... кажется, огурцами отравился... И тетка вроде не в себе.

— Будешь тут не в себе! — проворчала Лизавета.— То Любка, то внук... И все подряд...

«Любка?» — обожгло Ивана. В суете про Любаву совсем забыл.

— Как она? — обернувшись через плечо, посмотрел на доктора.

— Да пока не очень... плоха,— уклончиво сказал врач и сочувственно поморщился.— Жена ваша?

— Чужая,— глухо отозвался Иван, сознавая всю фальшь этого слова. Какая же она — чужая, Любава? «Москвич», скатившись в ложок, полез вверх по склону и забуксовал.

— А что ж вы...— начал было врач, но осекся. Лизавета поняла то, о чем он не спросил, сухо, зло рассмеялась.

— Из человеколюбия старается. Он, Ваня-то, святой у нас... Хоть сейчас на него молись.

— Я подтолкну,— сказал врач, догадываясь, что между Лизаветой, Иваном и больной, недавно поступившей в его отделение, существуют очень непростые отношения, и их лучше не трогать. Он выбрался из машины и принялся толкать буксующую машину. Лизавета помогала ему, весело чертыхалась и словно бы нечаянно прижималась к доктору упругим бедром.

— Нно, поехали! Ишь, телега, зауросила! — «Москвич» крутанул на большом газу колесами, запорошил снегом.

— Лопатка есть у вас? — обойдя Лизавету, врач взял у Ивана ключ от багажника и достал лопату.— Не рвите мотор. Сейчас вызволим.

Врач был сильным, привычным к труду парнем и немалую силу свою тратил расчетливо, точно. Через пять-семь минут перед машиной была вырыта глубокая траншея, за которой начиналась твердая, ровная дорога.

— Во, Ваня, учись у интеллигенции! Шевелит товарищ мозгами! — Лизавета толкнула Ивана в спину и на повороте, когда «Москвич» сильно качнуло, коснулась губами его шеи. Иван поежился, но отодвинуться не успел.

Не добежав до деревни двух километров, машина дернулась и заглохла.

— Что, опять? — щекоча Ивана за шеей, спросила Лизавета и нехотя убрала руку.— С этим транспортом одно горе. Да и... с шофером тоже.

— Бензин кончился...— виновато сказал Иван, оглядываясь на врача. Неловко получилось: человека встревожил, а доставить по-человечески не мог.

— Пойдем пешком,— решил за всех доктор и широко зашагал к деревне, освещенной редкими уличными огнями. Лизавета, было подхватив под руку Ивана, пошла с ним рядом. Но он досадливо выдернул руку,

прибавил шагу и догнал врача. Она и здесь втиснулась между ними, взяла обоих под руки. Ивану пришлось смириться.

— Попался, миленок? Ну и веди меня, будь мужчиной,— усмехнулась Лизавета, стискивая пальцами его локоть.

«Как она может шутить, когда там худо?..» — думал Иван и шагал широко, часто, вырываясь вперед. А еще думал, что на Любаву снова свалилась беда, но первые отзвуки этой беды примет на себя тетка Матрена. Хоть бы, хоть бы все обошлось благополучно!

Дверь в доме, распахнутая Иваном, была открыта. Дуло в разбитое окно, и по избе гулял ветер. Старуха, согнувшись, стояла в углу и прижимала закутанного ребенка, словно собралась с ним на прогулку.

— А ну-ка дайте мне вашего мужичка! — вымыв руки, сказал врач и, взяв ребенка, покачал головой.— Мы опоздали.

Лизавета ойкнула, подбежала к нему и, зачем-то отняв Володьку, принялась его снова укутывать. Иван, кровавя руки, подбирал с полу осколки стекла, мельчил их, ронял и поднимал снова. В запечке весело пел сверчок. Посвистывал, обнюхивая углы, ветер.

Матрена пришла в себя первой. Занавесив окно одеялом, прикрыла дверь и, подняв Ивана, отерла полотенцем кровь с его пальцев.

— Ступайте... я одна с ним побуду,— сказала она отчетливо и тихо и знаком велела положить Володьку в зыбку.— Ступайте. Только Любаве не сказывайте. Она у меня... сердешная.

9.

Тихо на кладбище. Морозно. Вечный покой. Отбивают поклоны облысевшие за зиму черемухи и березки, темнеют над крутояром кресты. Над отцовской могилой звезда. Над Володькиной — крест деревянный, свежеоструганный.

Тихо.

Согбенная, скорбная, рядом с Любавой сутулится мать. Будто солнышко схоронили. Все померкло вокруг. Все затопило черной водой.

Любава выплакалась до донышка и теперь молча сидит на крохотном, до слез крохотном холмике. А мать и вовсе не плакала. Видно, разучилась. Или — успела в одиночку наплакаться? «Ласковая моя, добрая!» — мякнет, отходит затвердевшая в горе душа Любавы. Оберегая Любаву, старуха приняла всю беду на себя. Едва ноги таскала, а в больничной палате, принося передачи, бодрилась и таила страшную весть до последнего дня. Сказала по дороге домой. Осторожно сказала. Хоть и осторожно, а больно невыносимо. Ослепла от горя Любава. Из машины хотела выскочить. Шарила непослушными очугуневшими руками дверную защелку и не могла найти. Нашла бы — выбросилась.

Затормозили машину, Любаву вывели на свежий воздух. Она не упала. К кузову прислонясь, молчала: ни слез, ни криков.

Долго-долго стояла, не слышала, что говорили вокруг, как успокаивали. Один только глухой материнский голос дошел: «Мне разе легче, доча? Мне нисколь не легче. Садись в кабину, не держи народ. Народу ехать надобно...»

Обняла старуха Любаву, усадила посередке между собой и шофером.

Верно сказано: народу ехать надобно. Едет народ, движется, а Любава сидит здесь который уж день. Рядом шуршит тетка Матрена, поддерживает для обогрева костер.

Ей побольше досталось. Но, видно, бессмертно закалилась могучая материнская душа. А обитель ее ослабла. Осутулило всю, волос, недавно темный, ровно мыльной пеной забрызган; усохло и пожелтело лицо.

«Бедная моя! — Любава берет изжиленную черную руку матери и целует ее и омывает наконец-то прорвавшимися слезами, точно хочет смыть все ссадины, все мозоли.— Мама моя! Ма-амаа!!»

Широкое корытце старушечьей ладони копит в себе Любавины слезы, держит, боясь расплескать. Нужные они, слезы эти, бесценные. Когда наполнят ладошку доверху, потом еще одну, еще несколько, поймет Любава, почувствует, сколько весит облегчение бабьей души. И — успокоится. Это первые ее ладошки. Впереди — жизнь.

Тетка Матрена счет потеряла таким меркам.

«Минуйте ее печали мои! — неразличимо шепчет

старуха.— Оборони, господи, дочь мою единственную! Ее-то за что? Меня карай! Я привычна!»

Вот так. Любое горе на плечи матери. За любую провинку детей мать казнится. Кто же она, мать человеческая, чем заслужила невыразимые муки свои?

Огромно материнское сердце, вулканьего жара полно. Но и оно стынет с годами. И оно умирает. Сын погиб — отмерла частица. Еще два сына полегли где-то — усохло сердце; усохло, но не выключилось даже и тогда, когда мужа не стало. Теперь вот внучек, капелька бесценная, помер, а сердце живет, бьется... Значит, оно бьется, жизни счет завершая? Наверно, природою так решено. А коль решено — все тепло, все биения людям, и прежде других — Любаве.

— Мамаа! — Любава трется щекой о бугорчатую, как сосновая кора, ладошку и боится открыть глаза. Опрокинув накопленную соленую влагу, ладонь поднялась, погладила, как в детстве, по голове. Вроде полегчало...

— Пойдем давай. Пойдем помаленьку, дочушка. Робить начнем. А как робить начнем — притухнет...

Взяли друг друга за руки и пошли не оглядываясь, две матери, две хранительницы всех потерь, всех горестей.

Легкой дороги вам. Если только есть она на земле, легкая...

Ветер. Жалуется он, колотится в ставни: «Пустите!» Да кто пустит? Не друг дорогой, даже не загулявшийся по чужим крышам кот. А всего лишь ветер... И бьется ветер лбом попусту, то грозит, то умоляет. Утомившись от бесполезных просьб, воспрянет, выгордится и свистнет по оглохшим белым полям, по околкам, по овражинам, развеет, развеселит себя. Легкое у него одиночество, Любавиному не чета.

Любаве тяжко. Молчит она, ворочается на голбце, слушая унылое повизгиванье ветра...

Матери тяжелее...

...Матери, наверно, потяжелее. Сдала на глазах старуха. Голос стал тише, глаза потухли. Слепнут глаза, слезятся; мелко трясется белая от седин голова. И руки ослабли. Сходила вчера на ферму — ночь маялась. Ломит руки, ноют рученьки. А помимо всего — старческая бессонница.

Вот встает мать, свет зажигает, вот бросает в печку

дрова на лопате, гремя о шесток. Утренняя сказка о Жихарке...

— Поднимайся — не спишь дак,— говорит тетка Матрена.— Телку-то в избу надо загнать. В стае выстыло.

Ясеневка сама бежала по скрипучему, по ожигающему снегу, цокала копытцами о сенные ступени: цок-цок...

— Проходи, проходи, гостьюшка! — а она пятится. От шума, от света и тепла. В стае было холодно, темно, тихо.

Запостреливали березовые дрова в печи, будто фасолины, лопаясь от огня. А он ласкал их, заголял на поленьях бересту, шептал обманное что-то... Поверят — не возрадуются, почернеют, обуглятся от обиды, оставив людям жар да пепел, и то ненадолго. Выстынет в избе — и все повторится сначала.

— Крошек ей накроши в молоко,— печется о телушке старуха.— Ишь красавка какая! Раздобрела...

Любава кормила Ясеневку, совала глупую мордашку ее в кастрюлю. Телочка мотала головой, тыкала мокрыми губами в ладошки, оставляя на дне хлебное крошево.

— Хитрущая! А крошки кто будет есть? Ешь, ясная, ешь! Чтобы крепость в ногах была.

— Славная вырастает корова,— приставляя чугун к загнетке, говорила тетка Матрена, искоса поглядывая на дочь.— На ферму-то, небось, раздумала? Сбила охотку?

— До смерти не собью,— приободрилась Любава, тут же спросив себя: «Верно ли», но отвечать не стала и ушла.

Всю эту зиму она прикармливала коров из своего погреба, а когда подмела все излишки, стала скупать по дешевке квашеную капусту, картофель, репу, надивив всю деревню.

— Поговорят да перестанут, а ты делай свое,— успокаивала тетка Матрена.— У коровушки молоко на языке.

Коровы в Любавиной группе, особенно Зорькино племя, ели много, но и доили много. Любава звала их ведерницами. Но колхозный рацион был скуден для таких крупных животных. А Дутыш не допускал исключений.

— Как все, так и ты,— он увидал в стараньях

Любавы своекорыстие, погоню за славой и настроился непримиримо.

— У меня же самые крупные коровы, дядя Никита. Добавь им хоть мучки, что ли! Окупится же,— просила Любава.

— Тебе добавлю — другие что скажут? Не знаешь? А я знаю: мол, на чужих костях в ударницы выезжает.

— Да ну тебя с ударницами вместе! — рассердилась Любава и, посоветовавшись с матерью, отправилась к Рушкину.

— Земли с полгектара выделить сможешь?

— Смотря для чего.

— Все для того же, Никита, поди, жаловался?

— Случалось.

— Ну вот, стало быть, объяснять не надо. Я и прошу-то всего пятьдесят соток. А семян на свои деньги куплю.

— Как-то неладно получается,— Рушкин озадаченно почесал розовую лысину, застенчиво прикрытую жидкой прядкой.— Коровы колхозные, а семена за твой счет.

— Не на коленях же мне упрашивать вас...

— Ты вот что, давай без этого! Выделим семена, посоветуюсь с правлением.

Правленцы не возражали, более того, собирались возместить Любаве убытки.

— Не надо,— отказалась она.— Нам с мамой много не требуется. А вот насчет участка...

— Ну, этот вопрос решенный!

Выделили участочек, а как обрабатывать его? Об этом речи не было. Вот и ходила по весне с лопаткой, ковыряла свои сотки в день по две, по три. Но тут Иван подоспел.

— Не надсажайся! Я сейчас трактор подгоню.

— Сама справлюсь,— но Иван уже бежал к мастерской, подле которой поставил трактор с плугом. «Пусть пашет, пусть. Не мне ведь — колхозу»,— оправдывала свою уступку Любава, слушая недовольное рокотанье уставшего за день трактора. Решила: «Сажать сама буду». Но и сажали с Иваном, и окучивали.

Картошка на диво выбухала: не клубни в гнезде — поросята. Большую часть урожая Любава ссыпала в свой погреб. Остальное свезли к Ивану. Своего хранилища на ферме не было.

Теперь зиму можно было встречать спокойно. Из шестнадцати коров в ее группе четыре надаивали по двадцати литров. А Зорька и Ясеневка — двадцать с гаком. Любава ухаживала за ними с особым тщанием: чистила, меняла подстилки, каждую среду устраивала банный день.

— Ты телятоk-то, которые от молочных коров, отбирай, доча! — наказывала тетка Матрена.— Не всех, а которые от молочных. В колхоз телятницам не давай — сами дозирать станем.

Любава отбирала. И — дозирали.

По этой самой причине хлопот прибавилось: и телятнице, и доярке. Телят, правда, немного, восемь всего, но возни с ними, трясу и беспокойства — от сумерек до сумерек.

— Совсем обкулачилась! — посмеивался Никита, не делая, впрочем, ничего, чтобы хоть как-то помочь Любаве. При случае, однако, похваливал, давая понять, что в успехах Любавы есть и его доля.

Любава за почестями не гналась, жила по инерции. Странное состояние полного безразличия к себе, к своему будущему ничуть не удивляло ее. Учебу забросила совершенно. Не до учебы теперь. Работа, работа, работа... Руки огрубели, походка отяжелела. Однако в этой нелегкой изматывающей работе было то несомненное преимущество, что она помогала забыться. Любава и по вечерам не выходила из дома, жила затворницей. И в праздники находила себе какое-нибудь занятие.

Изредка заходила Лизавета, у которой был недолгий роман с заезжим художником. Художник оставил ей свой автопортрет, кепочку, перемазанную краской. И портрет и кепочку Лизавета сожгла в печке. Оставшись одна, стала наведываться к подруге. Однажды — испытать, что ли, хотела — сказала:

— А я с Ваней с заимки ехала...

— Будто раньше ни разу не ездила? — пожала плечами Любава и принялась за шитье.

— Раньше-то он около тебя вился. Чем приворожила?

— Огородом. Заведи участочек... он огороды пахать любит.

— Не смейся, Любка. Я тебя серьезно спрашиваю.

— Заскучала? Художник-то воротится?

— Ну его к черту! Занудный!

— Потерпи. Кто-нибудь свежий заявится.

— Я тебе шляпку купила,— перевела разговор Лизавета.— Ту шляпку на пень надень — пнем воблазнятся. А на тебя... и дарить боюсь.

— Не дари.

— Ваня-то... осмелел... даже поцеловать меня хотел.

— Целуйтесь,— холодно вымолвила Любава и вдруг яростно взорвалась: — Целуйтесь. Только меня в свои отношения не впутывайте!

— Стало быть, у вас... как и раньше?

— Не совсем так: огород для меня вспахал. Не слышала, что ли? — взяв себя в руки, усмешливо ответила Любава.

— Так, ясно. Все еще на дистанции его держишь? Я бы на твоем месте... сократила дистанцию. А вон и Ванечка, легок на помине,— выглянув в окно, сказала Лизавета. Застав их вдвоем, Иван в нерешительности замер у порога.— Хоть бы поздоровался, невежа!

— Отцепись! — буркнул он, краснея. Краснел ступеньками; когда румянец заливал все лицо, на нем резко выделялось родимое пятнышко меж бровей.— Десять раз на дню здоровались.

— Разве? А я и не заметила,— простодушно удивилась Лизавета.

— Где тебе замечать! Следишь за мной, будто сыщиком нанялась.

— Была охота следить! Сам не даешь проходу: то в одном переулке встретишься, то в другом...

— Поверят — кто не знает тебя. Выйди-ка! Мне с Любавой потолковать нужно,— отстранив Лизавету, сказал он и решительно прошел в передний угол.

— Ты ведь по делу? — ничуть не смутившись, спросила Лизавета и села с ним рядом.— Вот и говори в моем присутствии... чтобы морального разложения не случилось.

— Я вот вытолкаю тебя в шею — и будет тогда разложение. Уйдешь или нет?

— А, снюхались! — зашипев, вскочила Лизавета и, бегая вокруг Любавы, заглядывала ей в глаза, словно хотела высмотреть какую-то, неизвестную ей, тайну.— Присушила голубчика!

— Ну вот, опять сказка про белого бычка,— устало

вздохнула Любава, с трудом удерживаясь, чтобы не вспыхнуть.

— Может, и про бычка, только не про белого. Про того,— указав на Ивана, закричала Лизавета,— который сердце мне высушил! И про подружку мою.

— Довольно, Лиза! — резко оборвала ее Любава.— Устала я от вас. Довольно, уходи! — тряся головою, Лизавета выскочила на улицу, перед окнами обернулась, погрозила и, заголосив на всю деревню, побежала прочь.— И ты пореже захаживай, Ваня. Что тебе нужно-то? Можешь и в конторе сказать или на ферме.

— Все время гонишь меня. А что я плохого сделал, Люба? За что гонишь?

— Пуста я, Ваня, до донышка выпитая. А ты ждешь от меня чего-то,— с тихим упреком сказала Любава и, смахивая слезы, отвернулась.

— Ничего я не жду... А если хожу, помогаю иногда, так что в том плохого? Вижу, как гнешься одна... силы тратишь...

— Тем и спасаюсь. Я забываюсь тем, Ваня.

— А ты хоть немного себя береги,— уговаривал он, вкладывая в слова иной смысл. В них просьба крылась, все та же просьба: буть милосердна ко мне, Любава!

— Для кого мне беречься? — тихо выдохнула Любава.— Все постылые.

— Да хоть для меня,— тотчас подхватил он.— Я понимаю, человек я для тебя не интересный. Но ведь человек же! А человек для человека живет. Такой уж закон у жизни.

«Как они похоже признаются!» — отметила Любава, вспомнив давнее Никитино признание. Но Никиту слушала холодно, почти враждебно, а эти слова западали в душу. И все же, выверяя себя, Любава не могла ответить Ивану хоть сколько-нибудь тепло, взволнованно. Но слова его доходили, грели, и потому не гнала его, как гнала от себя Никиту.

— Наплел тут,— против воли потянувшись к нему и тут же одернув себя, резко сказала Любава.— Не расходуй себя, Ваня! Все это ни к чему... пустое.

— Люба, Любушка, ведь я... без задней мысли. Я просто так, Любушка...— забормотал он осевшим голосом. Кровь от лица отлила, словно ознобил обе щеки, хоть снегом три; глаза виновато и жалобно заморгали.

— Пощади меня, Ваня,— умоляюще сказала Люба-

ва.— Пощади, если хоть сколько-нибудь любишь. Не заговаривай больше об этом... чтоб я против себя не пошла. Слышишь, Ваня?

— Ну вот, все... А я думал... я жил тобою, Любава! — Он, точно ослепнув, водил перед глазами ладошкой и не мог подняться на ослабевшие ноги, хотя знал, что надо встать и уйти. Слабость и раньше брала над ним верх, например, когда ранили и нога омертвела. Но ведь это была рана, а ран не стыдятся. Сейчас ему было стыдно перед собой, перед Любавой и не было сил подняться.

За окном, на тополе, ворковали два голубя, вокруг них, перелетая с ветки на ветку, сновали суматошные воробьи, вертели хвостиками. Проста и бесхитростна жизнь птиц. Отчего же человек так не может? Все осложняет, мудрит и совершает глупость за глупостью.

Любава вот просто живет, отделив себя от людей стенкой. Выходит к людям, в большую жизнь, через невидимую дверь, как из вагона выходит на одной и той же станции. Все, что дальше этой станции и что делается на другом пути и в другое время, ее не интересует. Закупорилась, как муравей, или заживо погребла себя в себе же. Как раскупорить ее, куда позвать? Да и захочет ли она пойти за тобой? Не нужен ты ей... нисколько не нужен.

— Ты не трави себя, Ваня,— зная, что обижает Ивана своей жестокостью, страдая от нее и от сознания чего-то безвозвратно уходящего, говорила Любава.— И меня не трави. Ничего у нас не выйдет.

«Может, сказать ей о Сереге-то? — мелькнуло в голове у Ивана. И это было бы кстати. Сколько можно жить обманною надеждой? Пусть узнает всю правду. И все же он не сказал ей.— Пускай сама все узнает...»

— Про Серегу-то что молчишь, Ваня? Серега-то пишет тебе, наверно? — словно угадав его мысли, спросила Любава.

— Нет... он не пишет. Он это...

— Ну что ты мямлишь? Женился? На Верке Чикишевой женился?

— Это вряд ли... зачем же на Верке, когда есть ты,— бормотал Иван, безмерно жалея Любаву. А надо бы правду сказать, но язык не слушался, не мог выговорить всю правду.

А Любава сама догадалась. И неловкая ложь Ива-

на ничуть ее не задела, наоборот, даже чуть-чуть тронула. «Он ведь ради меня врет... оберегает меня. Ох, бедный ты мой!»

Она тянулась к Ивану, хотела тронуть эти пушистые рыжие ресницы, прикрыть ими печальные, как у раненой птицы, глаза. Хотелось обнять его, утешить по-матерински... «По-матерински? Ты лжешь! Лжешь!» — говорила она себе и призывала в судьи память о немногих прожитых с Серегой днях, повторяла слова из присланных им писем и, в который уж раз обманывая себя, твердила, что Серега вернется. А если и вернется, так что? Так ли уж ты его любишь? И можно ли любить, даже просто уважать человека, ни разу не вспомнившего о своем сыне? Не поздравил с рождением Володьки, не посочувствовал, когда Володька умер... Ненавижу его! Ненавижу! Подлец равнодушный! Но если ненавижу, так зачем же его жду? Или — уж не его жду, а просто живу по инерции? Храню какую-то верность прошлому... А прошлое умерло вместе с Володькой.

Лизавета вон не из тех, кто верен своему чувству... То есть она хранит про запас это чувство, а случай выпадет — не упустит, воспользуется им. Однако, начав рассуждать подобным образом, Любава поняла, что оправдывается перед собой, перед своей слабостью и, оттянув руку, точно хотела ударить, заговорила ломким и противным голосом:

— Совсем заврался, дружка защищая. Видно, и сам его не лучше.

«Обманул... эх! И чего ради? Серега спасибо за это не скажет... Дурак! Дурак! Только себе навредил! Ну все! Теперь уж мосты сожжены!» — Иван растерянно тер ослепшей левой рукой лоб, правой, столь же незрячей,— шарил сзади дверную скобу. Нащупав, рванул дверь к себе, хотя она и открывалась наружу, потом толкнул от себя и кинулся в проем, как в колодец. В сенках столкнулся с Александром. Тот как всегда был в меру пьян и улыбчив.

— Ага, вот он! А я ищу его по всей деревне! Хорошо ли в мои-то годы челноком по всем закоулкам сновать? — заталкивая брата в избу, басил Рушкин.

— Чего тебе? — трясущимися губами Иван зажал во рту папиросу, хмуро отвернулся.

— Шемякин приехал. Созвали правление. Тебя ждем.

— Не пойду. У меня трактор стоит заведенный.

— Придется идти, братан. Сам секретарь райкома личностью твоей заинтересовался.

— Насчет заведующего решайте, правленцы! — вмешалась Любава.— Какой из Никиты заведующий?

— Есть получше,— с намеком посмотрев на нее, усмехнулся Рушкин,— да не соглашаются. Может, сама его заменишь?

— Об этом уж был разговор,— сухо сказала Любава.— К чему переливать из пустого в порожнее?

— Тогда подскажи, кого другого поставить.

— Ставьте Ивана... лучше не найти,— посоветовала Любава.

— Ивана? Нет, это не выйдет... в свете последних событий.

Иван, услыхав о себе разговор (говорили, словно и его рядом не было!), вскочил, хлопнув дверью.

— Донимает братан? Он такой,— невесело усмехнулся Рушкин.— Он настырный.— И, вздохнув, посоветовал: — Женились бы вы. Чем не пара?

— Советчиков-то вокруг! Советчиков-то! — всплеснула руками Любава.— И все бесплатно советуют. Все знают, как жить. Одна я не знаю.

— Бывает и так, Любава,— не обижаясь на ее иронию, задумчиво отозвался Рушкин и чуть тише повторил: — Бывает и так.

Подле конторы его окликнула Матрена. Рушкин сделал вид, что не слышит (не в первый раз пристает старуха), попытался улизнуть, но тетка Матрена позвала громче: — Эй, председатель! А ну годи!

— Что, отхворалась, тетушка? — расцвел лучезарной улыбкой Рушкин. В узкие прорези век, как скворушки из скворешни, все понимающие выглядывали глаза, избегая, однако, старухиного взгляда.— Ишь как на пенсии-то раздобрела! Государство, стало быть, не зря пенсии установило трудящим, а?

— Век бы ее не было, этой пенсии! Я из-за нее без дела осталась. Давай подыскивай дело, председатель! Не привыкла я, лежа на печи, кирпичи гладить.

— А, вон ты о чем! Это я в два счета утрясу,— успокоил ее Рушкин и для виду задумался.— За племенными телятами будешь ходить?

— Дак я и без указки хожу за ими.

— Ты же неофициально, тетка! Так сказать, из го-

лого патриотизма. Теперь официально к этой должности будешь приставлена. Гляди, получше ухаживай,— не давая ей вставить ни единого слова, частил Рушкин.— Будущих рекордисток доверяю.

— Все бы так! Лекордисток! Лекордистки-то — руки Любавины! — проворчала старуха, еще не решив, как вести себя: вроде бы опять обманул ее председатель. Обманул, а сам выговаривает, строжится. Ох плут!

— Что верно, то верно. Любава беспокойна, в мать удалась,— кивнул Рушкин. Что интересно, с Матреной он почти всегда соглашался. Старуха о собственном да и о себе самой не хлопотала. Если говорила что, а чаще всего требовала, то это касалось только колхоза.

— Полно глаза-то замазывать, мытарь! Когда на ферме порядок будет? Одна только Любава и лезет из кожи. Другие что, не колхозницы? — не дав заговорить себя, насела на председателя Матрена.— На коровенок глядеть срам!

— Меня что ругать? Тех ругай, которые из колхозу бегут,— огрызнулся Рушкин.

— Бегут — стало быть, сам виноват. Аль кто другой из начальства. Народ зря с места не стронется.

— Мы-то с тобой на месте, тетушка! И Любава на месте. И Ванька мой...

— Не оправдывайся, Лексан! Начала — до конца выговорюсь,— прервала его старуха.

— Ну ладно,— покорившись, вздохнул Рушкин и отвел старуху в сторону.— Крой, только негромко. А то начальство приехало.

— Вот и пускай слышит! — пригрозила ему Матрена, а голос все же притушила.— Пить-то когда перестанешь?

— Я помаленьку, тетка. С устатку.

— Снимут же, голова садовая, с председателей!

— Никита давно грозится. А я хоть щас готов... хоть щас, брошу и уметусь на все четыре! — раздраженно сказал Рушкин. Он и впрямь устал от председательства. По его ли здоровью такая работа! Каждое утро голова кругом. А людей нет, все меньше людей в колхозе.

— Уметусь... Я вон неграмотная совсем, а в войну не убегала, руководила как могла. Ни лошадей, ни тракторов, как теперь, не было. Все на себе, на коро-

венках. И с голоду не помирали, фронтовикам помогали ишо.

— Война, тетушка,— время особое. Тогда ни с чем не считались. И разговор был короткий в случае чего. Щас не те времена.

— Распустили народ, разбаловали! И сами разбаловались! Своя машина есть — мало. Подай персональную! Дом рубленый — плохо. Из кирпича дворец надо! И деньгу положили, как министру... По заслугам ли?

— Миром думали. Я условий не ставил. А насчет заслуг давай помолчим,— теперь уже всерьез принимая все ее упреки и обижаясь на них, отговаривался Рушкин.— Кто по утрам в окна стучится? «На наряд, колхознички!» Мужики еще так-сяк. А баб не дозовешься. Шефы на сенокос приехали — стыдобушка! Городские женщины литовками машут — наши иванов день празднуют. Дарья Иноземцева с Аксиньей Глушковой посреди улицы за волосы друг друга таскали.

— С тебя пример берут. Председатель пьет, и колхознички не отстают. Тем и веру у людей отбиваешь. Вон Иван твой... одна кровь, а трезвенник... Уж про него худого слова не скажешь.

— Не скажешь, дак че в зятья-то не берете? Занеслась Любава или царевича ждет? — ловко перевел разговор Рушкин, посмотрев на часы. Через четверть часа должно начаться правление.

— Некого ей ждать, Лексан, сам знаешь. Сергея в сердце хранит.

— Хранит какого-то сукина сына! — сердито бухнул Рушкин, подавив вздох облегчения: ффу, пронесло! А то ведь, бывает, по часу старуха чистит. Видно, сохранился в ней председательский-то запал.

— Сама так же думаю, да ведь ей не прикажешь.

— А ты повлияй... по-матерински. Ну ладно,— снова взглянув на часы, заторопился Рушкин.— Я побежал. Надо правление начинать.

— Хитрущий, дьявол! — рассмеялась старуха.— Опять зубы заговорил.

И, подтолкнув председателя: иди, мол, побрела вдоль деревни через мост, мимо Пустынного.

Тихая, до вороного блеска укатанная дорога. Лесок с одного боку. Нешибкий лесок, березовый, чистый. Редкий желтый листочек в густокудрой зеленой пышности смотрится драгоценной наколкой. Нацепила ее бело-

ствольная модница и хохочет и, кокетливо выгнув стан, притоптывает стройною ножкой. А вокруг такие же гибкие, свежие, смеющиеся березки хороводят на шелковых полянах, встряхивают кудерышками, в круг заманивают.

Груздями пахнет, ягодами, летом уходящим. Старухи по лесам шастают, тешат душу. Пройтись бы и Матрене по лесу, вдохнуть в себя груздяной да ягодный запах, а она не привыкла... Если б дело какое было... поднялась бы спозаранку. Оберегает ее Александр. Добрый мужик, внимательный, хоть и обижается на критику, а зла в душе не хранит. Зато память о друге своем хранит по сей день, об Андриаше...

Лесок между тем кончился. В слепящем блеске, в колыханье бескрайнем открылось большое пшеничное поле, на котором урчало пять-шесть самоходок. Ходили они в хлебах, как журавли, перекликались, склевывали колосья, копя до времени зерно в зобатых своих бункерах. Меж ними юркие сновали машины. У колка, к самому жнитву подступив, тосковал в бездействии такой же самоходный комбайн. «Умела бы — села,— подумала старуха.—Это, должно быть, Ефима Глушкова. Удрал, бегун чертов, в самую страду. Ох как измельчал народишко! Никакого уважения к хлебу! К самому главному продукту земли...»

10.

С легкой руки Шемякина пятым в «Заре» председателем стал Иван Рушкин. Знал, что взвалили на него непосильную ношу, что может под этой ношей рухнуть и задохнуться, но одно дело знать, другое — почувствовать, насколько ноша тяжела. А это ему еще предстояло. Раньше отвечал только за себя, за свой трактор, за свой клин вспаханный. Теперь за все отвечать придется. Главное из всего — люди. Надо что-то придумывать, чем-то увлечь их. Надо залатать многое множество дыр...

До собрания был спокоен и даже на собрании, рассказывая о себе, волновался не слишком. Чуть-чуть польстило внимание колхозников: Иван и не подозревал, что пользуется в деревне таким уважением. От души посмеялся над выступлением Никиты: «Посулил

я Рушкину — свергну! И вот итоги, гадский потрох! Не у дел нынче Рушкин. Помни это, Иван Семенович, и ходи аккуратно, по краю плашки». Какие-то минуты прошли после голосования, и человек вроде бы не состарился, не поумнел за эти минуты, а его уже навеличивают.

Когда все разошлись, братья, открыв окна и двери, долго еще сидели в конторе. Александр передавал дела, советовал, что в первую очередь следует сделать. Иван слушал его рассеянно, был далек отсюда.

— Давай, Саша, побродим,— захлопнув окно, попросил смущенно.— Дела я и завтра приму. Не к спеху.

Выйдя за околицу, направились к Пустынному. Озеро дремало, вольно раскинувшись между берегами. Через разъеденную плотинку сочились нешумные ручейки, изредка падала вниз, в яр, пугающий глубиной, сырая земля с запруды.

— Рушится плотинка,— задумчиво сказал Иван, усаживаясь на срубленную у самой воды скамеечку.

— Держалась... и еще не одну весну продержится,— отмахнулся беззаботно Рушкин.— А если и разорвет — вся вода не вытечет.

— Жаль озерка-то... чистое, рыбное. Тут бы лагерь ребятишкам разбить, а мы коров держим, будто других озер нету.

— Можно и лагерь,— скрывая зависть, кривовато усмехнулся Рушкин. Ведь сколько лет в деревне прожил, чуть не каждый день ходил и ездил мимо Пустынного, а до этого не додумался. Здесь и впрямь пионерам будет приволье.— Берись и строй, товарищ председатель.

— Какой из меня председатель, Саша! — грустно возразил Иван и обмакнул палец в воду. Палец сначала ощущал прохладу, потом свыкся, словно температура воды и крови уравнялась. Озеро как бы тянуло Ивана вглубь, точно призывало стать частью его, частью великой природы. А он раздумывал: стоит ли?

Деревня ужинала, спала, перемывала косточки ближним, сидела у телевизоров. В клубе после кино шумела молодежь. Громко взвизгивая, хохотала на всю Хорзову Лизавета. Студенты, приехавшие на уборочную, чуть-чуть оживили деревеньку, и, как в прежние времена, клуб был полон.

— Какой из меня председатель! — невесело повто-

рил Иван, и это искреннее признание тронуло Рушкина-старшего. Где-то в дальнем закоулочке мозга шевелилась нехорошая мыслишка: «Не успели выбрать — занесся братан! Как бы головка не закружилась от высокой чести!» А Иван, водя по воде пальцем, сетовал: — Перед людьми робею. Опыта нет. Рано, рано в председатели выбрали!

— Шишек, конечно, не избежишь, братко! Но опыта без шишек не бывает,— желая ему удачи, успокаивал Рушкин. Помолчав, выдал: — А я ведь в лесничество наладился, Ваня.

— Галина сказывала,— кивнул Иван и, вдруг смахнув с себя грусть, решительно заявил: — Да только зря ты это затеял. Не отпущу.

— Я, Ваня, отдал свое колхозу,— и радуясь, что брат все-таки удерживает, значит, нужен еще колхозу, и чуть-чуть теряясь, утратив старшинство, тихонько напомнил Рушкин.

— Обиделся, что сняли? Скажи Никите об этом, он порадуется.

— Какая обида? Я рад не рад!

— У меня заместителя нет, Саша. Может, согласишься?

— Заместителем? Ни за какие коврижки! Хватит с меня чинов! Здоровьишко сам знаешь какое.

— А если ферму дам — потянешь?

— Подумать надо,— Рушкин-старший понял, что брат не отпустит его, да и некрасиво это — бросать Ивана в нелегкую для него пору. Надо пожить, помочь в первое время, потом будет видно.

— Я, правда, еще одно дельце хотел тебе предложить. Но Шемякин агронома к нам направил...

— Дельце-то какое? — Хм, братец, оказывается, с сюрпризом! Жил тихой сапой, а сам прикидывал: что да как. Рушкин полагал, что он только по Любаве страдает и ни о чем больше не думает.

— У нас льны росли когда-то... Говорили, богатые льны...

— Было такое,— подтвердил Рушкин, понимая, куда клонит Иван.— Только ведь они усердия требуют, Ваня. Я тоже подумывал над этим. А где руки возьмешь? И льнозаводишко маломощный.

— Руки добудем. Тех же студентов на практику приглашу. Осенью шефы помогут. И с заводом утрясем.

Директором-то земляка нашего назначили, Коморникова. Поди, посодействует,— усмехнулся Иван, разминая меж пальцами неприкуренную папиросу.— Как-нибудь выкрутимся.

— Ладно, скажу Галине, чтоб манатки развязывала.

— Я уж сказал,— снова удивляя его, признался Иван.

— Экий ты прыткий! — добродушно посмеялся Рушкин.

— Ферму-то примешь? — Не дожидаясь согласия, Иван принялся убеждать брата, словно тот ему возражал:— Там, Саша, много работы: селекцией надо заняться, фуражное звено организовать, механизировать кое-что... С душой возьмешься — молочко будет. Тебе бы доярок с пяток, таких, как Любава.

— Любава одна на весь колхоз. А может, и на район одна... Никиту-то куда денешь?

— Переведу скотником.

— То он меня свергает,— усмехнулся Рушкин,— то я его...

— Вот и будете квиты.

— Ну что, на боковую? Второй час уже,— зевнув, сказал Рушкин.

— Иди, я посижу маленько.

Тяжело, валко ступая, Рушкин-старший убрел, и вскоре шаги его заглохли. И голоса людей подле клуба затихли. Молодежь, видно, разделилась на парочки, разошлась. Иван остался наедине с озером, с звездами и с только что народившимся, но отчетливым месяцем. «Что-то должно случиться! — радостно улыбаясь, думал он.— Что-то со мной обязательно случится».

Из лесу выскочив, затрещал мотоцикл. Желтый глаз его оглядел окрестности, поморгал и уставился на озеро, выхватив из темноты одиноко сидящего человека. Подкатив ближе, мотоциклист остановился, выключил зажигание, и девчоночий голос мягко спросил: — Это Хорзова? Я правильно еду?

— Правильно,— оглянувшись, сказал Иван. Перед ним стояла миниатюрная девушка в поблескивающих при свете месяца очках.— А вы к кому?

— Да я агрономом сюда назначена.

— Что ж вы так поздно?

— Я рано выехала, мотоцикл вот забарахлил в дороге. Мне бы председателя найти...

— А я и есть председатель... с этого дня. Давайте знакомиться,— Иван протянул ей руку, без смущения назвался.— А вас как зовут?

— Анна Каверзнева. Анна Сергеевна,— видимо, еще не привыкнув к полному имени, тотчас поправилась агрономша.

— Ну что ж, Анна Сергеевна, идемте подыскивать ночлег, хотя...— вдруг спохватился Иван, вспомнив, что в доме сегодня один,— можно переночевать и у меня. Завтра подыщу вам квартиру.

— Вот и ладно. Я есть хочу и спать. Покормите?

— Разносолов не ждите, но что-нибудь соображу.

— Тогда садитесь сзади и поедем,— она завела мотоцикл, села за руль.

— Нет уж, лучше вы сядьте сзади. Мотоцикл я поведу,— Иван легко вскинул ее на руки, пересадил и дал полный газ. Девушка, охватив его, прижалась к спине маленьким круглым подбородком. Мотоцикл мчался на полной скорости, и через пару минут они подкатили к Иванову двору.

В доме было темно. Мать ушла ночевать к Рушкиным. И — хорошо, что ушла. Начала бы присматриваться к ночной гостье, расспрашивать, смущая ее докучными вопросами, а девчонка устала. Сейчас, наверно, и от еды откажется, рухнет в постель. Он щелкнул выключателем.

— Какой же вы еще молодой! — хлопнув в ладоши, удивленно воскликнула Анна Сергеевна, без стеснения разглядывая при свете Ивана. И он смотрел на нее без робости, хотя обычно перед женщинами робел.

— А вы старая?

— Так я... я всего лишь агроном. А вы уже председатель.

— Давайте-ка мы отметим слегка ваш приезд, Анна Сергеевна. И заодно обмоем нового председателя. Не возражаете? — собрав на стол, Иван достал из серванта запыленную, давнишнюю бутылку.

— Какие могут быть возражения! Только называйте меня Аней. Идет?

— Лучше Аннушкой. Мне так больше подходит.

— Аннушка... Какая прелесть! Меня никто еще так не называл! — забавно сморщив остренький носик, восхитилась агрономша.

Иван пил, не пьянея. И она была трезва, а потом ее

вдруг развезло. Смеясь и заглатывая слова, она лепетала милые пустяки и таращила на Ивана голубые кукольные глаза.

— Никогда бы не подумал, что женщины в очках бывают красивы,— все больше смелея, раскрепощаясь и небывало радуясь своему раскрепощению, говорил Иван.— Я думал, очкарики — все зануды.

— А я — нет. Я хороша-аяя... Я же хорошая, правда? — встряхивая своей крохотной ручкой большую тяжелую руку Ивана, допытывалась она.

— Правда,— соглашался он. Соглашался искренне. Девушка была очень мила и непосредственна. За какой-то час так расположила к себе и, пожалуй, увлекла, разволновала, что ли... А может, просто разбудила долго дремавшего в нем мужчину.

— А если я хорошая, то почему вы меня не поцелуете? — сняв очки и близоруко щурясь, лепетала она.

— А можно?

— Да! Да! Да! — она подставила щеку, в которую Иван неловко ткнулся губами. «Что же я делаю? Что? — Хмелея от ее ответного поцелуя и проваливаясь куда-то, без всякого, впрочем, сожаления, спрашивал себя Иван. И — странное дело! — маленькая, решительная женщина не казалась ему распутной, скорее, наоборот, детски чистой, какой-то доверчиво-наивной.— А, все равно уж... Теперь все равно! Да и что я теряю?» Он привлек ее и поцеловал сильно, властно.

— Хорошо... честное слово! Я ненормальная, да? Да?

— Ты замечательная... честное слово! — передразнивая ее, бормотал Иван.

— Я — ваша... Понимаете, вся ваша...— вдруг отстранившись и взяв ладонями его за щеки, сказала она.— Слышите? Я хочу.

— Не надо, Аннушка. Ты будешь жалеть,— глухо сказал Иван, сдерживая нервную дрожь.

— Нет, не буду. Я хочу. Так надо!

И утром, чуть-чуть подремав, она первой открыла глаза. Разбудив Ивана, шепнула:

— Ты не бойся. Об этом никто не узнает. Честное слово!

— Глупенькая. Ой какая же ты глупенькая! — ему казалось, что Анна даже и не осознает серьезности того, что произошло, ничуть не напугана тем, что стала женщиной. Иван и сам еще не осознал толком случив-

шегося, но это его почему-то не тревожило. Все было дивно и странно, как сон.

— Нет, не то... Понимаешь, я безумно любила одного человека. Он женился. И я твердо решила, что рожу... все равно от кого и никогда не пойду замуж... Вот, теперь это случилось... И пусть, больше мне ничего и не надо... Мне бы только ребенка.

Заметив на лице Ивана тревогу, поднялась на локоть, поцеловала и, улыбаясь, сказала: — Я так тебе благодарна!

11.

Жизнь во сне разделилась на две половины. В одной — прошлое, слившееся с настоящим, подросший и говорливый Володька. Он семенит по избе и, прикасаясь к предметам, все спрашивает: «А это что? А это что?» Из-под лавки на него шипит гусыня, сидящая на яйцах. Вот он указал на нее пальчиком, гусыня расщепила клюв и цапнула его злобно. Володька не заревел, только отпрыгнул и, заикаясь, спросил: «А это что... бывва-ет?» И Любава, и тетка Матрена смеялись над его наивностью, но более всего дивились мужеству, с которым ребенок переносил боль.

А рядом, словно на одном экране показывали два фильма, и Любава, сидя в зале, смотрела их одновременно, узнавала себя, заново, со стороны открывала жизнь, которой жила, так вот рядом, на другой половине экрана, и сон был другой. Будто идет она полем, приминая медвяный клевер; вокруг пчелы снуют, сыто урча, садятся на лиловые шапки, раздумчиво, по-хозяйски обследуют их; пауты зудят, выписывая невероятные виражи, донимают пасущуюся на клеверище белоногую Ясеневку.

— Ах ты, маленькая моя! Глу-упенькая! Зачем же ты убежала сюда?— Любава отмахивает паутов, накрывает телочку большим цветастым платком.— Ну вот, теперь не укусят. Пасись себе. Постой, а почему ты маленькая? У тебя же теленок!

Телочка молча уткнулась влажными темными ноздрями в Любавины руки и, не обнаружив в них ничего, обиженно замычала. Платок на ее шелковистой шерстке весь почернел, распался вдруг на живые, на по-

движные нити. Они опутали Любаву и Ясеневку, и маленькая обида телочки передалась человеку, тысячекратно усилясь. От этого прилила к голове кровь, отяжелели руки и ноги, а только что легкое, певучее горло сдавило удушливым спазмом.

Любава силилась освободиться от нитей, они еще больше опутывали ее, присасываясь к вискам, к груди, набухали кровью. Все вокруг — клеверище, телочка, весенний пал у осиновой чащи — слилось в одно сплошное темное пятно. Открывая сосущие нити, Любава с ужасом заметила, что ее пальцы как-то странно чернеют, и чернота от ногтей стремительно расходится по всему телу. Вот уж и плечи черны, и шея. Наверно, щеки и губы... А нити не отпускают. По ним все перекачивается кровь: еще минута, и ее не станет, и Любава упадет бездыханно. Эта минута прошла, и другая, и третья прошла. А Любава стоит все так же твердо, и силы ее не убывают.

«Я, кажется, в землю врастаю! Страашно!» — Но страх исчез неожиданно, и осталась одна только радость. Радуясь, она не заметила, как опали все эти черные нити, побелели платок, руки, звездочка и чулочки Ясеневки.

Сон оборвался.

— Вставай, соня! Там артисты приехали, а ты спишь,— дергала и трясла ее Лизавета и смеялась неизвестно чему.— День-то какой разгулялся. Может, последний теплый денек! Вставай, а то водой оболью!

— Не балуй! — хмурилась Любава, а губы против воли растягивала улыбка, приоткрывая плотные, без единой ущербинки зубы.— Ну перестань же! Я такой сон видела...

— И я,— померкла вдруг Лизавета. Ее настроение быстро и необъяснимо часто менялось. Весела, бурлит, пенится — водоворот да и только. А немного погодя смолкнет и журчит печальным тихим ручейком.— Я, знаешь, человека во сне убила... женщину. Вся в холодном поту проснулась, реву...

— Да чего реветь-то? Сон ведь. Наяву ты и мухи не убьешь. Чтобы убить, надо сильно ненавидеть. Убьешь — потом будешь до смерти мучиться. Помнишь, Годунова-то учили: «И мальчики кровавые в глазах?» Жуть какая!

— Думаешь, не смогу?

— Не болтай! Я же знаю тебя! Убить... брр! Сказать-то это и то страшно!

— А я убила,— натужно хвалилась Лизавета и деланно хохотала.— И знаешь, кого? Тебя, подружка!

— Должно быть, влюбилась,— усмехнулась Любава. Ей было знакомо это судорожное состояние подруги. Года четыре назад Лизавета уронила глаз на какого-то студента, приехавшего в колхоз на уборку, сочиняла ему умопомрачительные записки, плакала, пыталась вскрыть вены, а когда он уехал, забыла и успокоилась. Когда нет никого рядом, кто бы ей нравился, Лизавета переключается на Ивана, следит за ним, устраивает сцены ревности. Все это не более чем сердечное баловство. Должно же наконец прийти большое серьезное чувство! Может, оно пришло и Лизавета искусно скрывает?

— Влюбилась без памяти... в воздыхателя твоего. Вот женю на себе — узнаешь!

— Жени. Я тебе не помеха.

— Ты как раз и помеха,— прошептала Лизавета и, отбежав в дальний угол, сверкала оттуда зелеными злыми глазами.— Присушила его, держишь при себе, а не любишь.

— И ты не любишь. А раз так — зачем потешаться над человеком? Жестоко это, вот что!

— Собака на сене! Точно! Вытурила парня в три шеи, теперь каешься.

— Ни в чем я не каюсь. Потому и вытурила, что сердце не принимает.

— Врешь ты все! Врешь! Подойдет срок — без оглядки пойдешь на крайности!

Любава вспыхнула, отвернулась, но заговорила ровным, бесцветным голосом:

— Я ведь не лезу к тебе в душу! Ты-то чего без мыла лезешь?

— Я, Люба, я... не могу без него. Поманит пальцем — в пропасть брошусь за ним.

Может, и впрямь до беспамятства любит? Кто разгадает тайные движения женского сердца! Вдруг это сердце только и стучит для одного Ивана.

— Я тебе вот что скажу... Я... да пойдите вы! Надоели! Я сама по себе и — все! И больше не будем!

За дверью кто-то скребся, ища скобу. За разговором они не расслышали стука калитки, скрипа на крыльце.

Теперь вот дверь отворилась, и, стукнувшись о притолоку, вошел Иван. Давно не захаживал!

— Можно? — Любава вздрогнула от его голоса и медленно-медленно повернула голову. Он возмужал за последнее время, раздался в плечах. Лицо стало жестче, отчетливей, краснело пореже.

— Здравствуйте,— сказал, не глядя ни на кого, и прижался к стене.

— Здравствуй,— Любава невольно улыбнулась его запоздалому приветствию, в котором были и робость, и упрек, и надежда.

— Чего ж ты стоишь, миленький?— засуетилась около него Лизавета.— Сядь и скажи, зачем пожаловал.

— Тебя сватать,— усмехнулся Иван, и смущения как не бывало.

— Так сватай, я согласна.

— На ту осень... лет через восемь.

— Я и до осени подожду,— не обижаясь, посмеивалась Лизавета.— Лишь бы мне достался.

— Только и живу в надежде на это,— жестко усмехнулся Иван и отвернулся.— Я ведь к тебе, Любава... за советом к тебе...

— Ясно, что не ко мне,— тихо сказала Лизавета и, точно под грузом согнувшись, сразу вышла.

— Обижаешь ты ее, Ваня. Крепко обижаешь,— упрекнула Любава.

— Будто меня не обижают?

— Ты мужчина. Ты сильный...

— А ты добрая, Любушка. За чей счет добрая? — глухо упрекнул Иван, до боли закусив губы. Та ночь после собрания как бы влила в него новые силы, однако и чувствовать он стал много сильнее. Кажется, никогда так сильно Любаву еще не любил и никогда ранее она не была так далека от него, так недоступна. Теперь помимо всех прочих преград между ними встала Анна, неожиданно и напористо вошедшая в жизнь Ивана. И он в ответе за все случившееся.

— Не надо об этом, Ваня,— попросила Любава, тронув пальцами его закаменевшие виски. Руки невольно опустились на плечи, но не обняли — оттолкнули.— Смотри, день-то какой красивый! А мы настроение себе портим.

— День — да, красивый. А я езжу по дню и красоту его не замечаю.

— Нелегкая у тебя должность, Ваня, —понимающе кивнула Любава.— Но зато какая человеческая! Ты только не ожесточайся. Будь прежним...

— А что, я изменился?

— Вроде бы угрюмей стал... еще больше ушел в себя.

— В кассе-то пусто. Чтобы деньгу накопить, надо много думать. На голом энтузиазме далеко не уедешь. Да и кончился он, голый энтузиазм. Людям результат подай сразу. А сразу и курица не несется.

— Будет результат, Ваня! Вот новоселы к нам приехали,— забывшись, прижалась к нему Любава. В груди сладко заныло, поплыла, закружилась голова.— Новый агроном появился...

— А? — Иван, отупев от ее нечаянного прикосновения, затряс головой, бессмысленно уставился на Любаву и, совершая насилие над собой, отстранился.— Агроном... да... новый.

Словно угадав обстановку, вошла принаряженная тетка Матрена.

— Мы после поговорим, Любава,— едва не сбив по пути старуху, заторопился Иван.— После...

И ушел, ничего не сказав. А приходил, чтоб рассказать ей об Анне.

— Бегают, суетятся...— словно самой себе говорила тетка Матрена.— И ты вроде суетиться начала...— сурово поглядев на Любаву, покачала головой старуха.

— Я не стара ведь, мама...— улавливая невысказанный старухин упрек, ответила Любава.— Мне и по возрасту... суетиться положено.

— Суетись, да гляди, чтоб снова... не промахнуться...

12.

Золотые капельки в небе. Откуда капельки-то? Может, солнышко вчера побрызгало? И плавают они, не остыли еще. Одна, побольше, на каблук похожа. Ходило ясное в гости к кому-то, неосторожно ступило и каблук оставило.

Бежит переулком Любава, улыбается и все вокруг очеловечивает. Мнится ей, что небо утреннее, лиственница и обыкновенная дыдля, на которую ступила в

темноте, понимают ее, слышат и принимают в общем жизненном процессе посильное участие, а над всем этим, над людьми, над многообразной природой,— один творец — бессмертное Солнце. Оно, а не старенький, кем-то придуманный Саваоф, сотворило и людей, и землю.

Заскрипели ворота на ферме. Кто-то выехал на телеге.

— Куда это ты спозаранку, дядя Никита? — скотник шагал рядом с телегой, груженной комбикормом. Встретив Любаву, заметно растерялся.

— Да так... хех-хе-хе. Дела торопят.

— Корм-то кому повез?

— Корм-то? Тебе как раз. Ага, тебе, гадский потрох. За доблестный труд, стало быть. Бери — и никаких отказов.

— Я не просила...

— И не попросишь, не тот характер. Наоборот, последнее свое отдашь. А за геройские дела твои — это награда малая. Так что вези, поросяток корми. Поросятки — они ведь быстро растут... хех-хе-хе. Растут и похрюкивают. Даровое мясо, можно сказать. Продашь после — пальтецо себе купишь, сапожки, часики. И — замуж таким манером. Не за меня, понятно. И не за Иван Семеныча... Иван-то... другую себе приглядел... Но так или иначе замуж надо. Годы-то уходят. Девки старятся. И ты молодой не вечно будешь: наряжайся, форси. Хоть и говорят, по уму провожают, а встречают-то все же по одежке... хе-хе.

— Так-так, сладко поешь! — Любава и раньше слышала шепотки, что Никита не чист на руку, но как-то не придавала им значения. Теперь вот с поличным поймала. А он суетится, сыплет бисером льстивые фразы. Сразу и труд ее нелегкий заметил, а будучи заведующим пальцем не шевельнул, чтоб помочь. Наоборот, с блокнотиком в руках доказывал, что в Любавиной затее выгоды нет: «Прикиньте, сколь стоит она колхозу! Перво-наперво, прифермский участок. На участок людей подай, технику. Теперь дальше... телят, значит, отбирает. За теми телятами особый уход нужен, люди тоже... И все для того, чтобы шешнадцать коров по четыре тыщи надаивали, а четыреста прочих — дай бог, по две. Больно дорогое молочко получается, граждане. Ежели без подсобников обойдется — тут я не возражаю.

Тут я как раз за нее. А чтобы весь колхоз у меня на одну доярку мантулил... это уж извините подвиньтесь... хе-хе...»

А наедине высказался: «Попомнишь меня, Любава!!! Я всю твою группу расформирую, телятишек в общее стадо выгоню...» — «За что ты на меня взъелся?» — «За что? Сама знаешь...» И расформировал бы группу и телят, которых Любава вместе с матерью растила, разогнал бы, да сняли вовремя.

— А что не петь-то? Поется дак,— прихохатывал Никита и переминался с ноги на ногу. Любава знала за ним эту привычку. Шебутится, значит, каверзу какую-нибудь выкинет.

— Пой, да по-хорошему. Песенки-то твои не больно радуют. Думаешь, возьмет она этот корм, и вырастут у ней свиньи не только в пригоне... в душе еще больше. Тех свиней за колхозный счет не прокормишь. Им весь мир в корыте подай. Так ведь?

— Это уж так. Это уж точно,— охотно согласился Никита.— Мир в корыте... Метко сказано! Могут... хе-хе... счавкать весь мир. По частице, помаленьку, ты и не заметишь.

— Не счавкают, дядя Никита. В свою душу свиней не пущу...

— Не зарекайся. Отец твой зарекался... потом за чужие грехи на Колыму меня отправил... мешок с овсом в огороде нашли. Мешок-то Андрон Иноземцев с тока унес. Пришли к нему с обыском, а Серега догадался, мешок ко мне подкинул. И загремел Никита... ни за что ни про что...

Любава замахнулась на него, собралась ударить, но тотчас же отдернула руку. И сгоряча никогда никого не била, а тут человек обиду свою высказал, может, справедливую обиду. Хоть не верится, что отец, всегда казавшийся ей мудрым и рассудительным, не разобравшись, мог обвинить того же Никиту, отдав его органам правосудия. Мелет, наверно, себя обеляя. А если не мелет? Если не мелет?..

Конечно, теперь не докажешь, а все же...

— Не клевещи на отца... мертвый он, возразить не может. А я живая, я вижу... вот он, факт.

— Факт есть, не отрицаю. Ох, ох! В боку закололо! Подержи-ка вожжи-то! — увидев идущих на ферму Ивана и Александра Рушкиных, Дутыш сунул вожжи

Любаве.— Значит так, разлюбезная гражданочка, наладилась? — гаркнул неожиданно.

— Ты в своем уме?

— Я в своем, товарищ Сохина. Я свое с колхозным не путаю... Не то что дочери некоторых правильных...

— Ну-ну,— добродушно пресек его Рушкин-старший.— Хватит, Никита. Не кобенься.

— Не клюнула, что ли? — принимая у Любавы вожжи, усмехнулся Иван.

— Не клюнула, парень,— сознался Никита.— Тут я промахнулся. Попался, одним словом.

— Бывает и на старуху проруха,— кивнул Рушкин-старший.— Много уворовал-то?

— Не так чтобы много, но с этим центнеров пяток будет. Жизнь такая, Лексан Семенович: не украдешь — не проживешь.

— Иди ты! А я, грешным делом, подумывал, что и без воровства прожить можно.

— Кто без воровства, тот в колхозе не задерживается.

— Что ж, по-твоему, тут все жулики остались?

— Не все, куды там! Кабы все, дак от колхоза вывески и той не осталось. А прикасались многие, точно знаю. Сам ты разве не грешил?

— Колхозного не касался, а вот мальчонкой, помню, огурцы у тетки Федосьи воровал. Было такое.

— Видишь, какая ситуация выпекается! А ты, Ваньша! Ты за чужим добром не охотился? — с усмешечкой, точно следствие вел, допрашивал Никита.

— Как будто нет,— Иван вспомнил, что в школе, классе третьем, однако, стащил у Сереги Иноземцева свисток и закопал в завалину. Потом забыл, куда закопал, и свистком не попользовался. Не сознаваться же в этом Дутышу.— Ты что же, судить нас собрался?

— Где уж мне! Я к тому, что каждый из нас на что-то польстился: один на бабу чужую, другой на вещь... Человек он вроде сороки: что не его, на то и зарится.

— Занятный ты тип, Никита! Ну вот скажи мне, раз ты такой умный: почему самого на колхозное потянуло?

— Меня-то? Отличиться хотел... хе-хе-хе. Жизнь у меня, Лексан Семеныч, сам знаешь, ровная. Тоскливая жизнь. Прямо скажу. Вот я и тешился. А воровать — тоже смелость нужна. Ну вот... возьму, людям отдам. Им приятно, и мне выгодно. Не бесплатно ведь отдаю-

то, по бутылке за центнер. Много ли это — по бутылке, которую тут же и разопью с хозяином. Горбатый я, скучный. А когда пью — веселюсь, все забываю... хе-хе-кс.

— Ты прямо философ, Никита Осипович,— едко усмехнулся Иван.— Целую систему придумал. А ведь отвечать-то тебе не по системе придется... по кодексу.

— Эка страсть! Отвечу. Не я первый, не я последний.

— Ну что ж, если не возражаешь, к следователю поедем,— подытожил Иван.

— Дак нет, возражений не имеется.

— Домой забежишь?

— Тараканов считать? Они и без ревизии обойдутся. Ты за избушкой-то пригляди, Лексан Семеныч. Отсижу — снова сюда приеду. Много-то, поди, не дадут.

— И снова воровать станешь?

— Одна песня хоть кому надоест. На отсидке что-нибудь новое выдумаю. Там время будет.

— Да. Ну пошли. Ты наведи тут ревизию, Александр,— вздохнул Иван, сознавая, сколь неприятна сейчас его роль, затем повернулся к Любаве.— А ферму тебе принять придется.

— Вон дядя Шура пускай принимает.

— Удирать собрался. Ныл, ныл, что народ разбегается, а сам удирает.

— Временно задержусь... в свете последних событий. Да ведь это не выход.

— А где выход? Ты подскажи. Ты же старший.

— Вон у Никиты спрашивай. Он этот... философ.

— Нет уж, от этого увольте,— замахал руками Никита.— Мой путь не всем по вкусу. Веди, что ли? А то переживать начну. К чему мне лишние переживания?

— Погоди,— задержал Александр.— Насчет веса-то... точно пять?

— Тут как в аптеке. Можешь не проверять.

— Ладно, тогда и проверять не стану,— сказал Рушкин-старший и, повернувшись, пошел прочь. Утром, поссорившись с женой, он явился к Ивану и сказал, что уезжает в химлесхоз. Но через час уже остыл, одумался и теперь испытывал перед младшим братом неловкость.

— Ты конвоируй меня, Лексан Семенович, а то убегу,— шагая за ним, балагурил Никита.— Я эть прыткой!

— Ваня,— тронув Ивана за рукав, сказала Любава,— отпусти его, а?

— Это как же — отпустить вора? — удивился Иван.

— Ты погляди... его и без этого жизнь наказала. Живет отверженный, никому не нужный... Отпусти. За корма я расплачусь. Все равно же подкармливаю свою группу. Вот и перепиши на меня это...

— Как-то неладно выходит... Ну да пес с ним! — уступил Иван и крикнул Никите: — Эй, Дутыш! Ступай-ка ты домой. Да руки-то не распускай. Льнет к ним всякая всячина, другой раз не обойдется! Иди! А то передумаю,— проворчал Иван и смущенно оглянулся на Любаву, улыбнувшуюся ему благодарно и ласково.

«Ох, Ваня,— сказала она ему глазами,— какой же ты славный!»

— Промежду прочим, напрасно. Благодарности от меня за это не дождетесь. Вы меня с линии сбили. Такая четкая была линия,— зло ухмыльнулся Никита и, плюнув под ноги, поплелся домой.

13.

Самая середина бабьего лета. Ласковое небо, земля ласковая. И воздух обволакивает тихою лаской. Его прикосновения застенчивы, едва ощутимы. Босые ноги Любавины топчут травы, пригибают цветы; руки нежатся, мнут косынку, глаза вбирают в себя окружающее. Младенчески щурится толстощекое солнце, пускает оранжевые вокруг пузыри. Доверчиво тянутся к нему березки и, точно цыплята, взмахивают золотыми пушистыми крылышками. Какая-то птаха звенит, неужто забывший о времени жаворонок? Заливается он, и все полно этим запоздалым переливчатым звоном.

Праздник души и света, торжество простора, который неистово, тонко и самозабвенно славит крылатый крохотный менестрель. Он пьян, он восторжен, влюблен во все, что сотворено природой, солнцем, и в Любаву влюблен, а она — в него. Все течет, все движется, источая добро и радость. Пусть это всего лишь мгновенье — тем нестерпимее жаждет душа окунуться в могучий поток жизни, ошеломляющий обманчиво-неколебимым покоем. Вот и Пустынное замерло... лишь редкая рябь от камышей. Там балуют, играя в пятнашки, утята.

А внутри, в воде, которая сама по себе существо сложное и, порой Любаве кажется, мыслящее, в ней кипит невидимая жизнь подводного царства. Заглянуть бы на миг в глубины, русалкой хоть, что ли, обернуться, узнать, как там и чем там живут...

С горы, слегка взвихрив пыль, спускалась «Победа». «Кто-нибудь из начальства»,— равнодушно оглядывая машину, подумала Любава. Уступая дорогу, узнала сидевшего за рулем мужчину — Сергея. Рядом с ним раздобревшая, дебелая, сияя толстым лицом и заплывшими хитрыми глазками, размахивала руками Верка Чикишева. По-видимому, требовала остановить машину. Сергей затормозил, виноватые пряча глаза, открыл дверцу.

— Люба! Любушка! А это мы! — закричала, высовываясь из-за его спины, Верка.— Не узнала?

— С приездом, Сергей Андронович,— спокойно сказала Любава.

Дверца резко захлопнулась. Машина, словно напуганный зверь, взревела и пустилась наутек под гору.

«Ну и что? И — не кольнуло даже»,— усмехнулась Любава, не радуясь, не огорчаясь, что так просто и так спокойно проехало мимо нее когда-то очень дорогое прошлое. Сергей, видимо, Верку в толщине догоняя, пополнел, отпустил усики. «Господи, и из-за такого кота я изводила себя? Да он и слезинки не стоил... Лгун, хомяк!»

Глухо вокруг стало, исчезли все звуки, звоны, запахи. То есть природа по-прежнему ликовала: звенела, пахла, осыпала желтые листья и созревшие семена, всплескивали рыбы, ныряли игривые утята, у самых ног колыхалось Пустынное. И все же Любава на мгновенье оглохла. Встреча затронула в ней какой-то нерв. Обойдя озеро, она оказалась на том же месте, вспугнула вынырнувшего подле ее ног утенка, улыбнулась. «Что это я? Сто́ит ли? Вот дурища!» — выбранила себя Любава и снова услышала песню маленькой пташки, сломав коричневую толстую, как граната, бальку, распушила ее, втянув в себя сладковатый озерный запах. С пруда, как с деки, натянулось несколько серебряных струнок. Струны звенели, стекая в яр. Текли ручейки, унося в пространство часы, минуты Любавиной жизни, еще недолгой совсем, а вспоминать — есть что вспомнить. Вчера в зеркало посмотрелась — седина... Не поверила — выдернула седой волос и показала матери.

— Рано, девка, шибко рано! Сперва внуков мне нарожай,— покачивая трясущейся головой, вздохнула тетка Матрена. Говорила и верила: нарожает. Иначе для кого эта прочная деревенская стать, эти белопенные для крупного гребня волосы над черными задумчивыми глазами? Всем вышла: и лицом тонким, правда, чуть-чуть резковатым, словно войну на плечах вынесла, и гордым взмахом плеч. Всем, но не судьбой. Хотя и на судьбу грех жаловаться: сама выбирала. Хотела много — получила, сколько отпущено. Жила бы проще, не оглядывалась на прошлое, не обращая внимания на пересуды, на какие-то никем не учтенные нравственные обязательства. И жизнь, вероятно, складывалась бы легче. Вот Лизавета, когда ей горько, умеет находить себе утешения.

«С Ваней-то не можешь? — веря и не веря, время от времени пытает она.— Совестливая! Из-за меня ведь маешься... А я бы не стала, правду тебе говорю. Я бы взяла его... со всеми потрохами. Такое добро пропадает. Бери, Любка, пока эта новая агрономша не опередила»,— в порыве великодушия предлагала она. Великодушие случалось, когда под рукой была очередная утеха. Опять художник наведывался, немолодой уже, лысоватый. Уедет Лизавета с художником в лес — возвращается оттуда веселая, длинный рот в извивах, только что не мурлыкнет, а то бы совсем — кошка, такая же гибкая, лобастая. Вернется Лизавета и на вопрос — где была? — скажет: «Брусничку щипала».

Ну что ж, если щиплется... Любава так не может. А Ваня терпелив, который уж год ждет. «Не ждал бы»,— говорит ему Любава, но, видно, сердцу не прикажешь. Да и сама она не хочет... боится потерять Ивана. И сблизиться с ним боится. Лизавета не задумалась бы... «Что это я все время на Лизавету ссылаюсь?» — спросила себя Любава, хотя и без того было ясно: пытается оправдать то, к чему готовит себя, ищет уловки.

«В конце-то концов... Я не святая! Я тоже счастья хочу!»

Любава сбрасывает с плеча косынку, падает в траву и долго и бездумно глядит в высокое небо. Там все одинаково пусто, сине, бесконечно. А в синеве, границы которой не обозначены, таится невысказанное обещание. Быть может, смутившись малости своей перед этой ве-

личавой синей безмерностью, смолкла веселая звонкая пичуга. Смутилась или песни свои израсходовала?

Шелестит, шепчет невнятно клевер, кивает белыми и лиловыми бубенчиками, томится и таит свой голос земля и вдруг оглушает стозвучием нежнейших подголосков, щекочет тонкие Любавины ноздри тысячью чары́х, будто бы слившихся в один запахов.

«Славно-то как! Ах как славно!» — Но тишину растоптали чьи-то шаги, осторожные, сбивчивые. Любава узнала их. Так неровно мог шагать только один человек — Иван, припадавший на левую ногу.

— От людей спряталась? — улыбнулся Иван. Так только он умел улыбаться, неназойливо, мягко.— А я и здесь тебя отыскал...

Внизу, за речкой Огневкой, с которой Пустынное соединялось яром, вся в тополях и черемухах утопала деревня. За нею, на бугорке, виднелись фермы и еще одно озерко Степное. Дальше — мельница ветряная, которую лет пять как не запускали, хотя помолы хорзовцев славились на всю округу, но мельника не было, сушилка, а за Степным — ток. На току сейчас хлопотно. Уборочную Иван всех раньше в районе закончил, а надо еще хлеб просушить, провеять, сдать государству, колхозникам дать за труды и засыпать в глубинку. Тепло еще, и зимушка о себе не напоминала, а вон казарки последний облет совершают. Скоро, наверно, в дальний путь, за море полетят. На овсище — табунок косачей. Смело кормятся, почти рядом с током. Охотников-то, кроме Никиты, в деревне нет. А у него что-то ружьишко забарахлило. Просил у Ивана — не дал Иван. Не любит он, когда убивают птиц. Сам никогда не стрелял в них, а ружье все-таки имел — Александр ко дню рождения купил. Раз пробовал кучность боя, дробины аккуратно ложатся. А после того, смазав, к ружью не прикасался. На Степном тоже утки. Никита ходит только облизывается. Пусть поживут спокойно, покормятся. Пусть в дальних краях побывают. Ага, вон вспугнул их кто-то... Два табунка, перелетев Огневку, плюхнулись на Пустынном.

— Красиво! — сев рядом с Любавой, сказал Иван и положил на колени тяжелые руки.— С этой работой не только о красоте... о людях забываешь.

— Не обо всех,— намекнула Любава, имея в виду агрономшу. Он не отозвался, задумавшись, опустил го-

лову, молчал. Нелегко ему приходится: с трех часов до полуночи носится по полям, по токам, заседает в районе, распределяет, устраивает новоселов, что-то выбивает, прикидывает. Однако никто не слыхивал, чтоб Иван хоть раз сорвался «на голос». Молод, а с ним считаются и в районе, и свои деревенские. И Александру, старшему брату, помог определиться, часто бывал на ферме, интересовался селекционной работой. Он знал по опыту Любавы, если года через два удастся скомплектовать четыре-пять высокоудойных групп, то это даст немалые выгоды. По крайней мере коровы, выращенные Любавой, надаивают по четыре — четыре с половиной тонны.

В Любавину жизнь эти перемены не внесли ничего нового. Разве только то, что с приходом Рушкина-старшего стало легче работать. Смонтировали молокопровод, больше не приходилось гнуться на прифермском участке, выколачивать всеми правдами и неправдами корм, хлопотать о семенах, о хранилище, выпрашивать транспорт. Все главные хозяйственные заботы взял на себя новый заведующий фермой. Он в отличие от младшего брата был шумлив, но так же беззлобен, а в деле — рассудителен и трезв. Если кто-то опаздывал на дойку, Александр Семенович сам заменял доярку, словно это так и должно быть. Увидев однажды жену в нестираном грязном халате, велел снять его и на глазах у всех выстирал, повесил над печкой. Теперь о его чудачествах говорили по всей деревне, но в ответ на насмешки Рушкин только пожимал плечами и отшучивался. Если кто-то грубил, он поворачивался и, не сказав ни слова, уходил.

— У-у, злодей! — снимая с веревки постирушку, бранилась на мужа Галина, но больше ее ни разу не видели в грязном халате. Облачаясь, хитро посмеивалась, поскольку сцена эта была заранее разыграна супругами дома.

Иван доверился брату совершенно и за ферму был спокоен. Он нисколько не сомневался, что положение в колхозе в конце концов выправится. Сложность была только в личной жизни председателя. Но здесь, полагал Иван, ему поможет лишь время. А годы шли, шли... и ничего не менялось.

— Устал, Ваня? — Любава мяла меж пальцев сухую былинку, поддразнивая ею усердного муравья, хватавшегося за кончик. Неподалеку был муравейник, и мура-

вей изо всех сил тянул былинку к себе в гнездо. Кинув ее в муравьиную кучу, Любава придвинулась к Ивану, взяла его за щеки и, точно ребенка, поцеловала.

— Люба, Любушка!.. Зорька моя!

— Хоть бы поцеловал меня, что ли,— улыбнулась Любава и снова коснулась губами его обветренных губ.

— Не умею... не мастер я целоваться-то...

— Бедненький!

— Нет, Любушка, нет! Теперь я самый богатый! Я...— не договорив, он крепко стиснул ее. Любава счастливо вскрикнула и упала в траву.

— Ничего не хочу знать... мой, мой!

— Твой до смерти, Люба. Всегда был твой...

— Мой...— шепчут истосковавшиеся губы. Чудо, чудо свершилось! Любава не думала, что это еще раз повторится! Повторилось. И вот она прижимает к груди лохматую теплую голову. От волос полем пахнет, травами полевыми... Вот соленая капелька сползла со лба, точно угадав в родинку. Любава взяла эту каплю губами.— Мой...

14.

В день покрова снег пал. Да не какой-нибудь скороспелый, на одну ночку снежок, а по колено снежище. По деревне с утра елозит бульдозер. Без него не пройти, не проехать. В бору все замерло, все заснуло. Один зайчишка, еще не успевший сменить летний макинтош на белую шубку, зябко поджимая лапки, скакал под елкой, оставляя орешки. Первая зима в его жизни, и как вести себя и кого бояться посреди белого леса, он еще не знал. С мохнатой ветки, придавленной книзу, прямо на зайца рухнула снежная туча, запорошила его, спрятала под собой, одни уши торчали. Уши шевелились, а сам косой от испуга потерял всякое соображение, трясся в снегу и неминуемо ждал гибели. А смерть медлила, и в конце концов, переборов страх, заяц выбрался из-под снега, разъезжаясь глазами, осмотрелся и стриганул из лесу прочь. Выскочив на релку, перепугался еще сильнее: меж двух березок стояла женщина. Любава вскрикнула и рассмеялась, когда косой, проскочив между ног, умелся, перепрыгнув через куст шиповника, обратно в лес.

Ну вот и зимушка пожаловала. На сухую землю снег

лег. Светло, радостно вокруг, а в душе темно, как в погребе. Да еще мать молча, все понимая, вздыхает: «Все с Лизкой ссоритесь? Парня поделить не можете?» — «Ах, мама! Кабы он на две половинки делился! Чтоб Лизке и мне поровну! Не делится ведь... и, кажется, весь агрономше достанется».

Кануло лето, и что-то еще кануло безвозвратно. И это «что-то» — год прожитый — уж не вернуть. Летят годы, как журавли. Но журавли возвращаются в свои гнезда. А прошлое вьет гнезда только в памяти нашей. Лучше не терзать ее, память.

«Не вздыхай, мама! Моя ли вина, что так сложилось?..»

А с Лизаветы все, как с гуся вода.

Опять впустила к себе электрика, только что приехавшего в колхоз из Чувашии. В ответ на сплетни непроницаемо и торжествующе улыбалась победной своей улыбкой. Большие зеленые глаза смотрели на людей без смущенья, словно говорили: «Вам-то что до меня? Я права, потому что свое беру». Только перед Любавой Лизавета опускала глаза и торопливо проскакивала мимо. Зато с другими вела себя все так же дерзко и вызывающе.

— Ты все хромаешь, Иван Семенович? — встретив на улице Рушкина-младшего, насмешливо мурлыкала она.

— Теперь уж, видно, до гроба хромать буду.

— А ты как-нибудь зайди ко мне, Ваня,— наутро выправишься.

— Скорей на обе ноги захромаю.

— И такое возможно. Боишься меня?

— Ты хоть и трещотка, да я не воробей.

— Боишься... Вишь, я какая? Гляди, гляди, чего глаза опустил? — она вертелась перед ним, играла бровями, голосом, телом и хохотала: время и житейские неурядицы были бессильны перед ней.— Эх ты! А еще мужик!

— Сквозь слезы веселишься,— хмуро бросил Иван и отвернулся.— Мельчишь себя, Лизавета! К добру это не приведет.

— Ну да, мельчу! А кто виноват? Разве не ты меня ломаешь?

— Оставь, надоело! Оставь, а то доведешь!

— Да ведь ты, милок, успокоился! Говорят, на агрономшу облизываешься. Верно говорят?

— Чего пристала? Дай пройти.

— А вот не дам! Вот навешусь тебе на шею и, пока жива, не отцеплюсь.

— Дура ты! Дура! И гордости никакой...— хмуро и без всякого смущенья сказал Иван.

— А-ах, миленький мой! — застонала вдруг Лизавета и поникла, спала с лица.— Да ведь гордость-то ты растоптал... Так и живу, надеюсь... А на что мне надеяться?

Она, как ребенок, уткнулась в ладошки, сквозь пальцы просочилась соленая влага. Слезно плакала, но беззвучно.

— Ну вот разревелась,— разняв ладони и улыбаясь, говорила она минутой позже. Улыбалась ясно и беззвучно.— Реву, потому что одна...

— Выходи замуж... Сколько в девках-то бегать? — взволнованно заговорил Иван.

Из переулка, весь в грязи, вынырнул «Москвич» Рушкина-старшего и притормозил подле них.

— Указ-то слыхали? — не здороваясь, прокричал он.— Любаве орден Ленина дали! Поехали, поздравим!

Иван поспешно сел в «москвичок». Через заднее стекло оглянулся: длинные губы Лизаветы расстригла горькая улыбка, и столько в ней было безысходного отчаяния, что он содрогнулся от жалости.

Любаву они не нашли, будто сквозь землю провалилась. Зато встретили около нового дома длинного сутулого мужика.

— Снегу-то, снегу-то сколь наворочало! — поздоровавшись, забасил он густо. Указав на ряд домиков, построенных летом шабашниками, спросил: — Строитесь помаленьку?

— Дак ведь не все бегут, как ты, Андрон Николаич,— подколол Александр.— Некоторые, наоборот, к нам едут.

Иван улыбнулся, но ничего не сказал. Он тоже радовался наплыву людей. Из Чувашии только что прибыла вторая партия новоселов. И урожай нынче неплохой сняли. По кругу двадцать центнеров вышло. В поле ни соточки не осталось, хлеб кондиционный, и весь прибран. А две недели назад Иван закупил в опытно-показательном хозяйстве семена льна, которым решил занять пятую часть посевной площади.

— Через год-два и мы заживем,— широко, прочно ставя ногу, вышагивал вдоль новостройки Иван. От

склада подъехала в кошевке молоденькая женщина в очках, в чуточку великоватом ей полушубке.— Так, Аннушка?

Агрономша зарделась, опустила глаза и принялась стряхивать снег с валенок, которые тоже впервые в жизни надела.

— Ну, чего застеснялась? Не веришь, что ли? — слегка подталкивая вперед агрономшу, словно приглашая окружающих полюбоваться ею, говорил Иван. Она и впрямь была славненькая: свежее кукольное личико и огромные, растерянные глаза за позолоченными очками. Только вот руки чуть-чуть великоваты, с обломанными ногтями, с порезанным большим пальцем (сама лук шинковала, приучаясь кухарить) да масляное пятно на рукаве белой дубленки.

— Не верила бы, так не приехала сюда,— улыбнувшись ему, низким грудным голосом сказала Анна Сергеевна.— Мы еще заживем! Мы так заживем, соседи будут завидовать!

— Умница! Прелесть! Берись за ленок, Аннушка, ленок нас выручит.

— Да мы и зерна немало взяли,— вмешался Рушкин.— Не помню, чтоб на круг сам-двадцать выпадало.

— Пошто? — дернув себя за длинный чуткий нос, возразил Андрон Николаевич.— В тридцать девятом, однако... ну да, в тридцать девятом тоже по двадцати выходило.

— Тогда поля-то, как простынки, были,— отозвалась Анна Сергеевна. Голос при малом росте ее был звучный, низкий.— А теперь вон какие массивы. Шесть тысяч пашни — не кот наплакал. И каждая тысяча гектар при хозяйском отношении может принести не одну сотню тысяч дохода.

— Ого! — то ли подсчетам ее, то ли голосу густому дивясь, задумчиво потянул себя за нос Иноземцев.— Так и миллионщиками стать недолго.

— И — станем. Вот увидите — станем! — убежденно сказала агрономша; Иноземцев, человек от природы недоверчивый, с сомнением покачал головой.

— Оно, конечно, ежели хозяйствовать с умом. Народ поверит — дело пойдет. Главное, чтоб поверил.

— Поверит,— осторожно кивнул Рушкин, вслушиваясь, не слишком ли нажал на словечко. Может, подпу-

стил излишней патетики. Тут фальшивить нельзя.— Ты-то чего сюда, в отпуск?

— Дак совсем думаю. Надо ко гнезду своему прибиваться. Годы-то немолодые.

— Где побывал за это время?

— На мебельной фабрике, столярничал. А вам плотники, вижу, нужны.

— Нужны, строимся помаленьку. И как там, на фабрике-то?

— Жить можно. Деньги большие платят, тем, кто робит, понятно.

— Что ж не остался?

— Домой потянуло. Дома-то все одно лучше: родная земля... Примете?

— Чего ж не принять? Люди нужны.

— Стало быть, сторговались.

— Помню, тетка Матрена отчитывала меня,— посмеялся Рушкин-старший,— мужик, дескать, у земли быть должен. Без земли мужик и не мужик вовсе.

— Точно это, очень точно! — с тихим восторгом, как бы пропуская через себя эти слова и выверяя их на людях, проговорила агрономша.— Земле нельзя изменять.

— Хорошо, метко сказано, Аннушка! Но ты пообедай, с утра носишься как метеор,— заботливо сказал Иван и, отослав ее, повторил: — Умница! Без нее мы бы заплюхались.

— Ты, Иван Семенович, все еще холостой? — деликатно осведомился Иноземцев.— Возраст давно жениховский...

— Никто не сватает,— Иван негромко, осторожно посмеялся и посоветовал: — Иди, дядя Андрон, объект приглядывай. Во-он второй дом с краю... Там будет для тебя работенка.

— А я уж это... прикидывал. Как раз в тот дом заходил. В нем окна вставить осталось.

— Да... вот так, в свете последних событий,— задумчиво проговорил Рушкин, провожая Иноземцева взглядом.— А ведь ты, братан, похоже, время свое угадал...

— Это оно меня угадало,— добродушно толкнул его Иван.— Завидуешь?

— Больше радуюсь. Я ведь что, я дело десятое. Первое дело — люди. А они к тебе с душой.

— Ну что ж, иди принимай новоселов. Как думаешь, привьются они здесь?

— Самый климат.

— Повезло нам с агрономом-то. А, братан? — глядя, как подъезжает к бобылке Федосье Аннушкина кошевка, сказал Иван, забыв, что не раз на дню говорил это.

— Жениться тебе пора, Ваня,— строго поглядев на него, вздохнул Александр.— Хватит в одиночку-то прыгать.

— Ты так считаешь? — спросил Иван, зная заранее, что ответит брат старший, и все-таки желая услышать его совет.

— Только так. Каждый должен исполнить свое назначение.

— Любаву-то не поздравили,— нахмурился Иван и сел в «газик».— Поедем поздравим.

— Не шибко ждет она нашего поздравления... Нарочно спряталась... И ты не ищи... поняла ведь, что с Анной Сергеевной-то... Все поняла. Любава, она умная, в мать. Так что не езди, Ваня, не трави девку.

— Может, ты и прав,— сразу завянув, тускло отозвался Иван и, с грохотом захлопнув дверцу машины, прошел в контору.

15.

Иван женился. К этому были готовы все, кроме Лизаветы. Она знала, что так может быть, но не хотела верить, даже когда услышала, и тешила себя несбыточными надеждами. Узнав о регистрации молодой четы, прибежала в слезах к Любаве.

— Любушкааа! Ваню-то мы проворонили! Женился Ва-аняя! — едва переступив порог, зарыдала она и рванула ворот платья.

— Пускай женится,— сдержанно отозвалась Любава и стукнула больно кулаком о кулак.— Поздравить не опоздай.

— Не на тебе, не на мне, Любушка... на агрономшеее!

— Что ж, выбор удачный. Анна Сергеевна — красивая женщина.

— Удачный?! А я люблю его до беспамятства! Так вот и закричала бы на весь белый свет: «Люблю!»

— Любишь, так брусничку-то с другими не щипала бы...— холодно усмехнулась Любава, а у самой в душе

все кипело, и это спокойствие ей давалось дорогою ценой.

— Потому и щипала, что хотела забыть... не могу, не могу забыть, Люба! — лила слезы Лизавета. А у Любавы в душе кровь сочилась.

— Можешь не можешь — придется. Так что мирись.

— Любушка, ну хоть ты его перехвати! За тобой он от кого хочешь убежит. Смани его, Люба! Тебе не понадобится — я возьму...

— Ух, змея же ты! Ух, змея! — яростно отпихнув ее от себя, выкрикнула Любава и, зачерпнув ковш ледяной воды из кадочки, жадно припала к нему, а зубы выбивали по краю ковшика мелкую дробь.

— Агрономшу щадишь? — упивалась своими страданиями Лизавета, потрясенная, как ей думалось, неожиданным решением Ивана. Говорила словно в бреду, то пьяно скрежеща зубами от ненависти к сопернице, то плача.— А кто она тебе, агрономша? Не щади, Любушка! Бери его, пока я в растерянности. Бери-ии...

От Рушкиных пришла мать, помогавшая им стряпать на свадьбу. Выставив посередке избы табурет и словно разделив им Любаву и Лизавету, устало спросила:

— Опять ты здесь? Ходишь, травишь людей... Не живется спокойно.

— А ты ударь меня, тетонька! Чем-нибудь тяжелым ударь, чтобы насмерть, а? Тошно мне, уж так тош-нооо!

— Тошно, дак на людей-то не блюй. Они не причинные. Жалеть их надо, людей-то.

— Жале-еть? — стеклянно рассыпала смех Лизавета.— За что их жалеть? Не за что, тетушка. Потому что и они никого не жалеют.

— Ладно, ты иди отоспись... одумайся. Не от ума буровишь,— чуть ли не силком вытолкав Лизавету, ворчала тетка Матрена. Гнала оттого, что видела, как невыносимо мучителен этот разговор Любаве. А Лизка пришла да и еще соли подсыпает на раны.

Накануне Иван приходил не то советоваться, не то просто сообщить о своем решении.

— Люба,— сказал он растерянно,— ну что мне делать?

— Ты уже сделал, Ваня... Анна Сергеевна, если не ошибаюсь, полнеет в талии-то...

— Эх, Любушка, Любушка! Как все нескладно-то! И повернуть уж нельзя...

— Некуда поворачивать, Ваня! Поздно... сама была в таком положении — знаю...

— Ну что ж... что ж... все правильно. Будем жить, как выпало.

— Совет вам да любовь,— улыбнулась Любава.— Дай я тебя поцелую, Ваня,— а когда он потянулся к ней, обнял, отстранила.— Нет-нет, я сама.

И поцеловала в лоб, как покойника. Вот он жив, он по-прежнему дорог, а для Любавы умер. И она для него умерла, не воскреснет. Надо бы попрощаться-то не так, да к чему чужую любовь обкрадывать. «Прощай, Ваня! Не сложилось у нас»,— попрощалась глазами и, проводив его, пошла покупать свадебный подарок. А вечером за ними пришла Галина.

— На свадьбу пожалуйте. Придешь?

— Приглашают — как не пойти? — усмехнулась Любава и, приготовив подарок, пошла. Сидела на свадьбе в самом дальнем углу, рассеянно слушая пьяный гвалт, перезвон посуды, выкрики.

— Горько! — по заведенной традиции рявкнул Иноземцев.

Любава, подняв стакан, покосилась на Лизавету. Та сидела без кровинки в лице, скривив длинные чувственные губы. От обоих углов к середине игрушечными корабликами плыла горечь. Вот эти суденышки столкнулись, разбились, и из прикуса на верхней губе выступила капелька крови.

— Ух, горько! — замотала головой Лизавета и рассмеялась.

— Сдрейфил, что ли, жених? Целуй! — в несколько глоток рванули захмелевшие гости.

Иван поднялся, но, посмотрев на Любаву, шершавой, как рашпиль, ладонью осадил податливое плечо невесты.

— Ну их! Пускай бесятся. За тебя, Аннушка! — а голос рвался. Схватив ближний граненый стакан, вылил его в себя и долго-долго ловил дрожащими пальцами Любавой подаренную вилку.

— Ты что же, Иван, супротив обычая? Горько! Целуй невесту! А то оконфузим. Горько!

— Кому — горько, кому — сладко! Ох жизнь наша крученая! — вздохнула сидящая рядом с Любавой Дарья. Эта всегда что-то предчувствует, предсказывает.

Лизавета улыбалась и много пила. Она смутно раз-

личала лица и с ужасом думала, зачем явилась на эту свадьбу. Все было нелепо и дурно выдумано кем-то, дурно и зло. Рядом с Иваном должна была сидеть она... или Любава. Сидели обе в конце стола, и обе желали скорее пройти ту черту, которая служила для них пределом испытаний.

— Горько!

— Хороша пара: гусь да гагара!

— А что, агрономша нехудо выбрала...

— Аннушка! Анна Сергеевна! — распинался Никита Дутыш.— Я те перину из лебяжьего пуха, чтоб кровати не чуяла под собой... хе-хе-кс. Ей-богу, перину... сам настреляю... Вот погоди!

— Ну что, братан, рад? Сбылось? — в самое ухо Ивана гудел Рушкин-старший. Он был трезв и хмур.

— Что ж ты не выпил за меня?

— Не пьется. Ты уж прости, не пьется.

— Выпей, не порть праздника, Александр,— сказала Галина.

— Не надо... не надо, если не от души,— остановил Иван.

Лизавета отыскала взглядом Любаву, вылезла из-за стола и, уткнувшись в ее плечо, заплакала.

— Уведи ты меня отсюда!

— Перестань! Ну, перестань! Стыдно, люди смотрят.

— Не люди это... морды пьяные! — всхлипывая, бормотала Лизавета. Подбежав к Ивану, упала перед ним на колени и в наступившей тишине отчетливо сказала, глядя на него снизу:

— Прости, Ванюшка! За все, что было... И за то, что будет, прости.

Иван, стряхнув ее руки, вышел из-за стола, прикрыл невесту спиной.

— Иди... уходи! Чего тебе? — отталкивая Лизавету, говорил он.

— Вот свадьба дак свадьба! — косноязычно кричал Никита.— Ух, ух, лежу меж двух... погляжу — один лежу...

— Пойдем, Лиза! — шептала Любава, поднимая подругу.— Ну, идем же!

— Нет, я спляшу сперва! Играй, дядя Михаил! За столом-то не зря сидел...— и закружилась, и понеслась, словно листок, сорванный с ветки. Упал листок, упал! Не горюй по листку, береза!

— Довольно, Лиза! Довольно! — урезонивала ее Любава.

На улице она терла подруге виски, ласково утешала, явственно ощущая, как перекачивается в нее текучая Лизаветина боль. Было грустно ей и одиноко, хоть рядом, качаясь из стороны в сторону, вся уревленная, пьяная, шагала Лизавета.

Мать была дома, топила в горнице печь.

— Спи давай,— умыв, уложив в постель Лизавету, успокаивала Любава, слушая краем уха цыганистый липкий голос из репродуктора:

Атвари патихоньку калитку
И ва-айди в темный сад ты, как тень.
Не за-абудь па-атемнее накидку,
Кру-ужеваа на голофыку надень...

Под матицей совсем пожелтевшие томились письма. Любава глядела на них, мысленно угадывая, что и в каком написано. Многие строчки невозвратно забылись. Отчетливо помнилось лишь первое письмо и говорило с ней Серегиным голосом.

«Любушка, зорька моя золотая!

Давно ли расстались с тобой, а мне кажется, уж сто лет минуло. И боль от разлуки во сто раз сильнее. Я не думал, что так трудно переносить все это. Я думал, любовь — одна только радость...»

«И я так думала... Да вот — усохла радость моя! Верно, что все мы — ниточки в клубке мира...» — стараясь не скрипеть пружинами, поднялась, достала письма и швырнула их в печку. Письма долго не давались огню, корчились, силясь вырваться из-под резинки, охватившей их поперек. Вот резинка распалась, и к конвертам, чувственно затрепетав, припал огонек. Быстро и дочерна вылюбив, пышкнул лениво и перебежал дальше.

«Пепел один остался... Скоро и пепла не станет...— желчно усмехнулась Любава.— Так лучше. Довольно жить прошлым!»

— Че она убивается? — мать кивнула на застонавшую в беспокойном сне Лизавету.

— Жизнь не по чертежам вышла.

— Стало быть, чертила неверно. Ты вот тоже ошиблась в своих чертежах, дак что теперь?

— Не обо мне речь, мама,— резко оборвала Любава и заспешила.— На ферму пойду.

— Седня — на ферму, завтре — на ферму... А жить когда? — поникла и загрустила тетка Матрена.— Чем лучше меня живешь? Ровно старуха... Эх, Любка, Любка! Не такую долю загадывала я для тебя!

— Будет, мама! — сварливым, резким голосом выкрикнула Любава, некрасиво скривив пухлые губы и все лицо.

Она привычно хлопотала подле коров, носила корм, рассеивала подстилку, совершала сотни заученных, выверенных до самой ничтожной мелочи движений, но чувствовала, что сегодня ей чего-то недостает. Это «что-то» исчезло не сию минуту — давно. Но потерю Любава обнаружила только теперь.

Все, что она делала, что видела вокруг, казалось ей выдуманным в насмешку, чтобы подчеркнуть значимость той потери.

«Что же главное в жизни! Чего ради землю топчу?» — еще недавно на этот вопрос она отвечала однозначно, не слишком задумываясь: работа. Сейчас работа предстала перед ней унылой и неинтересной, как вчера, как позавчера. Все те же несколько десятков простейших движений, которые и обдумывать-то не нужно. Вертишься веретеном — тянется нить в руках невидимой пряхи. Тянется нить — кудели на прялке все меньше, и в этом есть какой-то тайный и определенный смысл.

«Главное — быть счастливой,— ответила себе Любава на свой же вопрос.— А я счастлива?»

Пожалуй, никто бы не сказал ей: нет. Но кто отважился бы повторить ее жизнь?

16.

Опять весна. Которая по счету с тех пор, как существует земля? И какое по счету поколение скворцов принесло ее на своих крыльях? Задержались они нынче. Вот уж и май, а снег все еще держится. Морозы вчера еще продирали насквозь. А сегодня, точно отмечая День Победы, золотым ливнем солнце хлынуло и полощет, и полощет с утра!

Не одно солнышко отмечает великий праздник. Тет-

ка Матрена, налив пива домашнего, поставила по стакану перед каждым портретом, а по стакану — себе и Любаве.

— Давай, Любша, чокнемся с защитничками-то. Давно за одним столом не сиживала с ними,— чокнувшись с каждым, поздравила с праздником и доли отсутствующих вылила на тополя в палисаднике, посаженные в честь каждого погибшего. Земля вокруг тополей оттаяла, была суха, и пиво оставило у корней четыре темных отметины. На ветках скворцы скрежетали, насвистывали, бранились между собой, обживая скворечники. По улице клокотали ручьи. На угоре бушевало Пустынное; волны, перехлестывая через плотину, стекали в овраг, пробивая в черном снегу черные дыры. Плотинка вздрагивала, но сопротивлялась.

— Бешеная ноне весна... в день свершилась,— сказала Матрена.

— Весны всегда бешеные,— вслушиваясь в крик журавлиный, дальний, рассеянно отозвалась Любава и вышла за ограду. Из двора напротив выкатился с ружьишком Никита, забыв или не успев второпях снять зимнюю справу.

— Птиц-то как мух! Черно! — задрав на затылок шапчонку, восторженно закричал он.— Не я буду, ежели председательше на перину не настреляю. Она добрая со мной, председательша-то, не то что некоторые по соседству, гадский потрох.

И уплюхал.

А вскоре донесся его выстрел, и Любава увидела рухнувшую камнем птицу. Охотник, струсив, удрал, а журавль остался. Беспомощно, словно цветок на сломанном стебле, завернута голова, неестественно выгнуты крылья. Сердце еще колеблется, но глохнет, глохнет журкино сердце! И не заведешь его, не раскачаешь — не маятник. Толкнулось в последний раз, замерло, и птицу объяло небытие. Вот она, укрощенная боль. А что живым от только что жившего? След, растаявший в небе? Расстрелянную песню?

«За песню его... за верность — такая награда?» — Любава склоняется над птицей, оправляет смятые, никем еще не обласканные перышки.

Над головою бессмертное шествует солнце. Покалывает золотою щетинкой, взбираясь в недостижимую высь. Жизнь солнца длинна, бесконечна. Жизнь челове-

ка — миг, вспышка. Но солнце знает каждый свой шаг в необъятном пространстве. А человек? А человек...

— Добрая птаха — журавль,— раздался сзади Любавы знакомый голос. Она не отозвалась, даже головы не повернула. Сидела над птицей, сама похожая на подбитого журавля.— И как у людей только рука поднимается! Я вот ни разу в птиц не стрелял...

— Не стрелял, говоришь? — отчужденно, сухо усмехнулась Любава. Лицо перекосилось, точно в судороге.— А в меня кто выстрелил, а? Не ты ли, Ванюша? Не ты ли?..

— Я ведь и в себя рикошетом,— глухо отозвался Иван, упав с ней рядом.— И в себя... Ты погляди, Любушка... Погляди на меня! Год за десять лет прожит.

Верно это, не по возрасту рано состарился Иван: глаза освинцовели, лоб морщью затянут и потускнел пшеничный волос. И голос стал глуше (песен Ивановых со дня его женитьбы не слыхивали!), и плечи опали. С чего бы грустить человеку: хоть и трудна его должность, а дело спорится. И семья у него, и от людей почет и уважение. В общем, все есть, чтоб считать себя счастливым.

Но считать — не быть.

То же и Любава про себя от матери слышала. «Уезжай давай, Любша! Нечего себя изводить, на чужое счастье глядя».— «А я никому не завидую, мама. Сама выше головы счастлива. Молода, здорова. Орденом наградили, и вообще... вообще...» — «То-то, что вообще. Смотреть на тебя не под силу. Человеку свет нужен... Свет и все человеческие радости. А что у тебя? С закрытыми глазами живешь».— «Уеду, мама,— ты с кем останешься?» — «Мир не без добрых людей — помогут. А выйдешь замуж — к тебе переберусь. Не выйдешь — не жди, с места не стронусь».

Да, видно, считать — не быть...

— Обманывал я себя,— говорил между тем Иван,— старался видеть в тебе постороннего человека... Какая же ты для меня посторонняя, Любушка? Родная ты мне! Роднее не было.

— Что же ты говоришь, Ваня! — закрыв ладонями его лицо, светло и горько плакала Любава.— Зачем ты говоришь это после времени-то?

И снова потянуло их друг к другу каким-то чертовым магнитом. Совсем рядом сердилось Пустынное. Напи-

тавшись тающими снегами, ручьями и речками, бегущими с гор, оно выплескивало отколовшиеся льдинки, с непостижимой холодной злостью било волной в запруду. Вода, перекатываясь через плотину, беспорядочно клокоча, стекала в яр и летела, безумно бормоча, пенясь, вперед без цели, спешила и не успевала. Одна волна настигала другую. Волны сшибались у пруда, боролись, стучась и шоркаясь льдинами, не размыкая недружелюбных объятий, падали вниз. А сверху, с бугра, с ревом неслись мутные стремительные потоки, переполняя чашу озера. Оно колыхалось, гневно урчало, то приливая, то откатываясь, напоминая драчуна перед потасовкой.

— Нарушила я свой запрет... Ох, Ваня, что же ты делаешь со мной? — обнимая Ивана, говорила Любава.

— Люблю тебя, Любушка. Дышу тобой и не могу надышаться.

— Жену твою обворовываем, себя обворовываем. Нечестная наша любовь, Ваня.

— Разве я виноват в этом?

— Я не виню тебя... Но люди расплачиваются за все, за все, что делают, Ваня.

— Давай помолчим, а? Такая минута... первая минута в моей жизни, Любушка! Не думал я, что так завяжется...— бормотал Иван, отгоняя от себя мысли о том, что будет через час, через день. А она долбилась в виски, и виски болели, пухли, и будущее само напоминало о себе.— Как же нам быть-то теперь, а?

— А никак, Ваня. В последний раз видимся.

— Ты что! Ты чтооо! — испугался Иван и крепко обнял ее, словно так вот, в объятиях, хотел удержать подле себя Любаву.— Нет, не в последний!

— Уезжать я надумала.

— Только попробуй. Под землей разыщу!

— Что не мое, то не мое,— покачав головою, улыбнулась Любава. И он и она — оба знали,— что слова, как бы они ни были прекрасны, всего только слова.

— А как же я, Люба? Как тетка Матрена? Ее тоже с собой берешь? — лихорадочно отыскивая предлоги, которые могли бы удержать Любаву в деревне, говорил Иван, отчетливо, впрочем, сознавая, что удержать ее никакими силами не сможет. И уехать с ней не сможет.

— Маму не сдвинешь — корнями вросла. Это у меня

корни подрублены. Чем жить тут, Ваня, уж лучше в Пустынное с берега...

Поднявшись и оправив на себе платье, Любава подобрала убитого журавля и, поцеловав на прощанье Ивана, медленно пошла прочь. Навсегда уходила она сейчас из его жизни.

— Люба... Любушка! — шептал он ей вслед.— Зорька моя вчерашняя.

17.

Плотинка выгнулась дугой, уступила напору воды. С глухим урчаньем Пустынное раздвинуло пруд, торжествующе взревело, радуясь своему освобождению, и мощным потоком устремилось к яру через ложок, который сейчас упрямо и неторопно переходила Лизавета.

— Беги, что же ты! Убегай! — закричал ей Иван. Лизавета, оглянувшись, махнула рукой и пошла не поперек, а повдоль ложбинки.

Поток догнал ее, сбил, поволок вниз. А сзади, еще шире раздвигая пруд, унося огромные комья земли, сор, пену и грязновато-серый лед, рвалась большая вода.

— Ва-аняяя! — всплыл на секунду короткий вопль. Всплыл и погас. Каких-то три десятка шагов отделяли тонущую от Ивана, но только шаг отделял ее от яра. Ее крик услышали люди, торопливо побежали на помощь. Иван прыгнул в воду, поплыл... Поток вытолкнул его на берег, перевернул. Над головой отчетливое, как зубная боль, колыхалось небо; на мгновение ослепив, метнулось солнце. Потом все это стало на место, только исчезла из глаз Лизавета. «Поздно! Поздно!» — выбравшись из воды, Иван отряхнулся и побежал берегом к яру. Там, глубоко внизу, поток затягивал в промоину тоненькую, точно талинка, фигурку.

Но Лизавета жила еще, еще видела небо над собой, солнце и одинокую на краю яра вербу с грачами на ней. Верба свесилась вниз, словно решала — стоит ли жить одинокой на свете. «Прощай,— сказала ей Лизавета и рассмеялась.— Ну вот... все». Но тело, полное жизни, вдруг взбунтовалось, напряглось, противясь силе потока, руки, как на кресте, откинулись в стороны, но сзади ударило острой льдиной в затылок. Глаза удивленно раскрылись, и тело скрылось в круглой промоине.

Ее вынесло из-подо льда метров через тридцать и, оттянув от промоины, отбросило течением к кустам. Подъехавший на своем «москвичонке» Александр Рушкин, рискуя сломать себе шею, скачками сбежал с кручи вниз, подхватил Лизавету на руки. Никита, подоспевший к случаю, принимал ее сверху.

— Отцепись! Прочь! — смахнув его руки, тихо и страшно велел Рушкин и что-то еще добавил шепотом; Дутыш отшатнулся и, опершись на ружьишко, стал в сторонке.

Лицо Лизаветы, слегка окровавленное, было спокойно и ясно. Глаза, ставшие невероятно огромными, не мигая, смотрели на солнце. На темных ресницах серебрилась влага, точно Лизавета поплакала перед вечным сном.

— Вот он, круговорот жизни, братуня,— бормотал Никита, переминаясь с ноги на ногу подле Галины, которую безмолвно прижимал к себе Иван, гладя ее голову широкой, как заступ, ладонью.— Отчебучила Лизка. А че не жилось? Все могла, все умела.

— Пойдем домой, Галя,— сказал Рушкин-старший.— Дома выревешься.

И хотя здесь стояла машина, он понес Лизавету на руках. Нес через всю деревню и всхлипывал, думая про себя: «Проглядели мы Лизавету. Выпала из жизни, как соринка из глазу. Ээх, люди!»

У яра тарахтел забытый «Москвич», да на куче соломы сидела тетка Матрена, глядя на дорогу, по которой ушла из деревни Любава.

Из синевы снова подали голос куда-то улетавшие журавли.

— Улетают, гадский потрох,— хлюпая сапогами, полными воды, Никита присел подле старухи, начал разуваться.— Че бы им тут не гнездиться?

Вода медленно сбывала. Наступал вечер, до которого не дожила Лизавета. Небо взялось тучами, под ними бледная выгнулась радуга. Откуда ей быть в такую пору? Может, время сменилось? Или сама радуга весну с летом спутала? Явилась — нежная, неожиданная.

— Ишь веселая какая! — заметил Никита радугу.— Ах ты, матушка моя! Ты почаще людям являйся.

Старуха подняла скорбные вылинявшие глаза, тяжело всплеснула серыми веками, вздохнула и снова опустила думную голову. А из-за Пустынного мчался

озорной синий ветер. Он был еще молод и неоглядчив, он не задумывался о том, что встретится на его пути, летел к заре, к радуге, над зарей выгнувшейся, неутомимый, стремительный. А из-за леса ночь выплывала, и все серело вокруг, теряло четкие свои очертания.

— Ушла, значит, Любка-то,— тревожа забывшуюся старуху, бормотал Никита.— От обоих от нас ушла. А ведь я ее больше воли любил. Слышь, тетка? Как теперь вечера коротать будем?

— У меня их немного осталось,— глухо отозвалась старуха, поднялась и, слегка сдвинув его с пути, пошла в село, к людям.



Летят утки







1.

День как день, воскресный, летний. Облачка белые табунятся в небе, через них солнце пропустило золотые жилки, и — кровь по ним к земле солнечная. Земля искрится, камушки на дороге блестят, а радужный хвост петуха, важно выступающего среди кур, напоминает северное сияние. Только сияние — оно холодное, а тут — жжет, каждое перышко теплоту излучает, глаз, самовлюбленный, круглый, крохотно отражает в себе светило. Не оттого ли этот задавака с распущенным хвостом так нахально клокочет: вот-де я весь мир в себя вместил... Хохлатки перед ним бисер мечут. Погребут, погребут лапками и оглянутся: как, мол, гусар-то наш, видит ли, не снизойдет ли до которой? Он снисходит, вцепляется иной в загривок, торжествующе, на весь переулок орет, и курочка для приличия квохчет, изображая смущение, и всему миру сулит яичко.

Странно все это и несвязно... на первый взгляд, разумеется. На самом деле — все жизнь, а жизнь необыкновенно проста и прекрасна. Вот солнце. И в небе оно, и в глазу оранжевого петуха, и по ту сторону гор Уральских, оно внутри каждого живого существа, в котором кровь не остыла, в каждом живом взоре от тепла его трепещет каждая молекула, и листья на тополе трепещут, и пух с него летит, он чем-то похож на пух куриный, который петька в пылу любовном выщипнул из белой хохлатки. Она отряхнулась, стыдливо прококала и, отойдя в сторонку, скребнула когтистой лапкой. На

перепонку прошлогодняя пшеничинка упала. Она уж проросла, и упругий сочный росток червячком из распяленного зернышка выполз, собрался сунуть остренький носик в облюбованную в земле порину, а тут его вырвали вместе с зерном.

Склюнет сейчас хохлатка, и не прорастет зерно колосом... Ан нет, не склюнула... Живого червяка увидала, вцепилась в него и заглотила, с наслаждением ощущая, как проходит по пищеводу нежная частица дождевого червя, а оставшиеся три четверти извиваются, успевают втиснуться в узкую норку. Курица все еще смакует и не замечает, что червь исчез уже. Упустив остатки червяка, недовольно покосилась на рябую шуструю соседку, клюнула ее в шею, решив, что именно она сперла добычу, и зернышко, скатившись с ее лапки, снова коснулось земли, росток улегся в промоинку и принялся тянуть из нее влагу. Теперь-то уж наверняка быть колосу!

По стволу тополя кот крадется. Скворец не видит его и, вытянув шейку, целится клювом в гусеницу. Перед самым носом кота схватил гусеницу, вспорхнул, а из скворечни уж тянутся жадные, раззявленные клювики скворчат. Пахнет волглой соломой, разопревшей глиной, теплым пухом, гайном.

К самому скворечнику, прибитому на Дарьином амбаре, поднялась расщепленная жердина. Прошлым летом Дарья срубила ее, чтоб припереть покосившийся амбарный конек,— жердина пустила корни, из рогатки выкинулись щупальца веток. Так бы вот человеку... вынули его из жизни, а он взял да и снова пророс, в особенности если это нужный и талантливый человек. Может, и прорастает как-нибудь, да мы этого просто не ведаем.

По улице верхом на палочке, задрав штанишки, бежит карапуз Санька Юшкин, пылит босыми ножонками и воинственно выкрикивает: «Но, Рыжко, но! Вот я тебе, паршивец!» Век космоса, век мыслящих автоматов, но Санькин отец — бригадир, и человечку малому по-прежнему самым главным, самым лучшим существом кажется отцовская лошадь.

Мальчишка бежит к клубу. Там тятька, а тятька обещал свозить его на дальний покос, где во все дни долгого лета не сосчитать щедрот. Земляники от пуза, пучки струятся в небо, на муравьиные холмики стекает по весне сладкий березовый сок, и в ракитах выщелки-

вает хмельной от песен своих соловей. Можно пасть на траву или на копешку, упереться пятками в землю, потому что когда долго глядишь в небо, то кажется, что сейчас взлетишь, затянет в себя небо, а на земле-то вон как баско! Оно, конечно, и по небу пролететь не худо, вроде того мужика с крестом на шее, который изображен на картинке из журнала «Огонек». Да ведь страшно! Не, думает Санька, я ишо по земле не набегался... Летать после буду, ежели летчиком стану, как мой дядька. А пока — ногами: пыль-то вон она какая мягкая! Навроде мамкиных ладошек. И шлепают они иной раз, а не больно, может, чуток обидно...

Бежит, бежит мальчик, и пыль за ним, а следом Борзя гонится, лает незлобиво, пытаясь ухватить зубами палочку.

Люди в клубе произносят речи. В фойе Берендей гоняет шары. А из переулка с баяном через плечо выхромал Матвей Иванович, сутулый, добрый. Всегда угостит конфеткой или просто по голове погладит. Не может без этого пройти мимо. Глаза у него, всегда детски синие, сразу становятся влажными, щенячьими, и голос тает, и слова капают так ласково, будто само сердце в них плавится...

Прохромал мимо Матвей Иванович, Саньку не заметил. Окликнуть его, что ли? Да уж ладно, пущай шкандыбает... Его в клубе ждут. А я в это время Рыжка побалую. В кармане горбушка, сольцой присыпанная. Дам Рыжку, он мягко губами возьмет... глаза у него, как у Матвея Ивановича, понимающие.

Матвей Иванович, бочком, неслышно протиснувшись в клуб, сразу услыхал со сцены чей-то громкий голос. Похоже, говорит сам Коморников, председатель:

«...положила много сил и здоровья. Отдавая должное ее трудолюбию, мы с сожалением провожаем сегодня на отдых эту беззаветную труженицу...»

Щелк! Это шар об шар. Берендей обыгрывает сам себя. И, надо сказать, играет он лихо. В азарте и не заметил Матвея Ивановича. Но вот и последний шар плюхнулся в лузу. Берендей подул, точно остужая, на кий, с сожалением покачал лохматою головой.

— Ты где ходишь? — заметил он наконец баяниста.— Я тут волнуюсь.

— Второй регистр отказал... с ним возился,— повинился Матвей Иванович. Он почему-то всегда считал

себя виноватым. А вся вина его в том, что беспредельно застенчив, хоть и войну прошел и позже немало хлебнул лиха.

Берендей, наоборот, застенчивости не подвержен. Может, поэтому и клубом заведует, и вместо конферанса шпарит со сцены свои стихи. Застенчивость, полагает он,— пережиток. Да и чего ради стесняться, перед кем? Все люди, все человеки. Сам я к тому еще и поэт. Пусть передо мной глаза опускают, а мне что кланяться.

— Не темни, Матвей,— прожигая баяниста пронзительными цыганскими глазами, осуждающе трясет он кудлатою гривой.— Ведь знаю: не любишь старуху. И — знаю, за что не любишь.

— Говорю же, регистр сломался,— сердито бухтит Матвей Иванович. Он все безропотно сносит, кроме напраслины. А напраслины на него возводили немало. Едва начинают выдумывать, вот как Берендей сейчас, сразу вскипают былые обиды, и Матвей Иванович сердится. Начал было и тут сердиться, но Берендей помешал.

— Как только вручат подарок,— он кивает на новенький блестящий самовар, стоящий на бильярдном столе,— рвани проголосную.

— Я полонез разучивал,— робко возражает Матвей Иванович, но его возражения во внимание не принимаются.— Зря, значит?

— Надо что-нибудь наше, русское. «Во поле березонька» или эту... «Щепочку», а?

— «Лучинушку»? — вежливо поправляет Матвей Иванович и расстегивает мехи баяна.

— Лучинушку, щепочку — не все ли равно? — досадливо отмахнулся Берендей и в самое ухо зашептал баянисту: — Главное — душу, душу вложи! Старуха, понимаешь, от земли, от сохи... Словом, наша старуха!

Матвей Иванович деликатно отодвинулся: от Берендея разило или, культурно выражаясь, учуивалось «амбре». Но то, что чествуют Дарью Павловну,— приятно. Всех женщин, переживших войну, Матвей Иванович чтил особо и, случалось, выпив в какой-нибудь праздник, плакал и жаловался всем и каждому:

— Не почитают их, кормилиц-то наших. А им бы памятник из чистого золота...

Сегодня он был доволен: чествуют Павловну. Такие

женщины встречаются одна на тысячу. К тому же сын ее, Александр, был другом Матвея Ивановича.

— Удостоилась тетушка! — прошептал он с восторгом. В иных устах это прозвучало бы театрально, но Матвей Иванович был столь чужд всяких эффектов, что даже Берендей, человек подозрительный, не усмотрел в его жесте никакой искусственности. Уколол от нечего делать, по укоренившейся вредной привычке оставлять за собой последнее слово:

— Завидуешь? Эх, Матвей! Нет в тебе этакой русской широты, щедрости нет!

Матвей Иванович, между прочим, был раза в два с лишком его постарше, но именно оттого, что перед каждым робел, что не мог иной раз вовремя подать голос, его в деревне многие называли запросто — Матвеем. За исключением людей глубоких и зрелых, умеющих видеть главную суть человека.

— Стесняюсь перед людьми,— буркнул Матвей Иванович, признавая справедливость Берендеевых слов.— Потому и прячусь... в этот самый панцирь.

— Че стесняться-то? — дивясь непонятной этой странности, Берендей оценивающе оглядел ладного, сухощавого и всегда подтянутого баяниста.— На войне небось не робел? Да и в мастерской на тебя посмотреть любо-дорого. А в разговоре мямлишь, не знаешь, куда руки девать. Ты гордись ими, Матвей: руки-то у тебя золотые! Вольней чувствуй себя, папаша! — решив, что перестарался в похвалах, Берендей перешел на насмешливый тон.

— Уж лучше называй по имени. Какой я тебе папаша!

— Можно и по имени.

Берендей снова взял кий, однако нацелился им не в шар, а в собеседника.

— Можно и по имени. Да ведь ты мне как-никак отчим!

Схоронив первую жену, Матвей Иванович лет семь жил вдовцом и лишь недавно сошелся с Вассой Берендеевой, жил с ней душа в душу, но изрядно побаивался вольного и чересчур забалованного пасынка.

— А послушай, Матвей, ты почему так поздно женился?

— С духом не мог собраться. Да и Васса не соглашалась, пока рос ты.

— Зло-то во мне, оказывается!

Разговор этот Матвею Ивановичу прискучил. Не любил он, когда человека выворачивают мехом наружу и делают это не ради пользы, а так, скуки ради, уподобляясь Берендею. Ну, Берендей, он — поэт, что с него взять. А другие-то с какой радости в чужих коростах копаются? Больно же это! Сейчас вот стало больно оттого, что вспомнил жену-покойницу. Воротился к ней с фронта — она обезножела... Нянчился, поставил на ноги. И только зажили по-человечески, она взяла и померла. Скоро померла, в одночасье. Долго не мог прийти в себя Матвей Иванович от великой этой потери. Извелся и почернел весь. Васса и Дарья Павловна отваживались с ним. После смерти жены стал сердце слышать. Тяжело по ночам сердце, куда-то вбок свешивалось. Руки на грудную клетку уж не клади. Кажется, истончала грудь... и ложится рука прямо на сердце.

Берендей касается этой боли небрежно: что ему, молодой! Задору петушиного много. Задор-то выветрится со временем. Пока ж придется терпеть. Долго ль выветриваться он будет?

Матвей Иванович пробежал пальцами по ладам: кузнец и мастер, а пальцы тонкие, чуткие, с длинными твердыми ногтями. Каждую кнопочку на баяне чуют, да что кнопочку — трещинку или даже вмятинку на них.

Баян сам собрал из двух списанных клубных. Голоса озвончил, строй переделал. Районный баянист с непривычки взялся и ничего сыграть не смог. Собственной, Матвей Иваныча, конструкции баян оказался. И отделка на нем нестандартная: черные кони с серебряными гривами и мехи в цветных яблоках. Как разведет Матвей Иванович свой баян — по всей деревне слыхать... То колокольцами зазвенит вдруг, то голос чудный, почти человечий загрустит о чем-то, а то зажурчит в небе жаворонок... всякий регистр свою окраску имеет. Приезжали из областной филармонии, торговали за большие деньги баян — Матвей Иванович не продал. Больно глянется он Вассе. И поет она под баян задушевно.

— Расшевелил ты меня, Матвей,— совсем не к месту брякнул Берендей. С чего ни начни, он все к собственному настрою сводит. Да и слышит, пожалуй, одного себя. Вот зубами зачем-то скрежещет. Глисты у него, что ли? — Расшевелил! Кровь закипает!

— Выдь на улку, охолонь,— простодушно советует Матвей Иванович, продолжая тихонько наигрывать.

Берендей оторопело зыркнул на него, заподозрив насмешку, но лицо баяниста открыто и доверчиво, глаза из-под белесых ресниц смотрят сине и невозмутимо.

— Эх россияне! Души лазоревые,— закончил в том же ключе Берендей и, грохнув себя кулаком в грудь, застонал: — За что ж вы сами-то себя не любите?

Он, возможно, и дальше продолжал бы сокрушаться по поводу россиян, но, запыхавшись, вбежал Юшкин.

— Мух ловишь, культурник! — закричал он на Берендея.— Самовар-то испытывали? Дырок нет?

— В голове у тебя дырка,— огрызнулся Берендей, недолюбливавший бригадира.— Заткни, ежели есть чему вытекать.

— Я человек простой, конечно,— Юшкин при случае мог сыграть в простачка, хотя и впрямь был не слишком сложным человеком, но, опрощаясь, он тем самым как бы предупреждал: «Смотри, милок! Я ведь тоже не так прост, как ты думаешь! Я могу и усложнить кое-что... в твоей жизни!» Сейчас он прибег к этой своеобычной мимикрии.— Я конечно, стишков не пишу... Зато о людях пекусь, да!

— И не пиши,— с высокомерной издевкой посоветовал Берендей.— И пекись. У тебя назначение такое.

— А как же, надо,— усмотрев в его насмешке нечто лестное для себя, охотно согласился бригадир.— Сядет, к примеру, наша пенсионерка чай пить, а чай весь вытек. У? С кого спросят, ежели жалоба поступит? Само собой с Юшкина. С Юшкина, а не с какого-нибудь щелкопера...

Победно ухмыльнувшись, он взял самовар и, не дав Берендею высказаться, исчез за дверью, ведущей на сцену.

— Дубина,— проворчал Берендей, запоздало рванувшись за бригадиром.— Весь замысел мне испортил. А какой грандиозный был замысел! — пожаловался он Матвею Ивановичу.

Баянист вежливо откашлялся, хрипнул басами и спросил:

— Дак че играть-то? «Лучинушку» или полонез? Ежели «Лучинушку», дак я ее с вариациями...

«Говорильня» между тем кончилась, раздались нетерпеливые аплодисменты.

— Тише ты! — шикнул Берендей; перед дверьми он чуть замешкался, набрал полную грудь воздуха, предвкушая эффект своего появления.— Как все поклон поясной отвесят — начинай,— торопливо наказывал он баянисту.

— Поклон-то зачем?

— А в старину разве не кланялись? То-то,— снисходительно усмехнулся Берендей простодушию отчима.— Поклонятся и теперь... Я словом их разволную,— добавил он,— ты — музыкой.

Матвей Иванович не понял его замысла, но смутился по другой причине. Вот, представил он, зал по чьей-то команде встает, вот кланяется, а молодежь валится на пол от хохота.

— Если бы гулянка — другое дело,— проворчал он не без осуждения.— Там почудить можно. А тут — публичность, тут надо во весь сурьез.

— Да разве я шучу? — взвился Берендей.

Его не поняли, а если не понимают столь близкие люди, то что это за люди? До чего их низвели?

— Разве похоже, что я шучу? Я женщину славлю! Россия Дарьями велика! — во весь бас доказывал он отчиму и тыкал его большим пальцем в грудь.

Пока они препирались, в боковую дверь медленно вышла суровая Дарья, глядя перед собой близоруко и растерянно. В руках у нее был самовар, который она держала, точно злую кошку. За ней семенила еще одна старушонка, Прошиха. Прошиха загодя проникла на сцену, отсиделась там за кулисами, а в подходящий момент уселась в президиум, заняв место Юшкина. Всю торжественную отнюдь не короткую часть бригадиру пришлось стоять у отдернутого занавеса. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, грозил старушонке кулаком; та будто не замечала, кивала одобрительно ораторам, громко шепталась и изумленно ахала, потешая честной народ. Она как бы причастилась к тому, что пережила теперь Павловна, и считала нужным разделить ее не совсем веселый триумф.

Следом за Прошихой, по-солдатски чеканя шаг,— Юшкин.

— Прозевали! — ахнул Матвей Иванович, увидав эту странную процессию.— А все потому, что никто не кланялся.

— И я никогда никому не кланялся,— гордясь ши-

роким, вольным басом, слышным во всех углах, загудел Берендей.— Не кланялся, а ей поклонюсь.

Матвей Иванович втиснул голову в плечи, обежал бильярд и скользнул к выходу.

— Ежели не нужен,— бормотал он на ходу забывшему о нем Берендею,— дак пойду...— А сам уж с крыльца спускался.

— Спешишь? — воззвал ему вслед Берендей.— Все спешат, все несутся... как комья снежные с горы. А нет чтоб остановиться, чтоб подумать! У всех дела... Человек — вот дело! — продекламировал он сильно и впечатляюще.

Выдав хрестоматийную эту фразу, Берендей изломался перед старухой в поклоне:

— Державной кормилице от российского поэта,— он шлепнул ладонью о пол, тем самым подчеркивая свою кровную связь с землей, с простым сельским народом; Дарья, не взглянув на него, прошествовала мимо.

Зрелище заинтересовало одну лишь Прошиху. Зыркнув глазенками по сторонам, она плеснула холодным смешком и перевела происходящее на понятный всему миру язык:

— Володей киятр представляет. Он такой, Володей-Берендей!

Берендей, выпрямившись, оскорбленно застонал: «Что за народ? Не замечают высоких человеческих порывов!»

А Дарья шагала по улице и все так же, на вытянутых руках, несла перед собой ненужный ей, нахально блестящий самовар. Ее преследовал Юшкин, с которым лишь накануне скандалила на конном дворе. Он был доволен, что беспокойная старуха ушла наконец на заслуженный отдых и теперь не будет ворчать на него из-за всякого пустяка.

— Ну вот, Павловна, будешь чай попивать. Радая? — спрашивал он не без торжества в голосе.

— Выше головы,— пробурчала старуха, недоумевая, зачем несет этот дурацкий самовар, когда своих, старинных, с медалями, дома три штуки. Взяв самовар за одну ручку, уронила с него конфорку, перешагнула ее, не подняла. Зато подобрала подоспевшая Прошиха, сдула пыль и протянула Юшкину:

— Из такого-то самовара и я бы пошвыркала чаек. Князь-самовар!

— Самовар и впрямь — князь,— грустно отозвалась Дарья Павловна.— А я при ем вроде прислужницы. Выпихнули за ненадобностью.

— Заслужила,— не расслышав ее, кивнул Юшкин.— Скоко ж ты колхозу-то отдала?

— Сколь ни отдала, все мое было. Считай лучше, сколь получила.— Дарья шлепнула самовар по боку, словно тот в чем-то провинился, горестно задумалась: «А ведь и верно, много отдано было! Ой много!»

— Мне это раз плюнуть. Я пятизначные в уме перемножаю. Мной даже доктор один из району интересовался: что, мол, за ненормальность такая? Шустрей арифметра...— гордясь феноменальной способностью к умножению больших чисел, радостно подхватил Юшкин. Кроме охоты и рыбалки это был еще один предмет его страсти.

— Жаль, председатель мало тобой интересуется,— мрачно усмехнулась старуха.— А то бы другую ненормальность увидел: люди — в поле, бригадир — на озере, морды вытряхивает.

Юшкин споткнулся, едва не захлебнувшись возмущением. Вот мымра старая! Не гляди, что близорука: все, все видит! На покос-то не зря собирался... Там озерко есть Тихое. Ох добры в нем караси! Иные ну прямо что лапти. И народу вокруг мало. Разве случайно кто встретится. Можно и четушечку раздавить, и подремать под кустом в тенечке. Дело от этого не пострадает.

— Токо и видишь одно худое,— попрекнул он старуху.— А кто волейбольную площадку построил? Кто бильярд для клуба выхлопотал? Народ Юшкиным доволен. Фимиамы, понятно, не воскуривает, но жалоб особых нету... Могу кому хошь во всеуслышанье доложить...

— Крышу бы в школе перекрыл. Скоро вода ребятишкам потечет на головы,— заметила старуха.— Что ни говори этому остолопу, ему все, как об стенку горох. А прихвастнуть, пыль в глаза пустить мастер.

— Крышу?! — Юшкин обиженно заморгал, извлек из внутреннего кармана засаленный блокнот.— Смотри сюда,— сказал он, сунув блокнот под нос старухе.— Смотри, смотри, чтоб после разговоров не было! Вот, черным по белому записано: перекрыть школьную крышу. Это значит — в четвертом квартале. Далее, вспахать огороды пенсионерам...

— Тоже в декабре пахать будешь? — подкусила Дарья. Злословила, но злословила вяло, без былого яростно-веселого задора, который не могли победить годы, беды, потери. То ли усталость от прожитых лет, то ли страх перед неизвестным будущим притушили его. Будущее, как у многих: государство предоставило возможность отдохнуть, а Дарья привыкла к испытанной формуле: умрешь — належишься и, стало быть, вдоволь отдохнешь. «Как это можно — отдыхать? — недоумевала старуха.— Вокруг столько дел...» Жизнь тем и притягательна, что человек имеет возможность работать. И Дарья до ломоты в костях работала, когда вот этот ленивый болтун еще под стол пешком ходил, и собиралась работать, пока служат руки и ноги. Собиралась, а ее вдруг лишили этой возможности и тем самым жестоко и неоправданно оскорбили, вроде желая добра. Потому слова Юшкина доходили с трудом, словно говорил он через вату.

— Раз в плане значится — вспашу. И твои придирки мне просто обидны.

«Че он бунчит тут? Тратится на слова человек... а я его и без слов наскрозь вижу. Болтун, бездельник...» — думала старуха.

Иной раз слова, произносимые людьми, и впрямь казались ей лишними. Послушал бы человек, что о нем думают, и сам сказал, что думает о других. Может, правды-то на земле станет побольше! То бранят друг дружку без удержу, то захваливают устно и печатно так, что бумага от стыда коробится. А людям не стыдно, нет, им ниско-о-о-ле-чко не стыдно! Есть же мера какая-то, правда есть... Хоть бы маленько меры этой придерживались, хоть бы чуть-чуть о правде помнили...

Усталость и тусклые, удручающие мысли оплели паутиной мозг, а день сиял, и бренчала донною галькой речка. Текла она под окнами Дарьиного дома. Не велика речонка, зато чиста и стремительна. Журчит, камешки пересчитывает и несется куда-то, год от году сужаясь. Вот так бы и человеку жить весь век в радости, вечном стремлении к лучшему! Течет речка, на ней гуси довольно гогочут, взмахивают огузками крылышек темно-желтые гусята, задирая восковые клювики вверх, пропускают через узкие пуховые горлышки прохладную водицу Галямы. (Назвал же какой-то шутник — Галяма!) Птицы учат людей: «Живите на всю катушку!»

А век-то их — от весны до осени... И вот гогочут птахи, и не унывают. А этот краснобай развозит тут турусы на колесах, кичится никчемушными благодеяниями. А они нужны мне, как второй хвост собаке.

— Я и проводы на пенсию организовал, и за самоваром в район слётал,— Юшкин твердил это, снова переходя на четкий солдатский шаг. Выправка у него хоть куда, сержантская. Полковую школу в армии кончил, два года был на сверхсрочной, да вытурили из армии: видно, и там нерадивые-то не ко двору.— А деньги у бухгалтера, думаешь, легко было вытеребить? О! Попортил кровушки!

— Не портил бы. Я на пензию не рвалася.

— Рвалась не рвалась — положено. Теперь сиди на завалинке да чай гоняй.— Юшкин завистливо вздохнул, мгновенно вычислив, сколько до пенсии остается ему. Выходило многовато.— Вот мне предложи кто: «Иди, мол, Василий Гаврилович!» Хоть щас уйду. Уж я-то бы нашел чем заниматься на пенсии: охота, рыбалка, теща в соседней деревне. Самогонка у ней первый сорт! Поезжай по любой дороге — на каждой тебя ждет что-то приятное. Дорог много...

— Много,— вздохнула Дарья и непривычно жалобно призналась: — А идти некуда. Помру я от безделья, Василий!

— От безделья пока никто еще не помер,— авторитетно пояснил ей Юшкин.— Это, сказывали, от работы кони дохли. Дак кони-то в наши времена перевелись. На весь колхоз один Рыжко...

— Как хошь,— решительно заявила Дарья,— а завтра приду к тебе на наряд.

— Э нет! — испугался не на шутку Юшкин: опять ссоры с ней, опять нервотрепки. А нервные клетки, говорят, не восстанавливаются.— Мы, тетка Дарья, так не уговаривались. Из отставки в строевики не берут.

— Не берут, значит? — тоскливо вздохнула старуха и, сунув Юшкину дареный самовар, захлопнула за собой калитку.

— Эй, тетка! А самовар-то? — засуетился Юшкин и толкнулся в калитку.

— Можешь себе взять... дарю,— глухо донеслось из ограды.

— Я чай не пью,— суетливо скребся в ворота Юшкин. Ему не отпирали.— Я пью не чай.

— Тонная старушонка,— посочувствовала Прошиха, когда Юшкин понял, что стучать бесполезно.— Никаких ей авторитетов. Не гляди, что сам бригадир в воротах скоблится. Давай самоварчик-то... доставлю по назначению.

Юшкин с готовностью сунул ей самовар и, сбиваясь с четкого солдатского шага на легкомысленную рысцу, устремился к клубу. Там нетерпеливо ржал Рыжко, в ходке дремал Юшкин-младший.

2.

У порога ноги вдруг подломились. Села, заобирала руками. «Чистый статуй... токо что душа еще теплится»,— посмеялась над слабостью своей Павловна. Душа просила движения, тело не слушалось. Хотелось вырваться из своей изношенной оболочки, как прежде молодо и упруго пройтись по земле, притаптывая теплые травы, сощуриться от яркого, неугасимого солнца, ощущая на полных губах его ласку, свести брови у переносицы, чтоб не чихнуть от щекотки лучей.

...Брови суровы, молодые губы растягивает озорная, чего-то ждущая улыбка. Вот прижалась смугло-румяной щекой к березке; отовсюду их видно: две девки статных, две невесты. У каждой будет своя судьба. Вокруг березки березничек вырастет, который бабы в войну срубят, вокруг Дарьи — сыновья, дочь. Этих вместе с отцом война срубит.

Глядят теперь на Дарью с портретов, который уж год глядят, помалкивают. И бог на божнице молчит. Что ж он молчит, бог-то? Или не видно ему из-за занавески, что в мире, им созданном, не все в порядке?

Собравшись с силами, Дарья Павловна, опираясь на стенку, поднялась и поволокла свое собственное, но как бы отчужденное от чувств и воли тело. Брела, тащила себя к лавке под божницею. Подле сыновних портретов сделала первую передышку. Взглянуть бы на них, да боязно силы тратить: от неосторожного движения долго ли снова соскользнуть на пол. Второй-то уж раз не встать.

«Ничо, прилягу, тогда насмотрюсь вдосталь!» — решила Дарья, выбрав себе место как раз напротив сыновних лиц.

Шла, точно в детстве ходить училась. Так же вот, вдоль стенки, начинала. И дети у этой же стенки учились. «Видать, последняя моя проходка!» — без страха и сожаления прикидывала старуха.

О чем жалеть? Умирать нетрудно, когда все положенное на земле сделал, все отдал, не считая, не меряя... В людей все ушло, там и растворилось... А вот и отдать нечего. И так-то пусто в душе сделалось... Для чего и жить-то дальше. Жить стоит, пока отдать есть чего... И то — прожито немало. Начни вспоминать, еще одна жизнь понадобится. Ведь это постороннему легко перечислить: вот, мол, больше сорока лет оттрубила в колхозе, вот троих детей родила, вот на пенсию вышла. А как сама слово скажешь — за ним целая череда событий. И переживаешь их все заново. И потому не говорятся слова всуе. За каждым словом — твоя боль и твоя радость. Неужто никому, кроме Дарьи, они неинтересны? Все близкие из жизни ушли, у чужих — свои заботы... Может, есть хоть одна душа на свете, которая думает сейчас о Дарье? Все грехи ее взвешивает, на другую чашу кладет добрые деяния. Коль взвешивает, то навряд ли из добрых побуждений. Кладовщика вот взять. Он человек, не более. На Мирона Ивановича похож. Тот в кладовой, бывало, начнет заработанный тобой хлеб вешать, так пуда, двух не досчитаешься. Не той мерою измеряется век человеческий. В особенности бабий век.

А какой? Кто изобрел счет и меру? Счет порченой крови? Пот пройденных верст... Вот и выходит, что слова в этом мире значат мало. Хотя иной раз так нужно было — ну хоть умри, нужно! — услышать уместное человеческое слово. И Дарья слыхивала их... от той же Прошихи слыхивала. Непростой она человек, Прошиха. Как все люди, со своей закавыкой, с судьбой своей... Иные думают — с придурью. Кто так считает, сам недалекого ума. Люди, пережившие столько, сколько пережили Дарья и Прошиха, с придурью не бывают.

Лечь надо. Сидеть уж сил нет. Да как взгромоздить на лавку очугуневшие кости? Ведь плясывала когда-то! Так дробила, что гармонист в переборах не успевал. Мастерица была плясать-то... Видать, отплясала... Ноги вы мои, ноженьки! Че с вами подеялось-то? Ведь только что шли по земле, на крылечко взбирались. А крыльцо высо-окое, двенадцать ступеней. Потом через сенки про-

ковыляли, одолели порог. У порога забастовали. Не-ет, помирать на ногах надо. Кому я нужна недвижимая-то? Колода колодой. Воды подать некому... Одна... как муха вот эта... Жужжит надо мной. Поди, жалеет старушонку? Муха, она ведь тоже труженица. Как просыпается — на крыло, и вьется, и вьется... Много ли ей надо-то, а за день все углы обсидит, весь потолок исползает.

— Ну-ко, Павловна,— сказала себе строго,— ходилки-то свои подтягивай! Ага, вот! Одну погрузила, слава богу. Передохну... Как перед паужной на поле, бывало... Идешь последний прокос, пяток саженей осталось... Потом все тело изъело, а прокос доширкать надобно. Остановишься для вида... оселок в руки, спиной о березу обопрешься. Со стороны думают: литовку правит... Где там... так и сползаешь по стволу наземь. Хитро придумала — опереться. У других на прокосе берез нет... Вон та же Прошиха пала, и ноги тощие заголились... Вот наточу щас литовку, ее подыму...

Наточила, а Прошиха-то увидала, что к ней иду,— напряглась, встала. До чего зоркая баба!

Ширк-ширк, ширк-ширк! Падает травушка. Падает мягкая. Щас и сама упаду...

Очнулась Павловна. Одна нога на лавке, другая на полу. Собралась опять с силами, изловчилась и взвалила на лавку вторую ногу и почти счастливо улыбнулась. Давненько не улыбалась, а тут как удержаться — недвижимое подвинула. Свела ноги вровень, распрямила, одну руку взвалила на дряблую, расползшуюся грудь, другую... Нет, другую не смогла. Пошевелила пальцами: под ними не грудь — жидкое тесто. А ведь грудь эту, тугую, молочную, дети сосали. Иссосали всю. Или уж время высосало из нее все соки? Время — змей, ото всех кормится. Ну-ко, втору-то рученьку подымай!

Скомандовала, попыталась свести пальцы в кулак... они вроде как парализованы. Ну нисколечко не шевелятся. Ну, так и есть: онемели. Поскребла ногтями по полу — услышала тихий звук. Ага, ожили! И все равно взнять руку надо, положить под ладонь правой руки. У добрых людей правая рука главная, у меня — левая. Все, что ни делаешь, начинаешь с нее. Только крестилась правой... Давно уж крестилась, не помню когда. Давай, давай, рученька, оживай помаленьку! Велико ли дело — до груди взняться? Бывало, копны на зарод метала... Иной мужик ядреный с одного замаха копну не

подымет. А мы подымали. Было, было! Теперь хоть бы себя поднять. Ну-ко! Ишо чуток, ишо ка-апельку! Та-ак, самую малость осталось... Слава богу, слава богу, справилась. Теперь живем, ядрена вошь! Живе-ем!

И все затихло в мире. Слышно было только, что ходики тикают. Чик-чак, чик-чак... ведут они веселый нервный отсчет. А все прочее изумленно молчит. Так и должно: немощная старуха смерть осилила! Тут и пушкам, где-то стреляющим, помолчать бы, задуматься о том, для чего рожден человек.

И вот тишина настала везде, лишь ходики неутомимо присчитывают секунды. Ну пусть, часы не мешают.

По небу солнечный шар катится, потеет в яростном и веселом упорстве, а взбирается вверх без боязни, и все ему с верхотуры видно: муравья малого и огромную тень горы. А еще орла, на горе задумавшегося. О чем мыслит мудрая птица? Орлят в гнезде нет, улетели за первой добычей. Ежели и не достанут на пропитание — отец не даст помереть с голоду.

Так о чем же он думает? Может, как Дарья, слушает время? Чик-чак, чик-чак... со скалы родничок сочится. Капли его проникли в узкую расщелину и падают на плиту, под которой человек лежит, альпинист, нашедший в горах свое последнее пристанище. Орел привал его охраняет. Или, быть может, это душа альпиниста смотрит из гнезда на черный камень, на буквы, высеченные на камне? Это все, что осталось от дерзкого альпиниста. Ну что ж, он ввысь стремился. И не беда, что упал. Смерть мужественная и красивая, не каждому это дано.

Молчат пушки. Молчит старуха. Не умерла ли ты, Дарья Павловна?..

3.

— Дева-аа! Под святые улеглась! Уж не помирать ли собралась? — в избу, как всегда без стука, ввалилась с самоваром в обнимку Прошиха. Глаза тотчас же — влево, вправо, каждый миг ловят ее стреляющие глаза, каждую мелочь отмечают. Оглядела избу, принялась за Павловну. Лицо, отметила про себя Прошиха, землисто, веки набухли. На седой висок упал луч солнца, и слились серебро с золотом. И потому особенно приметен

пучок морщин в уголке правого глаза. Глаз медленно раскрылся, уставился в потолок, на котором все еще сидела утомленная муха. Не оказывая слабости, Павловна чуть-чуть повернула голову, сдержанно призналась:

— Обнесло меня смертно. Шла и — вдруг обнесло.

— Да пошто так экстренно-то? — тотчас поверив ей (на лице все чисто написано!), для вида усомнилась Прошиха и принялась доискиваться до изначальных причин Дарьиной слабости.— Здорова была, кряжиста... Вон какой корягой на собрании сидела! Я ишо, грешным делом, позавидовала. Рано, мерекаю, подружку на пензию выпроваживают. Ей, как медному котелку, служить... Отслужилась, че ли?

— Похоже так. Вчистую списали. Чтоб добрым людям свет не застила. Теперь один путь — на «могилевское»,— глаза Дарьины, спокойные, но еще не отрешенные, все понимающие, уставились в неспокойные Прошихины глаза. Та отвела взгляд, поджала бескровные губы и стала похожа на старую тряпичную куклу. Кукла, скособочившись дряблою шеей, зашелестела:

— А ты помолись, Даня. Может, сроки-то вверху пересмотрят. Помолись, право!

— Не умею,— шевельнула суровой бровью Павловна.

У человека всегда есть в запасе какая-нибудь уловка. Ежели не ближнего, так бога обмануть стремится. Вот и Прошиха предлагает последний шанс — помолиться, но Дарья Павловна этим шансом не воспользуется. Бог, если и есть он, должно быть, неглуп и все понимает.

— Последний-то раз перед войной молилась... за победу воинства нашего,— призналась она.

Прошиха ожила, завинтилась и, крутясь подле Дарьи то в одну сторону, то в другую, затарахтела:

— Видно, дошла твоя молитва! Расхлопали немцев-то! Вон как расхлопали! — Прошиха истово перекрестилась, что-то зашептала. Мгновенно меняется на глазах человек! Ей бы артисткой быть и вместе с Володькой, с внуком, со сцены публику потешать.

— Кабы молитвами побеждали — жить бы моим сынкам. И — Феде жить,— тихо возразила Павловна и приподняла голову, чтоб явственней видеть на портретах лица мужа и сыновей. Сыновья молодые, чубатые, оба в белых косоворотках. Федор — в черной толстовке, в суконном картузе. Всегда одевался строго, а сам строг

не был, сроду голоса не повысил. Что ни скажи ему, улыбнется в ответ, и только.

— Не убивайся, Даня! На том свете... в раю или ишо где... за одним столом соберетесь.

— Был бы он, тот свет!

— Тц! Тц! — замахала руками Прошиха, отпрянула, заоглядывалась. Затем подбежала к божнице и задернула занавеску. Истинно артистка. Или уж впрямь в бога верует? Едва ли. Больше изображает.

— А ежели есть? — дрожащим голосом пытала Прошиха.— Ежели возьмет щас и громовой стрелой по темечку жахнет?

— Ну жахнет, эка беда! — беспечно отозвалась Дарья Павловна. Могла бы рукой махнуть — махнула. Не подчинялась рука-то.— Гроб все едино сколотят... А там... там в райские кущи — хоть разбейся! — не пустят. В кочегарку попаду, и никуда боле!

— Яд, яд — не язык! — шепотом ужаснулась Прошиха, перекрестилась и опять что-то зашептала.— Что ни слово, то богохульство. Молитву твори, бесстыдница!

— Бухтишь тут, праведница! — насмешливо одернула Дарья Павловна, сощурилась и с ехидцей полюбопытствовала: — Сама-то хоть молишься?

— Осподи! Прости ты ее, окаянную! Без ума буровит! — Прошиха снова отскочила к порогу, в мистическом ужасе прикрыла глаза, оставив между век едва приметную щелку. Нельзя же в самом деле ничего не видеть! Вдруг что-нибудь из ряда вон выходящее упустишь! И — упустила... а не смотрела одно мгновение. Как вышло, что на божнице шторка отдернулась? То ли Павловна успела отдернуть? Так она же не поднималась! Да и когда ей успеть? Прошиха всего-то на одну моргушку зажмурилась. Может, это сам Саваоф... ежели, конечно, хм... есть он. Вон Дарья кощунствует, а бог и ухом не ведет. Дак с чего бы ему занавеску-то отдергивать? Он и скрозь занавеску все отчетливо видит.

А Дарья прилипла листом банным, пытает:

— Ну помолись. Не собьешься в молитве — самовар твой.

— Мне че твой самовар? Мне он ни к чему вовсе,— лукавила Прошиха, стараясь убедить товарку в своей преданности богу.— Я и так кажин день триста поклонов отбиваю. А в воскресенье дак три раза по триста.

Прошиха слегка преувеличивала и не считала это

большим грехом. Молиться ей действительно приходилось. Но было это давно, в молодости, когда строгий и ретивый в вере родитель водил ее на всенощные. Сейчас в памяти задержались отрывочно две-три молитвы, но по какому случаю их произносят, Прошиха не помнила.

А все же занавеска-то пошто отдернулась? Свят, свят! Неужто Дарья ничего и никого не боится? Пристала с этими молитвами! Кабы сама их знала.

— На поле бы так кланялась! — говорила между тем Павловна.

Самовар на столе зазывно блестел, влек, магнитил Прошихин взор. Нехудо бы заиметь такой в своем хозяйстве! Он, верно, с именной надписью, дак это даже интересней. Можно сказать, мол, граверы перепутали.

— Читай молитву-то! — напомнила снова Павловна.

Прошиха ухмыльнулась, но тут же подавила ухмылку и благочестиво обмахнула лоб, перед тем пояснив:

— Не ради наживы стараюсь. Ради спасенья души бессмертной.

Дарья Павловна нетерпеливо поморщилась, задвигала густыми бровями.

— Отче наш, иже еси на небеси...— невнятно забормотала Прошиха, изредка, там, где хоть одно слово помнила, повышая голос. Потом отвлеклась, пояснила: — Я эть староверка, Даня. Я эть по-мирски не умею.

— Громче! — требовала Дарья с потаенной, злой усмешкой.— Не слышу.

— А, могу! — морща в напряжении лоб, кивнула Прошиха. На ее счастье, вспомнилось еще несколько фраз: — Да святится имя твое, да приидет царствие твое... Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, боже!

— Все переврала, шептунья! Бога ни в одном глазу,— усмехнулась старуха, расслабила набрякшие члены, сдвинула морщины со лба. Хотела вздохнуть во всю грудь, а что-то мешало, и Дарья задержала вздох и снова обратилась к Прошихе: — Скажи правду: веруешь?

«Неспроста, наверно, пытает»,— подумала Прошиха, понимая, что Дарье теперь не до самовара. К чему ей этот, казенный? Вон три своих, не чета теперешним, медные, сплошь в медалях. Начистить песком — такое сиянье от них, хоть глаза закрывай. Значит, о душе своей задумалась.

— Дак эть как не веровать, Даня? — честно призна-

лась Прошиха.— Вдруг есть он, бог-то? Вдруг слышит? Я и прималиваюсь на всякий случай. По-своему, понятно, как умею.— И тут же перевела разговор на желаемую тему.— А самоварчик баской! Ишь как посверкивает! Ровно молниями начищен.

— Не заслужила,— добродушно усмехнулась Павловна,— да уж ладно, бери, че с тобой сделаешь.— Ровно и не о смерти шла речь, тихонько засмеялась, вспомнив проделки Прошихи.— Молишься хуже, чем материшься.

— И без этого нельзя, Даня,— Прошиха довольно хихикнула.— Недавно Юшкина так обложила, что он, бедняга, не знал, куда от стыда деваться. Ну, сам виноват: во время дроворуба отвел деляну не там, где просила. С молитвой-то, ешь твою за ногу, и верно неувязка вышла. А вот в картах я, ну, ей-боженьки, не промахнусь. Все честь по чести распишу. Не токо, что в сердце твоем, что в мире творится,— знаю.

— Добра богомолка! Одной рукой грешит, другой — грехи отмаливает.

— Карты, Даня, человек выдумал,— вытаскивая колоду игральных карт, возразила Прошиха.— А человек — божье создание.

— Вот попадешь за эту выдумку... к нечистому на сковородку!

— Невелик грех,— спокойно ответила Прошиха, только что изображавшая священный ужас перед небесными силами.— Есть и поболе. Дева-аа! Печаль тебе выпала! Дорога дальняя, крестовый дом,— вычитала она в разложенных на столе картах. Карты были новенькие и чуть искаженно отражались в зеркале самовара. Дарья видела эти искаженные лица дам, валетов, королей. Всего отчетливей выделялась красная масть. Ее выпало больше всего. Павловна красный цвет любила, но вот и в красном, радующем ее глаз цвете Прошиха высмотрела печаль.

— Про печаль и дорогу не хуже тебя знаю,— сухо, почти враждебно сказала старуха.— Могла бы и не каркать. Смертушка, вот она, из-за дверей манит. Слетайка за Вассой Берендеевой. Проститься хочу.

— Помешкала бы. Че спешить-то? Не замуж,— пыталась уговорить ее Прошиха, однако, уловив Дарьино нетерпение, с готовностью подчинилась и метнулась на улицу, но, что-то вспомнив, опять вернулась.— Даня, к

тебе народ зачастит теперь. Половики-то завернуть бы, чтоб не утоптали.

— И на половики обзарилась? — зная Прошихину корысть, усмехнулась Дарья, потом сурово напомнила: — Беги за Вассой-то! Не то и самовар отниму.

— Мне че, мне самовар твой без надобности. Беру как память подружкину,— обиженно попеняла ей Прошиха, но самовар все-таки прихватила и шустро юркнула в сенки.

4.

И опять вошла тишина. Она вошла так тихо, что Дарья не расслышала ее крадущихся шагов, лежала, опустив залитые синей немотой веки. Очнулась в сумраке и, открыв с натугой глаза, увидала ее невесомые серые крылья. Лица, рук, всего тела коснулись паучьи, ласково-коварные щупальца, уминающие само время. А на стене качались лиловые пятна. Потом, когда очертания предметов прояснились, лиловые пятна оказались портретами. Сын старший, Александр, как и всегда, застенчиво усмехнулся, сморгнул густыми ресницами и выжидательно уставился на обессилевшую Дарью.

— Ну, мама, че лежишь-то? Захворала, че ли?

— Обидели меня, Санушко! — пожаловалась старуха, пробуя приподняться на лавке. Это не вышло, и Дарья снова легла и послушно сложила на груди вечно бунтовавшие против безделья руки. По синим старческим венам едва заметно струилась кровь. Дарья слышала ее слабый ток: «Ишо жива пока».

А тишина шикала: «Шк... шк...»

Казалось, что шепчет сын. О чем он нашептывает? Поди, соболезнует? Он был душевный, отзывчивый. И хоть сроду никому не жаловалась, Дарья принялась выговаривать сыну:

— Вот, сынок...— вздыхала она тише самой тишины. Тишина не дрогнула даже, только пониже опустила платок и стала клевать носом.— Из колхозу меня выдворили...

— Ли... ли... ли,— залопотало эхо сыновним голосом. Коснулось Дарьиного слуха, отлетело и затерялось в глухой тишине. Вслушавшись в нее, Дарья с укором спросила: — Смеешься надо мной?

— Но... ной... ной...

— И верно,— поняла эхо как насмешку старуха.— Че это я разнылась-то? Москва и та слезам не верит.

Теперь они — тишина и старуха — понимали друг дружку, вместе делили нелегкое свое одиночество, и ни одной из них не было обидно, что кому-то одиночества досталось побольше, а у кого-то оно было потрудней и погорше.

Сейчас одна, как большая и мудрая сова, распластав по углам крылья, повисла спокойно и терпеливо. Другая развалилась на лавке и тоже была спокойной и ко всему готовой, вслушивалась в себя, в убегающие мгновения жизни и даже мысленно не тщилась догнать их, чтобы вернуть обратно.

«Бегут и пущай бегут. Молодые уходят, а мне, старухе, сам бог велел».

— Пристала я шибко... вздремну минутку,— предупредила тишину Дарья, закрыла глаза, но вновь открыла и сочувственно посоветовала: — Ты тоже маленько сосни...

И обе они, тишина и Дарья, затаились в дремоте и не расслышали, что в дом явились дородная, пышущая жизнью и позднею красотой Васса Берендеева и с ней муж ее, Матвей Иванович.

Он был с баяном, который как раз собирался сунуть в футляр, но, заполошенно запыхавшись, вбежала к ним Прошиха с воплями:

— Ою... оюшки! Дарья-то помира-ат! Осподи! Кликала вас, кликала... не дозвалася! Ою... оюшки!

Матвей Иванович, как был с баяном, так и кинулся опрометью к Дарьиному дому. За ним, метя широким подолом, неслась Прошиха с самоваром. Бежали улицей двое немолодых уже людей, встревоженных чужой судьбою, перекликались между собой и друг друга не слышали. Каждый был полон мыслями о себе, о Дарье...

Из переулка на «Кировце» выкатила Васса. Увидав странную эту, суетливую пару — Матвея с баяном, Прошиху с самоваром,— звонко расхохоталась:

— Далеко ли, залетные?

Узнав, в чем дело, усадила обоих на трактор и повезла к Дарье.

— И не совестно тебе? — стараясь не напугать старуху громким, может быть, чуточку грубоватым голо-

сом, упрекала Васса старуху.— Без спроса, вишь ты, собралась. А ишо соседушка! Эх, Павловна!

— Поди, от дела оторвала? — любуясь гордою Вассиной статью, которой не изогнула тяжкая бабья доля, с неожиданной ласковостью спросила старуха. Любила Вассу, судьба которой не сложилась и отчасти напоминала ее собственную судьбу. И еще по другой причине любила... По сыну-то Васса родня... Володька внуком приходится.

— На склад ехала. Смотрю, эти пылят навстречу. Думала, на гулянку собрались, а тут вон че деется...— Васса оглянулась: из «этих» остался один Матвей Иванович. Прошиху словно ветром сдуло. Знала, наверно, что разговор о ней пойдет.— Самовар-то Прошиха у тебя выцыганила?

— Сама отдала... За ворожбу.

— Путное хоть наворожила-то?

— Дорогу дальнюю, крестовый дом.

— Кому веришь? — гневно выгнула долгие брови Васса.— Прошиха сроду правды не говорила.

— Тут все правда, Васса,— погладив холодеющей рукой горячую Вассину руку, возразила старуха и поманила пальцем баяниста.— Матвей, ты много чего видал... скажи,— Павловна застенчиво помялась, впилась ледяными пальцами в Вассино запястье: «Не осуждай, мол, дуру старую. Не ко времени спрашиваю».— Скажи мне вот че, Матвей: бог есть?

— Вопрос двойственный, Павловна. Одни сказывают: есть, другие начисто отвергают,— уклончиво и не сразу ответил Матвей Иванович, вспомнив, что читал про одного выдающегося академика, который до последнего часа верил. Если уж такой человек к богу привержен, что говорить о нас, темных?

— Сам-то куда склоняешься? — настойчиво допытывалась Павловна.

Неожиданным становится человек перед своей кончиной. Все скрытое в нем сразу вдруг проявляется, а ты не готов к этому скрытому, доселе тайному его обличью. Ты все еще принимаешь его таким, каким знал всегда. Взять ту же Павловну: сроду не видывали, чтоб молилась. Сейчас вот о боге вспомнила. Худого в этом ничего, конечно, нет, но как ответить, когда сам не знаешь. Вот спросили бы: есть или нет солнце? Тут Матвей Иванович и в пасмурный день ответил бы без запинки: «Есть,

есть солнце, милые! Как же человеку жить без солнца?» Иная статья — бог... Бог для Матвея Ивановича — сплошной туман. Однако отвечать надо. Павловна не зря спрашивает. И, набравши воздуху в легкие, Матвей Иванович с серьезной обстоятельностью начал растолковывать свое отношение к религии:

— Сам я токо на руки полагаюсь. Бог за меня к станку не станет. И баян не изладит, ежели такая нужда возникнет. А руки — ничего, пока кормят.

— Жалко,— пригорюнилась Дарья Павловна и так сильно стиснула веки, что выжала из глаз две слезинки.

— О чем жалкуешь?

— Да все о боге, о том свете. Надеялась сыночков там повидать. Выходит, не повидаю,— и, отрешаясь от потусторонних мечтаний, сурово сомкнула темные губы. Лик стал четким, иконным. Матвей Иванович переглянулся с женой, пожал плечами. Полежав с минуту, старуха разомкнула губы, медленно и отчетливо сказала: — Пристала я шибко. В сон клонит. Может, сон-то этот последний. Ежели не свидимся, Матвей, прости за все, чем обидела.

— Бог простит, Павловна,— привычной формулой отозвался Матвей Иванович, потом, спохватившись, сдержанно посоветовал: — А все же не суетись. Время терпит.

— И я так считала, Матвей. Да вишь — не терпит. Душа засобиралась.

— Не свои слова говоришь, Павловна. Чужие слова,— строго возразил Матвей Иванович.

Но и он, и старуха, и тайком смахнувшая слезу Васса — все трое знали, что Дарья Павловна права. Такими словами не бросаются. Потому старуха оставила их без внимания.

— Сыграй мне, Матвей... Сыграй про то, как наши бабы ждать умеют,— сказала она, и опять холодные пальцы ощутимо и жестко стиснули Вассину руку. Васса ответила ей легким пожатьем: «Все поняла, Павловна. Все поняла, родная моя! Это про нас с тобой...»

— Может, попозже? — растерявшись, спросил Матвей Иванович. Играть умирающим ему еще не приходилось.

— Играй, когда просят,— зыркнув на него огромными черными глазищами, строго велела Васса.

Старуха пожатием руки ее успокоила.

— Попозже-то отходной придется играть,— улыбнулась она ненужной деликатности баяниста.

Васса отвернулась, прижала фартук к глазам.

Матвей Иванович заиграл, быть может, самую известную когда-то и одну из самых забытых теперь песен. Старуха прерывисто и чуть слышно запела:

Летят утки, ох,
И два гуся.
Кого люблю, ох,
Кого люблю — не дождуся...

Дарья пела и не замечала, что по серым щекам текут холодные светлые слезы. Через них, наискосок разрезав лицо, скользнул луч солнечный, ударился о старое овальное зеркало, и Васса увидела там себя, растерянную, жалкую, рядом — мужа, перебиравшего лады баяна, и огромную неподвижную руку старухи. Давно, в детстве еще, видала в учебнике географии картинку. Там путник просунул голову через горизонт и смотрит: что же по другую-то сторону горизонта? Не так ли и Васса глядит сейчас в иной мир, в тот самый мир, куда одной ногой уже ступила ее старшая подружка. Взять бы да вернуть ее оттуда еще лет на десять. Для чего так рано умирать хорошим людям? Хорошие люди жить обязаны.

Вот смолк баян, ушла песня, а старуха еще перебирала губами, словно пробовала на вкус последние, очень близкие для нее слова. Потом сомкнула жесткий рот и отвернулась к стене.

Васса подала мужу знак: «уходи». Он осторожно стиснул баян, на цыпочках выхромал, оставив дверь незакрытой. Старуха, видно, этого и ждала и тотчас спросила Вассу:

— Санушка-то хранишь в сердце?

— Им и жила все эти годы... Им да Володькой,— тотчас отозвалась Васса. Говорили они так, словно никогда этой темы не касались. На самом же деле касались множество раз, и не просто касались, а всю изговорили ее, бесконечно вспоминая смешное и серьезное, главное и мелочи. И все им было важно и дорого, как важны и дороги были навсегда ушедшие люди.

— И молодость-то проглядела,— вздохнула старуха, как бы и на себя принимая часть пассивной ответствен-

ности за упущенные прекрасные годы.— Пролетела она, а вспомнить нечего.

— Есть, есть что вспомнить,— покачала головой Васса и улыбнулась сквозь счастливые слезы.— Была ночь... одна ночь перед отправкой... Сашиной. Повторись та ночь — и ничегошеньки мне больше не надо!

— Не повторится,— отрезвила старуха, отрешившаяся от пустых мечтаний.— Нет Санушка. Есть Матвей. Держись за его, Васса. Крепче держись! И Володьку одергивай. Чтоб не шпынял мужика. Разбаловала его.

— Как не баловать — один он у меня, Сашина кровиночка,— с несокрушимой ласковостью возразила ей Васса. И хоть в голосе ее, потеплевшем от воспоминаний, была мягкость, смысл доказывал всю верность прошлому, напоминал о тщетности переубеждать, коль вся жизнь не смогла переломить ее убежденности.

Дарья для вида нахмурилась: в душе порадовалась тому, что Васса, ее Васса все та же, и через много лет после гибели Александра ни с кем не сблизилась, хотя за это ее никто не осудил бы. Потом, совсем недавно, когда стал сватать Матвей, Васса отослала его к старухе: «Как Павловна скажет, так и будет».

— Дура ты дура,— ласково журила ее старуха.— Разе мне за тебя решать. Сама не девочка. Седина уж на висках-то вон!..

И теперь Дарья для вида выражала недовольство, но втайне гордилась, что Васса из самых верных русских женщин и что теперешнего мужа своего, Матвея Ивановича, она приучила чтить светлую память погибшего на войне Александра. И к Володьке его сердце повернула.

— Стишки сочиняет, а в голове ветер. И покрасоваться горазд,— ворчала на внука Дарья.

— Перебродит! Каки его года!

— Ты вот что, Васса, ты письма родне напиши. Может, приедут... в кои-то веки,— опять отвернувшись, сказала старуха. Видно, стыдилась, но не того, что просит Вассу, а родни, совсем забывшей о ней. И Васса поняла, что только ей Дарья могла доверить такое поручение. Никто из деревенских не должен знать, что в последний свой час Дарья изъявила желание повидаться с родственниками.

— Может, и приедут,— с сомнением сказала Васса и,

разыскав бумагу и карандаш, устроилась за столом, накрытым гарусной скатертью. Бумага под скатертью прогибалась, рвалась. Васса оголила столешницу.— Кому первому-то?

— Да хоть зятю. Он ближе всех живет.

— Не было зятя, и этот не зять. Слыхала, снова женился. А Фешу-то, года не прошло, похоронил.

— Я ему не судья. Он не ответчик,— обрезала старуха.

— Ты не судья. Я не судья. Тогда и законы ни к чему выдумывать.

— С законом он ладит. Иначе бы объездчиком не назначили.

— Что взятки берет — законно?

— Неуж давала?

— Дала бы. Не ту взятку просил,— вдвое сгибая листок, рассмеялась Васса.— Я по ошибке в дроновских лесах сено косила... он углядел.

— Зоркий!

— Где не надо. А где надо — глаза прищурит. Ну ладно, диктуй,— сказала Васса и начала с традиционного приветствия, дав время старухе собраться с мыслями. Та молчала, словно не могла решиться.— Мы вот что дальше напишем,— предложила Васса сама.— «Пишу тебе, Савватей Федорович, свое последнее письмецо. Жизнь моя догорает свечкой...»

— Чувствительно шибко,— раскритиковала старуха, не любившая никчемных и жалостливых слов. Слова только слова. Важно то, что за ними кроется.

— Ну, ежели это не проймет,— уступила Васса,— тогда сочиняй сама.

— Ты ему проще пиши. Что пронять может. «Худо мне, Савватей. Дышу на ладан. Дом и хозяйство, похоже, без присмотра останутся...»

— А, щас накатаю,— поражаясь быстроте, с которой старуха нашла безошибочные слова, бьющие по главной страсти скуповатого, а подчас и просто жадного зятя. От себя добавила: «Ты все же какая-никакая...»

— «Какая-никакая» зачеркни. Обидится.

— Проглотит. Тебе с ним детей не крестить.

— А все ж таки убери. Зла не хочу уносить в могилу. Надо по-доброму уйти.

«Ничего, стерпит,— подумала Васса, но сделала вид, что вычеркивает. А получилось вот что: — ...какая-ника-

кая родня. По дочке зятем приходишься. Попроведай, пока жива. А то все чужим людям достанется».

— Теперь-то уж наверняка проймет,— усмехнулась Васса.

5.

Когда принесли письмо, зять с женою сверяли по таблице лотерейные билеты. И был у них серьезнейший разговор. Жена тем не менее отвлеклась и распечатала старухино послание. Зять слушал ее вполуха и все тыкал пальцем в таблицу:

— На единичку, знашь-понимашь, не сошлось! А то бы на дурика мотоцикл выиграл! — бормотал он, проклиная свое невезение.

— К чему он тебе, мотоцикл-то? — говорила жена пришепетывая. Была она чуть-чуть рябовата, кончик языка то и дело высовывался через редкие верхние зубы, отчего получалось пришептывание.— Поедешь да разобьешься. Вот уж штука — мотоцикл. Кабы что путное!

— Дура-баба! Я бы деньгами взял! — с треском дергая себя за негустые, от переживаний вспотевшие волосы, стонал зять.— Один номерок всего-то! Ууу!

— К старухе-то поедешь? — напомнила жена, снова углубляясь в письмо. Письмо Дарьино тронуло ее безысходностью. Всех, конечно, не пережалеешь. А все же... все же хорошая была старуха. Но зять, точно глухарь на току, ничего не слышит.

— У тя старых облигаций не сохранилось?

— Были где-то... ежели не выбросила.

— Ополоумела баба! Ноне, сказывали, третьего займа играть будут! Моментом разыщи!

— Скоро ее скрутило,— шарясь в своем приданом, вздыхала жена и все убирала со лба жидкие белые волосы. Но стоило склониться над сундуком, и они снова свешивались и застили глаза.— В середу на базаре виделись. И — вот-те на, засобиралась. Ох горюшко!

— Хорошего понемногу,— одеваясь, вымолвил зять, обуреваемый иными заботами.— То ли пару запрячь, то ли на одной ехать?

— Тут недалеко,— найдя наконец засаленные и до ремков истрепанные облигации, сказала жена, кинув хозяину стянутую бигудевой резинкой толстую пачку.— На одной доскачешь.

— Обратно-то непростой поеду,— прикидывал зять, бывший человеком предусмотрительным и хозяйственным.— Поди пригляжу чего.

— Коснись меня, дак я бы не взяла. Права у нас этого нет, если по справедливости. Помрет — будет по ночам являться: «Мое носите! Мое носите!»

— Но! Поменьше тут рассусоливай, знашь-понимашь. Да, мотри, за коровой приглядывай. Копытница у ей... И чтоб куры у соседей не клались. Че ишо-то? Ага, вот! Картошку перебери в погребе. Прорастать начала... Все, кажись? — зять докрасна тер напряженный лоб, вспоминал, какие должен оставить жене наказы. Более ничего не вспомнив, ворчливо сказал: — А че забыл, сама додумаешься. Не первый раз замужем.

Вышел в ограду и, взяв под крышкой уздечку, отправился на конный двор за лошадьми, всем по пути рассказывая, какое стряслось с ним несчастье и как тяжело он это несчастье переживает. Люди верили, хоть и не слишком за прижимистость и корысть уважали. Но о плохом в беде редко кто вспоминает. Не вспомнили и сейчас. И он шел и жаловался на горькую свою судьбину, а всяк встречный сочувствовал бедному человеку, у которого накатилось такое горе.

6.

А Васса, дав передышку старухе, написала еще одно письмо.

За оградой на малых оборотах работал трактор, жег горючее. Васса вспомнила о нем не сразу. Заглушив мотор, воротилась в дом и, пока старуха дремала, успела накормить пшеницей куриц, голубей, натолочь вареной картошки свинье.

— Спишь, Павловна? — спросила, управившись.

— Думаю,— не оборачиваясь, отозвалась старуха.— Как все ловко у тя выходит. Глазом моргнуть не успела, а ты уж все спроворила!

— Ну что ж, поставь против моей фамилии галочку. Все же плюс в трудовой биографии,— усмехнулась Васса, подсаживаясь к старухе. Взглянула на часы, ужаснулась: «Три часа просидела впустую! И ничем же не помогла».— Встань-ка,— вдруг решила она, подмигнув самой себе.

Усадив Дарью, обула на нее вельветовые башмаки, зашнуровала и, хоть та противилась, оторвала ее от лавки.— Маленько походим. Ну, шагай помаленьку! Вот так, вот так! Че оробела? Шагай, не отлынивай! Вдруг да расходимся? Кровушка разогреется...

— Эко выдумала! — проворчала старуха.— Кукла я те, че ли? Пусти!

— Заогрызалась! — посмеялась Васса, обняв старуху и ведя ее по кругу.— Стало быть, пар-то еще не весь вышел.

— Да уж, видать, вышел...

— Не унывай, свекровушка! Ногу чуток набодри. Во! Дальше все само собой пойдет. Набадривай, ну!

— Отпусти ты меня Христа ради,— взмолилась Дарья, обливавшаяся холодным липким потом.— Отпусти, пока совсем дух не вышибло.

— Тебе бы в поле щас... на вольный воздух... там сразу душа воспрянет,— наговаривала Васса и продвигалась шаг за шагом.— Не может она, душа крестьянская, погаснуть, когда вокруг все звенит, к солнышку тянется. Кровушка закипит, руки-ноги движенья запросят. И — оживут, когда вспомнят, где трещины нажили, какие мозоли набили. Айда, Павловна, в полюшко, а? Я как раз новехонький «Кировец» получила. О-от зверюга! Чистый дракон из сказки! Хоть сколь на него грузи — уволокет, не пожалуется. Нам бы в войну такой тракторище! Не надсажались бы наши бабоньки, спинушки свои не гнули. Держись, свекровушка! Сядем щас на трактор на мой да как рванем по деревне,— наговаривала Васса и вела старуху вдоль стен, мимо портретов детей и мужа, мимо кровати за занавесом, мимо овального зеркала, телевизора, витых венских стульев, купленных в незапамятные времена. Хотела было провести по второму кругу, но Павловна разгадала ее маневр и обессиленно плюхнулась на лавку.

— Погоди ты, суета! Дай оклематься! — ощущая в теле необоримую усталость, взмолилась она. Взглянула на синие с набухшими венами руки — вены жили от тока крови. «Гляди-ко, дышу ишо!» — отметила старуха и улыбнулась Вассе, отчаявшейся от бесполезных усилий.— Думаешь, шибко мне помирать охота? Пожила бы с душой, ленок помяла. А пуще всего на ребятенок бы досыта нагляделась,— одышливо бормотала старуха, заваливаясь на бок.

— Больше-то никому писать не надо? — помогая ей улечься, спрашивала Васса. Ладонь ощутила потеплевшую кожу, редко и слабо бьющееся старое сердце. Васса склонилась над старухой и поцеловала ее в чуть-чуть посветлевшие губы.

— Племяшам отпиши,— сказала Дарья, проваливаясь в краткий сон. Сон был секундный, как обморок, и все же это был не обморок, а краткий, но столь необходимый ее безмерно уставшему телу отдых.— Поди не забыли...

— Сами-то пишут?

— Наверно, позыва не было. Племяш шибко занятой у меня, доцентом в институте, да ишо бабочек собирает, жужалиц разных.

— Когда харчи твои в войну жрали — был позыв? За тот военный харч могли бы хоть на одно письмишко расщедриться,— возмутилась Васса и, сильно нажав на грифель, сломала карандаш.— На жужелиц-то есть время.

— Кабы я в чинах да на виду была...— усмехнулась старуха без обиды, достаточно глубоко изучившая за долгий век человеческую натуру.— От безграмотной старухи велик ли прок?

— Ежели так, пускай морщатся,— сказала Васса. И, зачинив карандаш, одним махом накатала племянникам Дарьи письмо.

7.

«Здорово ли живешь, племянничек? — писала Васса от имени старухи.— Пишет тебе тетка твоя, Дарья Цветкова, которая всю войну содержала вас с Капой. Теперь вот собралась в бессрочную командировку. Выбери, Николай Ильич, денек, попроведай старуху. Родни-то у меня — ты да Капитолина. И то, наверно, давно думать обо мне забыли. Помнишь, поди, как молочко от Пестрены зузили, как хлебушко здешний уминали? Приезжай, племяш, схорони меня по-христиански. А то и глаза прикрыть некому. Дорогу в оба конца оплачу. Ко всему, может, из имущества что облюбуешь. Облюбуешь — бери, пользуйся на здоровье. Мне для хороших людей ничего не жалко. К сему остаюсь пока живая твоя тетка».

— Ну и стиль,— складывая письмо, сказала племяшева жена Геральда Борисовна.— Что, непременно нужно ехать?

— Долг вежливости.

— Тогда поедем вместе.

— Превосходно, превосхо-о!..— обрадовался новой случайной возможности улизнуть с профсоюзной конференции Лумпов.— Извести, пожалуйста, Капу. И Груздовскому позвони.

— Сначала пообедаем,— все отметая, сказала Гера, но Лумпов ее не слышал.

— Махаон! Махаон! — напевал он счастливо, достав из коробочки гордость всей своей коллекции.

Перед ее глазами всегда волосы — рыжие, русые, черные, седые, редкие, густые, прямые и кучерявые, жесткие и шелковистые. И еще затылки, и торчащие уши, а в зеркале отражались лица. Но лица Капа не запоминала. Она чаще всего видела в зеркале свое лицо, красногубое, веселое, в образцовой оправе золотисто-каштановых волос. Клиенты охотно садились в ее кресло, столь же охотно бросали рубль-полтора, благодаря парикмахершу за прекрасную стрижку. Стрижка чаще всего была самая заурядная: Капа на всякого не тратилась, тем более что клиентов у нее было хоть отбавляй. Иные часами ждут, пропуская свою очередь, чтоб угодить к этой привлекательной яркой женщине. Зная, что план все равно будет выполнен, Капа не спешила, переговаривалась с лилово-седой соседкой справа, иногда бросала убийственно-меткие реплики левой соседке.

Но вот в парикмахерскую вошел молодой, безупречно отутюженный человек с идеальным пробором, и Капа мгновенно вытряхнула из кресла своего клиента. «Успеть бы! Только бы успеть!» — стремительно срывая с недостриженного клиента усыпанную волосами простыню, думала она. Клиент-писатель из местных сунул ей трешку и, забыв куртку на вешалке, вышел. А Капа уже усаживала в свое кресло молодого человека в белом костюме, выделив почему-то его из всех прочих смертных.

— Как вас? — защебетала она, нежно касаясь затылка, шеи, поигрывая твердыми хрящиками ушей своего кумира.— Простите... побрить? Постричь?

— И побрить, и постричь,— звучно вымолвил молодой человек, и на него заоглядывались.

«Надо же! — завистливо подумала седая.— Капка самого Максудчика отхватила! Дурам всегда везет».

А Капа уж заворачивала драгоценное горло Максудчика в самые-самые хрусткие простыни, подбирала новые расчески, лезвия, только что купленную машинку и еще не початый одеколон. Попутно успела опустить спинку кресла, поскольку очередной ее божок был небольшого росточка.

«Ишь как расстилается!» — сердито отметила соседка слева, поворачиваясь к сопернице спиной. Максудчик этот маневр заметил, снисходительно улыбнулся в зеркале, и Капа ответила тем же. Клиент был заезжим эстрадным певцом, и Капе выпала высокая честь обслужить его. Она совершала это с величайшим подобострастием, о котором только что выставленный за дверь лысоватый писатель не смел и мечтать. Капа не читала романов, за исключением тех, в которых писали про Штирлица. Зато она не пропускала гастроли заезжих эстрадных звезд и почти от каждого получала в дар диски.

— Капка! К телефону! — грубо выкрикнула уборщица Настя, прервав щебетание Капы в самый неподходящий момент.

— Между прочим,— заметила ей Капа,— меня зовут Капитолина Ильинична.

— На-адо же! А я и не знала...— пожала плечами Настя, не признававшая никаких чинов.— Ишо и корчит из себя кого-то... выдра! — добавила она на всю парикмахерскую. Соседки — лиловая и черненькая — злорадно хихикнули. Идеально подстриженный затылок певца чуть-чуть шевельнулся, но Капина ладошка его успокоила.

— Извините... Пардон,— пропела она гипнотизирующему ее затылку.— Я на минуточку.

— Ничего, пожалуйста,— вежливо кивнула эстрадная звезда и слегка вздернула выразительные брови.

— Здрасьте, здрасьте, Геральда Борисовна,— узнав родственницу, защелкала Капа и, понизив голос, грубо выругалась.— Че ты не вовремя-то, цыпа? Кыш, вобла старая! — прикрикнула она на уборщицу, высунувшуюся из-за ширмы, и успокоила Геру: — Это я не тебе. Тут баба Яга у нас... везде носопыру сует. Тетушка? Че ее угораздило-то? Могла бы и попозже... Да ты че, мать! У меня клиент,— и страшным шепотом, полным священ-

ного ужаса, призналась: — Сам Максудчик. Да, тот самый. Ничего, уедем следующим поездом. Чао! Встретимся на вокзале.

Выразительно виляя бедрами, Капа самым длинным путем прошествовала к своему рабочему месту, задев по пути Настино ведро и уронив щетку.

— Че как алкаш на буфет прешь? — вежливо поинтересовалась Настя, подбирая ведро и щетку.

8.

«Вот уйду я... вся, что ль, уйду-то? Ни следочка на земле не останется? — размышляя о неизбежной кончине, спрашивала себя Дарья.— А ведь было что-то... мужа любила, детей рожала. Травы косила... И уйду... Это че же еко-то? Чисто вся? Без следа? Зернышко по весне и то зеленым ростком всходит. А я взойду крестом деревянным. Разе я хуже какой-нибудь воробьихи? Она яичко выпарила, птенца подняла... живет воробышек, чирикает. Хоть раз да мать-воробьиху вспомнит. Меня — некому. Все ушли... бесследно. Живы, покамест в памяти-то. А когда памяти вместе со мной не станет, тогда что?»

И так обидно, так горько стало старухе, что внутрь, в холодеющую душу мощным потоком хлынули слезы, задушили в ней крик отчаяния, и несколько капель выкатились на провалившиеся лиловые подглазья. Хотела снять их ладошкой, открыла глаза и в туманном сизом мареве увидела алое пятнышко. Это закатное солнышко посылало привет: «Не горюй, тетка! Я-то тебя помню. Моя память людской подольше».

Дарья улыбнулась пятну, забыла про слезы. Оно напомнило ей что-то давнее, очень светлое, связанное со счастливой и желанной болью. Что же?..

На потолке опять зазвенела муха, должно быть, угодив в паутину. Наплел паук восьмигранников, а старые Дарьины глаза не доглядели, и муха оплошала, сунулась сдуру и теперь взывает о помощи. А кто ей поможет? Некому... Встать, что ли?

Но хлопнула дверь и знакомые, пахнущие соляром ладони опустились на Дарьин лоб.

«Васса,— с нежностью подумала старуха.— Дал же бог человеку такое щедрое сердце!..» Вслух спросила:

— Муха, что ли, жужжит?
— Пускач на тракторе. Матвей заводит.
— Заводит, а ты у меня рассиживаешься. Шла бы!
— Пойду, а потемну опять загляну,— накрыв Дарью плюшевым покрывалом, Васса, оглядываясь через плечо, вышла и неслышно прикрыла избную дверь.

Старуха пыталась вспомнить, на чем прервала ее мысли Васса, пыталась, а память рвалась, как старая нитка, выхватывала из минувшей жизни какие-то разноцветные лоскутья: то град невиданной силы, с ветром — крышу тогда сорвало с дома, убило соседа Манушу и унесло по взбурлившей реке гусей; то шепот под тополем на скамеечке... Васса с Санушком шепчутся... Шепот утих, а поцелуй — на всю улицу. То баню парную... Сама затопила ее на второй день после свадьбы. Пришла с бьющимся сердцем и стала в предбаннике. «Как же я,— думала,— голая-то с ним мыться стану?» Свекровь заглянула в предбанник, сдернула исподницу и силком впихнула в пар, к мужу.

Пока мылись, ходила перед банным окошечком, скрипела пимами... Так явственно и теперь этот скрип слышится. Лето же!.. Видно, совсем пажороки помутились.

Вслушалась: в палисаднике скворушки запели. Проросли на акации черными стручками, поют-заливаются. Паша их, младший сынок, привечал. На плечи к нему садились и на ладошки.

— Помнишь, поди, Пашенька? И они дом наш не забывают. Каждую весну обживают скворешник. А уж сколь времени пролетело!

— ...Те-ло... те-ло...— Мнилось, портрет отозвался. Хотя знала: молчит портрет. Он — всего лишь бумага, на которой каким-то чудом сохранилось совсем мальчишечье лицо младшего сына.

— Я под копной тебя родила, сынок. Как раз в ильин день. Гроза в ту пору погремливала. И ты в грозу голос подал,— старуха зашевелилась, минуя взглядом портрет, уставилась на стену, с которой уползало алое пятнышко. Вспомнила!.. Когда Павла рожала, когда извивалась под копною от боли, боясь помереть или родить мертвого, в черном, в предгрозовом небе увидала такое же пятнышко... Из неведомых высоких пространств, через хмарь, через тучу показался неправдоподобно алый краешек солнца. Едва глаза увидели эту теплую маку-

шечку, стало легче... «Не одна»,— подумала Дарья. И муки кончились: родила.

«Пришел в грозу, ушел в грозу»,— сказала сыну.

Алое пятнышко, явившееся напоследок, весело заплясало. И Дарье показалось, что сын ей кивнул. Она и сама кивнула Павлу. Пятно исчезло. Замолкли, должно быть, скворцы. Но замычали коровы. Пастух, пригнавший их с поскотины, выругался на всю улицу, хлопнул бичом. Потом загремело кольцо калитки...

«Пестрену мою загоняют»,— угадала старуха и улыбнулась тому, что так четко видит и слышит все, что делается в родимой деревне: сейчас на дороге пыль поднялась. Пахнет парным молоком, теплой жеваной травой, и мошки над коровами вьются. А за поскотиной, над погостом, опускается солнце, облив багрянцем березовый колок. Там костяника, круглая, как куриный глаз, красная, саранки, пробиваются через травы первые волнушки. На большой муравьиной куче лошадиный череп. Кто-то поставил его торчком у березы, муравьи облюбовали и строили в нем жилище, натаскав по веточке, по травинке большой курган. Стоит голова пастью вверх. В глазницы, в оскаленный рот заползают бесстрашно маленькие черные труженики, тащат на себе немыслимые грузы, куча растет. Рядом с жизнью — смерть. Ничего страшного. Так мир устроен.

Вздохнув, старуха улыбнулась и провалилась в тихий, почти бездыханный сон. Над нею жалобно ныл комар, видимо, впущенный Вассой. Комар опустился на сморщенный подбородок, вонзил в дряблую кожу острое шильце, но, жалобно вскрикнув, взлетел. Может, кровь была холодна? Говорят, стариков комары не кусают...

9.

Когда дома на замки не запираются, есть, значит, у людей друг к другу доверие. В деревнях этого доверия больше. В городе человек порой запирается от шума, от суеты, а бывает,— и от себе подобных. И живут рядом, через стенку, люди год, десять и двадцать лет и не знают, как зовут соседа. Умрет сосед за стенкой, а сосед живой будет слушать радио или читать газету.

Деревня доверчивей и проще. В ней сохранились еще остатки непосредственности, остатки земной человечьей

близости. Иной раз и нежеланный гость порог переступит, а ты привечаешь его — таков уж обычай хлебосольных моих односельчан.

Вот и Юшкин пришел незваным и вовсе не затем, чтоб опрокинуть рюмашку-другую... По деревне полз слух...

— Мне Прошиха сказала, дескать...— начал он робко, приближаясь к старухе мелкими осторожными шажками.— Она сказала, что ты это самое...

Дарья, однако, не отозвалась. Спит или нежива?

— Некрасиво получается, Павловна! — выговаривал Юшкин дрожащим голосом.— Смерть, конечно, личное дело каждого. А именные самовары раздаривать не положено.

И — снова молчание, которое бригадира испугало. Как бы ни ссорилась с ним старуха, сколько бы резких и неприятных слов ни говорила, в глубине души своей Юшкин уважал ее и, быть может, даже любил по-своему. Слова ее всегда были справедливы. Нечасто теперь встретишь человека, который скажет своему начальнику все, что о нем думает. Скажет как раз наоборот, чтобы вдоль шерстки погладить. Павловна не такова.

— Бьешься, бьешься, как рыба об лед,— пенял Юшкин, украдкой оглядывая недвижную Павловну,— а вы не цените. Щас вот ни с того ни с сего помирать надумала. Да хоть бы через неделю, а то прямо в день выхода на пенсию. Вся торжественность насмарку. Павловна! И вот опять Юшкину хлопоты!

Страшась грядущего, он попятился к порогу и все говорил, говорил. Знал наверняка, что не восстанет теперь Павловна, не начнет его отчитывать, а все же боялся чего-то, еще не узнанного им до конца. Может, смерти боялся, которая рано или поздно посещает каждого.

В ограде отдышался, сел на завалинку, закурил. В пригоне шлепала лепешками корова и тяжело вздыхала, словно понимала, что хозяйка уже не выйдет к ней. Чуть слышно переговаривались на насесте куры, тоненько взвизгивала свинья.

«Вот уходит человек, а живность остается,— думал Юшкин, затягиваясь сигаретой.— Придется, наверно, в колхоз забрать...»

Он обошел двор, поискал досок и с некоторою

опаской вернулся в избу. Здесь было уже темно, и Юшкин, отыскав на стене выключатель, зажег свет. Насвистывая для смелости «Прощание славянки», приблизился под этот марш к старухе.

— Ну и росточек,— сказал вслух, обмеривая Дарью кургузыми четвертями, не притрагиваясь, однако, к ней, а на расстоянии.— У меня и досок таких не найдется.

Обмерив и записав в блокнот исходные данные, принялся размышлять, как быть с гробом. Есть плахи половые, долгие. Они для гроба тяжелы. Доски легки, но коротковаты.

— А, ладно! — решил Юшкин.— Придумаем что-нибудь!

Когда бригадир исчез, Дарья медленно открыла глаза, но тотчас зажмурилась: слишком яркой была лампа. Давно собиралась сменить, да в сельпо подходящих ламп не продавали, а в район выбраться не удосужилась. Слышала она все излияния Юшкина, но глаз не открыла.

— Вот и размер сняли,— пожаловалась мужу Дарья. Федор никак на это не отреагировал. Глядел на нее с прежней незабываемой улыбкой, молчал.— Че молчишь-то? Жил — молчал, помер — молчишь...

В ответ — видно, сбивалось напряжение — заморгала лампа, и, опалив лапки о нее, затрепетала белая бабочка. Дарья видела утром эту бабочку на окне, забыла о ней и вот сейчас пожалела, что не успела выпустить ее на волю.

10.

Ворота заскрипели громко, властно, словно приехал хозяин. «Ага,— отметила старуха со спокойной улыбкой,— сама явилась. Ну вот, отмаялась...»

Сложила руки и прислушалась к себе, но век не смежила. Решила еще раз взглянуть на детей, на мужа, проститься с жилищем, в котором прожито более полувека. Еще подумала о том, кто будет копать могилу. Мужикам-то заведомо уплатить надо, по бутылке на нос поставить, чтоб худо не поминали. Вот колода старая! Забыла наказать Вассе. Вон там, за божницей, деньги. И место себе не выбрала... Хотелось

лечь рядом с родителями, на бугорочке, над яром. В ногах у отца черемуха, Дарьей посаженная. В головах — сирень. Вокруг материной могилки четыре березы. Так я уж за березами бы легла, рядом с доченькой моей невезучей, с Фешей. Будем слушать с ей, как родничок в яру названивает, как бурлычут лягушки, а иной раз сядут на омуток залетные утки. Глянется им водица родниковая! Она и мне шибко глянулась, ознобная, светлая. Зачерпнешь ладошкой — все трещинки, все вмятины на коже видать, а сверх воды солнышко серебрится. Ладошка ноет, так студена даже летом вода родниковая, солнышко колышется, играет, колышет взятую воду, словно внушает: «Пей, бабушка! Пей на здоровье!» Оно, солнышко-то, нежадное. Все тепло свое земле отдает.

— Я вот доченьке мало тепла дала. Уехала Феша лет с четырнадцати в техникум на бухгалтера учиться. Другие-то все в города уезжают после окончания, Феша домой воротилась. А через год, когда война кончилась, вышла замуж за Савватея. Липкий, сладенький такой мужичонка. До женитьбы мужика счастливей не было. Как оженился, так всю истинность свою показал. И жаден, и жесток оказался. Навалил на Фешу столь работы, а здоровье-то у ей хлипкое. Однако не жаловалась. Сроду единого стона от ее не слыхивала. И вдруг в сорок лет призналась: «В груди у меня давит. К фельдшеру сходить, что ли?»

— Черт те доспеется,— буркнул зять, маявшийся с похмелья. Накануне отмерял деляны под дрова, наугощался.— Шевелись давай, скоро уж коров погонят...

Пошла Феоктиста корову доить, с крыльца спустилась и села. Раньше матери, христовая, померла. А велики ли годы-то? Сорок без трех месяцев только...

— Тпрру! Стоять, шельма! — послышалось из ограды.

Голос знакомый. Видно, дошло до зятя письмо. Забыла, что и ждала его. Коль приехал, проститься с им надо. Токо вот что это? Лечу куда-то... С лавки далеко ли, а я лечу и лечу...

Старуха стремительно и долго падала вниз, и от этого падения захватило дух. Измученная бесконечным полетом, в действительности продолжавшимся какие-то мгновения, Дарья Павловна впала в забытье, а минутою позже в горницу втиснулся зять.

Умел он быть тихим и приятным, как все двуличные люди. Вот и щас мурчит безобидным котенком, будто не он это Фешу угробил.

— Здорово ли живешь, мамынька?

Не дождавшись ответа, откашлялся, словно набирался смелости, тихими шажками прокрался к старухе.

— Теплая,— тронув за руку Дарью, прошептал зять.— Эко дело, эко дело! — пригорюнился он, зная, что у смертного одра люди должны изображать скорбь, если даже ничего при этом не чувствуют.— Да и то сказать, какая это жизнь? Захвораешь — присмотреть за тобой некому.

Зять растрогался, всхлипнул и полез в карман за платочком. Слеза была искренной, но не о Дарье, о себе. Тоже, мол, под богом живу. Стряхнув мутную, почему-то лишь из одного глаза выкатившуюся слезу, зять аккуратно свернул клетчатый и почти свежий платок, разгладил слегка загнувшийся на нем уголок.

— Лежит-полеживает: ни заботушки, ни работушки. А мне жить да маяться,— сетовал зять, и глаза привычно оценивали домашнюю обстановку: «Зеркало вроде ничо, старинное, знашь-понимашь. Теперь таких не делают. Стол тоже ладный. Из дуба, кажись. Ну да, из дуба».

Оглядев все, что было в горнице, любовно погладил телевизор, включил-выключил: «Мой!»

Заголив половик, пощупал плахи: «Половицы-то исхудились... щель на щели, знашь-понимашь. А потолок прочный ишо...» — для верности взобрался на стул, простукал кондовые потолочины: «Да, умели строить отцы наши!»

Он, верно, долго бы еще изучал теперь принадлежавший ему дом, но услыхал шаги и, легко соскользнув со стула, метнулся к двери.

Навстречу ему, покачиваясь и тряся головой, плюхал пьяненький Берендей.

— Спит? — спросил он оглушительным шепотом, больно стискивая локоть зятя.

— Беспробудно,— осторожно высвобождаясь, кивнул зять.

— А я стихи про нее написал.

— Неужто? — изумился зять, подталкивая Берендея к той лавке, которая была далеко от горницы.—

Я, грешным делом, подумал: уж не живой ли воды принес?

— Это почти одно и то же,— не уловив злой насмешки, толок свое Берендей.— Ты кто? — наконец удосужился и спросил, не узнавая этого сладкого и в то же время колючего человечка.

— Я-то? Человек я, божья коровка.

— Человек — не божья коровка,— решительно возразил Берендей.— Человек — это...— он надолго задумался, подбирая наиболее сильную метафору, но клюнул носом: сон брал его в плен, хмель отшибал память.— Человек — это... человек,— кое-как закончил он и, не поддаваясь сну, спросил: — Почему бледный? И голос рвется?

— Дак боязно,— едва ли не с первого слова разгадав сидящего перед ним гуляку и бахвала, с дрожью в голосе признался зять.

— Не бойся, не обижу,— крепко стиснул его Берендей.— Мы братья, мы семечки в могучем подсолнухе России.

— Семечки, знашь-понимашь, разные бывают,— опять чувствительно клюнул зять, обдумывая, как бы поскорее избавиться от Берендея.— Одни — с ядрышками, в других — кроме пшику — ничего.

— А ты не прост, не-ет, не прост! — уловив в голосе зятя нелестное для себя, погрозил пальцем Берендей.

Ему нравились люди простые, открытые, как, например, Матвей Иванович, над которым без опаски можно куражиться, давая выход душевной энергии.

— Я спрашиваю, зачем? — взвыл он, бья себя в грудь.— Если ты значим — значь, и я восславлю тебя. Если мал — расти. Я помогу тебе.

— Слышь, ты как зашел? Просто по человечеству? — осторожненько копнул зять.

— Как ты сказал? — изумился Берендей, услышав неожиданное зятево слово.— По человечеству? Это я запишу,— он вынул фломастер и черкнул на манжете рубахи.

Пытаясь встать, растроганно толкнул в плечо зятя, тот слетел с лавки, потер ушибленное место.

— Оно, конечно,— сказал осторожно зять,— оно все так. Однако и по-другому рассудить можно...

— Ты мне пришелся,— не слушая его, толковал Берендей, извлекая из внутреннего кармана бутылку.— Сядь, выпьем.

— Питье, знашь, не утешение. Уж лучше тишком посидим.

— А? Нам нечего делить. Все это наше, наше! — распечатывая бутылку, бурлил Берендей, будучи весь в себе.— Выпьем! — призвал он зятя, налив в стаканы.

— Оно, конечно, оно все так,— испугавшись его активности, зять понизил голос до шепота. Черт знает, что у этого верзилы на уме! Вот щас возьмет и все себе заграбастает. Силком с ним не справиться. Разве что напоить в стельку? — Но ежели по старшинству, дак моя доля большая,— все же попытался выговорить хоть что-то зять. Действовал по принципу: проси больше, чтоб дали хоть что-нибудь.— Тут, знашь-понимашь, я те вот на столечко не уступлю.

— И — правильно! И держись за свою долю! Не разменивай ее на жалкие медяки благополучия!

— Да уж будь надежен: возьму — не выроню! — заверил зять, успокаиваясь. Парень-то пустословит. Язык ему почесать по пьянке хочется. Ну пусть, зла от этого нет.

— Милый ты мой златоуст! — умилялся между тем Берендей, чмокая зятя мокрыми губами.— Что ни слово, то и жемчужина. Выпьем!

И зятю пришлось пригубить: «Не отстанет ведь, прилип, как смола. А раз так, я его облапошу!»

— Дак ты мне, значится, не супротивник? — спросил он вкрадчиво, тихонько тронув Берендея за руку.

— Как можно? Мы братья по духу, по крови! Горько, сладко — все пополам.

— Это как же, слышь, пополам? — испытывая сильную тревогу, начал сердиться зять на Берендееву непоследовательность.— По старшинству уславливались.

— Верно: по старшинству, а не по чину,— опять уступил Берендей.— Все верно! И ты впереди пойдешь. Так?

— Уж как положено старшему,— с видимым облегчением согласился зять, так и не уловив, о чем Берендей буровит. Дергается, как червь на иголке: начнет одно, смотришь, тут же в другую сторону повело. Путаник какой-то. С головой, что ли, не все в порядке?

— Во, отцы-то наши! — рокотал Берендей, тряс лохмами, грохотал о стол кулачищем.— Их и годы не гнут. И беды. Стихов желаешь?

— Ежели постигну — удостой,— подыгрывая ему, изобразил заинтересованность зять.

— Постигнешь! — заверил Берендей, однако тут же оговорился: — Хоть и не сразу, а постигнешь.

— Говори-говори,— потакая его пьяненькому тщеславию, ворковал зять.— Век бы тебя слушал.

— Понимаешь,— снова влепив ему мокрый поцелуй, растрогался Берендей, смахнул чувствительную слезу.— А те,— он ткнул кулаком за спину, разбил окошко. Досадливо отряхнув осколки, продолжал с неослабевающим пафосом: — В душу плюют, сволочи!

На пальцах от порезов стеклом выступила кровь, но Берендей ее не заметил и, марая кровью скатерть, другой рукой рванул ворот рубахи.

«Ну вот, начинается!» — предчувствуя долгую пьяную волокиту, поморщился зять, вслух опять посочувствовал:

— Надо же, надо же! Молодой, а сколь натерпелся!

— Хватил, хватил меду! — подкупленный искусным зятевым соглашательством, углублялся в свои страдания Берендей и уж начал забываться и привирать, искренне веря, что говорит истину.— Не печатают, сломать хотят. А я им наперекор... я вот так! — Он сжал огромный кулак, вознес его над кудлатою головой, потряс грозно и впечатляюще.

— И правильно! И стой на своем! — подливал масла в огонь зять. И огонь разгорался.— Пиши. Гумага ноне доступная. Это в войну на газетах писали.

— Спасибо, брат! — вконец осоловев, растроганно благодарил Берендей, и ему казалось, что человек этот с маленькими умными глазками, с морщеным коричневым лицом пойдет за него в огонь и в воду. Он из тех верных людей, о которых во весь голос должна трубить муза.— За веру в меня спасибо! Будут, будут еще звонить мои колокола!

За разговором не заметили, когда вошел Матвей Иванович. То есть зять-то услышал, но, стиснутый в Берендеевых объятиях, не мог обернуться.

— Здорово, Савватей,— Матвей Иванович явился с баяном.— Тещу проведаешь?

— Надо,— кое-как высвободившись из двойного Берендеева нельсона, бормотал зять.— Она хоть и тешша, а золотая, знашь-понимашь, старуха. Это я хоть кому в глаза выскажу.

— Садись, Матвей,— приказал Берендей отчиму.—

Садись и играй нам... так играй, чтоб душу вывернуло.

— Ловко ли? Хозяйка-то спит, поди? — поопасился баянист, покосившись на горницкую дверь.

— Теперь ото всякой хвори музыкой лечат,— уверившись, что Павловна не проснется, успокоил зять.— Играй.

Берендей, окончательно опьянев, слушал их вполуха и декламировал:

— Человек должен быть добр! — выкрикивал он, дирижируя себе кулаком.— Человек должен быть чист! — Не договорив, уронил голову, захрапел.

— Больно уж заводной,— осуждающе причмокнул губами зять.

— От ума,— пояснил Матвей Иванович.— Ум тревожит.

— Играй, Матвей! — Берендей снова вскинул измятое лицо с красным пятном от стакана, в который нечаянно уперся щекой.— Не давай мне спать! Для поэта сон — гибель.

Матвей Иванович, расстегнув баян, принялся тихонько наигрывать полонез Огинского, перед тем шепнув зятю:

— Дверь-то прикрой, а то Павловну разбудим.

Но нынче ему не игралось. И потому, усыпив Берендея, застегнул баян и уселся на нижний голбец. Болели суставы, видно, к перемене погоды. Чтоб не осудили, что морщится, отвернулся, глухо пробормотал:

— Сдала Павловна! В одночасье сломалась.

— Предел подступил. За предел не скочишь,— авторитетно пояснил зять. Он был опытный собеседник и потому всякую мысль хватал на лету и на всякое слово находил десяток ответных слов.

— Иные очень даже подолгу живут,— вежливо отозвался Матвей Иванович.— Вечор по радио слышал: один старичишка из черкесов полтораста лес проскурлыкал.

— Мне бы эстолько-то! — позавидовал зять.

— Куда там! Сибиряки не долговеки. Да и к чему? Надо жить по своей мерке.

— А мне, знашь-понимашь, своей мерки мало,— хорохорился зять.— Я до жизни шибко охочий!

— И все одно самого себя не переживешь. Я раньше бывало двухпудовкой крестился. Ноне чуть потяжельше вздыму — позвонки расходятся. Сижу вот на

больничном, добры люди робят вовсю... А мое дело стоит.

Матвей Иванович тяжело и горько переживал свое вынужденное безделье, хоть, правду сказать, и не совсем он бездельничал: дома рамы в окнах сменил, переставил избные двери, починил калитку и углубил в бане пол. Только все это домашнее, привык исполнять его между колхозными делами, которые, сколько помнит себя, считал всегда самыми важными.

— Ну дак че,— успокоил зять.— Стоит и ладно. Стоит — пить-есть не просит. Оно не человек, не кобыла, дело и все.

— Не человек, а для человека же... Про комплекс наш слыхивал?

— Это где кроликов выращивают?

— Но. Дак вот я там наладчиком числюсь...

— Зряшное дело! — осуждающе махнул зять рукою.— Надумали тварей каких-то плодить. К чему, рассудить бы? Обдерешь — кошка и кошка. Я их, кошек-то, на дух не выношу.

— Ты это зря, Савватей: крол — зверек добрый. И на вкус аппетитный,— степенно возразил Матвей Иванович. Боль в суставах чуток убыла, он прояснел лицом и придвинулся к зятю.

— Че уж там! — задиристо привзвизгнул зять.— Погань, микроба ушастая! Вы бы че-нибудь покрупней добывали машинами-то своими: коров аль там, на худой конец, свинок. От их куда больше пользы и приятности.

— А вот наладим второй комплекс, ежели здоровье будет...— начал и тут же пресек себя Матвей Иванович. Здоровье у него износилось вконец, и Васса настаивала, чтоб он перешел в объездчики. Зная, что Савватей всю жизнь в объездчиках, спросил у него совета.

— Тоже несладко,— вздохнул зять.— Рыскаешь, ровно пес сторожевой. Ни сна, ни отдыха,— он привирал, впрочем. Матвей Иванович, выросший в деревне, знал, что на этой должности с пупка не рвут. Потому зять тотчас же сменил тему.— Парня-то уложить надо. Рассолодел.

— Я бодрствую,— прорычал Берендей, всхрапывая.— Я всегда бодрствую!

— Кто как устроен,— не отступался от своего интереса Матвей Иванович.— Ты рыскаешь, а наш Бурла-

ков вечно табак смолит на завалинке. Че, спрашиваю, рассиживаешься? А он: «Ловить ноне некого. Не прежние времена».

— Потому и некого, что не ловит,— снова вслушиваясь (в сенках кто-то скребся), сказал зять.— У меня, знашь-понимашь, чуть ли не за каждым дельце числится.

«Прут и прут»,— подумал досадливо и толкнул от себя дверь, в которую клубочком вкатилась Прошиха.

11.

Зять был в отчаянье.

«Третья,— отметил он про себя, тут же безнадежно прикинув: — И, наверно, не последняя». Худая красная шея его взялась морщинами. Кадычок на горле нервно запрыгал. Вроде и в достатке жил всегда — хлеб и в голодные годы не выводился, поскольку был при хлебных должностях,— а вот мяса не мог нагулять. Видно, не в коня корм. Глазки, удало перебегавшие с одного на другого, остановились и намокли обидчивою слезой. «Окаянные! — бранился зять, истово взывая к богу: — Сдунь ты их, господи! А уж я те за это... я те в рожество свечку поставлю».

То ли не услышал его бог, то ли мал посул оказался — все оставались на месте. Прошиха серой змейкой сновала по избе, хитро заглядывала каждому в лицо, словно спрашивала: «Ну как она? А вы как? Барахлишко-то ишо не поделили?»

Остановившись подле стола, запоздало ахнула:

— Дева-аа! У их тут дым коромыслом!

Зять молча указал на Берендея. Прошиха устремилась к горнице, но он успел встать на пути.

— Сама-то спит?

— Храпит. Снотворного приняла,— неприязненно сказал зять, закрывая дверь на защелку.

— Мне бы на два словечушка ее.

— По какому вопросу?

— Много знать захотел. Пусти-ко! Че выстолбился? — Прошиха попыталась прорвать блокаду, но зять был бдителен.

— Сказано, спит!

— Я зна-аю! Я все-е зна-аю! — погрозила кулачком Прошиха и, сделав отвлекающий маневр, опять ринулась к двери.

Зять оказался резвей старухи, кинулся наперерез и ухватил ее за рукав. Однако вышло у них это не грубо, а наоборот, мягко, даже вроде шутливо, Матвей Иванович ничего подозрительного не заметил. Оба — зять и старуха — мило улыбались, держали друг друга за локоток, изо всех сил напрягая мускулы и сверля один другого глазами.

— Ежели по части наследства...— шепнул зять, подмигивая сопернице.— Тогда со мной переговоры веди.

Он понял, что старуху не обвести и лучше пойти ей на некоторые уступки.

— Это с каких таких штей? — взвилась Прошиха.— Ты ей седьмая вода на киселе. Мы с детства товарки...

Зять выхватил из внутреннего кармана пухлый бумажник, лихорадочно отстегнул кнопку. Прошиха краем глаза заметила в одном из кармашков бумажника лотерейные билеты, облигации, в другом — пачку денег, обмотанную резинкой, здесь же какой-то конверт, сложенный вдвое. Им-то зять и затряс:

— Доверенность имею. Мамынька сама лично уполномочила.

Перед бумагой Прошиха спасовала и осторожно шепотком спросила:

— В доверенности про половики не упомянуто?

— Ни единым даже словечком,— одержав убедительную моральную победу, нахально заявил зять и снова махнул конвертом перед старухиным носом.— Я досконально все изучил.

— Не верится даже,— усомнилась Прошиха, устремляясь к конверту и втягивая утлым носом воздух, словно на запах проверяла зятевы слова.— Половики-то, провалиться мне тут же, Даня мне отписывала. Пойду, однако, сама выясню.

— На пушечный выстрел пускать не велено,— забывшись, во весь голос сказал зять, удивив грубостью Матвея Ивановича. «Вот,— подумал тот,— какой обходительный был человек и вдруг брякнул старушонке такое. Что тут скажешь? Остается только головой покачать». И он покачал.

Прошиху смутить было непросто, и потому разговор на этом не кончился.

— Задушевную-то подругу? — взвизгнула она.— Ты, Савватей, в себе?

— Что приказано, то сполняю. Не из своей головы взял.

Устав от долгих их препирательств, Матвей Иванович наконец вмешался, урезонив старуху:

— Уснула, дак не буди. Сядь с нами да карты раскинь. Не разучилась, поди?

— Вот это не в убыток,— охотно поддержал его зять.— Садись, ворожея. Я те рюмочку поднесу.

«Если Матвей не тревожится,— рассудила Прошиха,— стало быть, Юшкин-то все наврал. Не в сговоре же они. Матвей Иванович — простая душа....»

От рюмки отказалась:

— При гаданье не употребляю. Карты врать станут.

— Они и трезвые не сплошают,— подколол зять, не веря в гаданье.

— Сомневаешься? — Прошиха обидчиво поджала губы, но, спрятав обиду, стрельнула хитрым глазком: — Я щас все тайны твои обнародую!

— Она может! — вступая в игру, подтвердил Матвей Иванович.— Бывает, такое в своих картинках вычитает, что и в кино не посмотришь.

— Ври-ври, ежели не за деньги,— сердито проворчал зять, за угрюмостью скрывая накативший страх. Не любил, когда касались его персоны. Привычка укоренилась еще с тех пор, когда был бригадиром. У нас, доказывал он подчиненным, личность неприкосновенна. Об этом даже в Конституции записано.

Он почувствовал, что устал и даже как будто постарел за эти немногие часы, а того, за чем приехал, может и не получить. Надо ли было затевать эту поездку? Может, баба-то была права? Уехал, может, все это не к добру... Чем поживишься тут, когда вон сколь желающих? Все будут делить, рвать...

В горьких, тягостных размышлениях зятю вспомнилась живая Дарья. Стоило переступить ему порог, как она принималась метать из печи на стол, из подполья доставала пиво и брагу. Пиво у ней густое было, терпкое и с градусами. Ковш-другой опрокинешь, уж и домой ехать не хочется. И все заботы прочь отступают. Сидишь и суконным языком тянешь «Во саду при долине...» Других песен зять не знал. А эту певал часто. Старуха, хоть и славная певунья, а с зятем петь не ре-

шалась. Сидит только кивает да подливает пива или вина. Гостеприимна была Павловна, зятя без причины не обижала. Правда, однажды... с Феоктистой из района ехал...

Скинула тогда Феша. На седьмом месяце скинула. Подняла куль с пшеницей, и остался Савватей без наследника. Расстроился, конечно. Вез из больницы, молчал, а у тещи его прорвало:

— Дочь-то твоя, по всему видать, бесплодной будет!.. Не видать мне сына... дочку не баловать...

Феша изменилась в лице, откачнулась к стене и обмерла. Испугался тогда Савватей. Старуха молчком вынула его из-за стола, швырнула, как сноп, к порогу. Сразу протрезвел, испугался.

«Прости, Павловна. Христа ради. У пьяного сорвалось...» — уговаривал издали.

Мать и дочь молчали. Выпил для смелости кружку пива, затряс кулачишком:

— Ты меня, мужика, вот эдак? Да я вас щас обеих в лепешку! Я вас, знашь-понимашь...

Не успел договорить — оказался в ограде, да еще о притолоку шишку на лбу набил.

— Ступай домой и образумься. Не образумишься — у меня не бывай. Такому оборотню дочь не отдам.

На другой день с повинной приехал, выпросил Фешу обратно. Хозяйство немалое, сам за всем не присмотришь. Выпросил, а жизни после того не было.

Прошиха лихорадочно метала карты, ехидно поглядывая на пригорюнившегося Савватея. В этой стихии с ней лучше не спорь.

Зять все пенял на судьбу, но молча, потому что от людей, считал он, сочувствия не дождешься. Ни стыда у них, ни совести. Горе у человека, все соболезновать должны, а они вломились в дом и хоть бы хны.

— Надо же, надо же! — исходила злорадством Прошиха, глядя то на карты, то на зятя.— Судьбина-то сикось-накось выгнулась! А все из-за червоного интересу! Вот она, червоная твоя злодейка! Мало что жизнь твою поломала, дак в искушение ввела, в вели-икую ложь! И живет теперь в тебе жуткое беспокойство! — Прошиха вперила в зятя долгий и глумливый взгляд, покосилась на Матвея Ивановича. Зять, вспомнив, как гусарил во время сенокоса, беспокойно заерзал.— Дале-то, дале-то и говорить боязно.

— Сыпь, сыпь, мне нещекотно,— улыбнулся он через силу. Зыбкая, жалконькая вырисовывалась улыбка. На всякий случай отодвинулся от Матвея Ивановича подальше.

— Бойся, Савватей, бойся,— говорил тот, подбрасывая паники.— Тут вся твоя подноготная.

— Вся как есть,— кивнула не без удовольствия Прошиха.— И неприятности падают. Большу-у-у-щие. Дева-а! — ужаснулась она, наводя жуть на зятя.— Опять волнения. Дорога трудная... казенная крыша: не то тюрьма, не то больница, спаси Исусе!

— Будет, слышь, будет, покаркала! — заорал зять и потянулся к картам, но Прошиха легла на них грудью.

— Погоди,— от души наслаждаясь его испугом, говорила она.— Тут ишо того боле...

— Плохи твои дела, Савватей! — поддакивал Матвей Иванович, которого несказанно забавлял испуг зятя. Как можно,— думал он,— бояться каких-то карт? Карты предсказывают, а судьбу свою человек должен встречать спокойно. Она разное может подкинуть, так человек для того и рожден, чтобы пережить это все с достоинством. Взять хоть меня. Испытал немало. Доведись — снова пережил бы все заново. И уж от старухиных бредней не затрясся бы. Правда, был один случай... Выходили из окруженья... в плен угодил. Мелькнуло: немцы пытать будут. Бог миловал — кинули за колючую проволоку, и во время бомбежки Матвей Иванович счастливо утек и всю войну провоевал без приключений, если, конечно, не считать контузии да двух ранений. Геройств особых не совершал. Только помнит, как первого немца на штык поднял. Тут же стошнило. А не кольни его — он бы кольнул. Священной ненависти, к которой звали боевые листки, не испытывал. Хоть и враги пришли на родную землю, а как убивать их: люди же! Потом ничего, притерпелся. Стрелял, как по мишени. Они ведь тоже не горохом автоматы заряжали.

— Ой плохи! — глядя в посеревшее зятево лицо, принялся за прежнее Матвей Иванович. Недолюбливал он зятя. Что-то было в том неправедное, мелкое. Потому и колол без жалости: — Вся линия жизни твоей изогнулась.

— Я эть не из пужливых,— хорохорился зять, ляс-

кая выщербленными мелкими зубами.— Я медаль за геройство имею!

— Эх вы, россияне! — упрекнул сквозь сон Берендей, и Матвею Ивановичу стало стыдно своих жестоких мыслей.

12.

Еще больше он застыдился, увидав перешагнувшую порог Вассу.

— Причастился, сынок? — страдая, спросила она Берендея.— И пить-то по-людски не умеешь.

— Не ссорься с ним, Васса. Он не буянит,— заступился за пасынка Матвей Иванович, поглаживая баян, на котором скакали серебряные кони. Он вдруг подумал, что седла на лошадей надел зря. Лошади-то без всадников. Хорошо, когда они вольные мчатся. Гривы по ветру, и хвосты, как метель зимняя.

Одна лишь Прошиха не смутилась. Хихикнув, погладила сухой, как у летучей мыши, лапкой Берендеевы кудри:

— Володей смиреный, когда киятр не представляет. А когда представляет — у! Близко не подходи.

— Счастливый паренек! — играя глазами, заюлил зять, стараясь не слишком обращать на себя внимание. Но и молчать он не мог, поскольку был замечен. Из всех, кто пришел сюда, Васса была для него самой опасной. Она чувствовала себя тут как дома.— И старших уважает. Мы с им битый час о политике беседовали. Понимает!

— Устроили балаган,— негодовала Васса.— И не стыдно, Матвей?

— Да я и не пригубил даже! Мне Володей велел прийти. Сказал, стихи под музыку читать станет. Я при нем. Жду, когда в состояние войдет,— заоправдывался Матвей Иванович, и впрямь ни в чем не провинившийся.

— Выведи его на улицу,— приказала Васса.— И вы ступайте.

— Ты тут не распоряжайся,— заартачился было зять.— Я к мамыньке повидаться приехал.

— Вспомнил? Раньше-то что же не вспоминал? Деревня не за семью морями.

— Дела держали. То уборочная, то сенокос... И свое хозяйство догляда требует.

Матвей Иванович с трудом отлепил Берендея от лавки. Тот, не открывая глаз, рявкнул:

— Я вернусь к тебе, Росси-и-я!..

Он пел, а Матвей Иванович волок его на улицу, и Прошиха, шлепая поэта по спине, приговаривала:

— Киятр! Чистый киятр!

Зять с Вассой остались с глазу на глаз. Зять ерзал, мотался из угла в угол, без нужды ощупывая то лавки, то верхний голбец, боялся встретиться с Вассиным взглядом.

— Ну, сказывай, зачем сено мое арестовал? — выдержав долгую, для зятя мучительную паузу, спросила наконец Васса.

— А чтоб в чужих угодьях не косила. Пошто к нам, на дроновские деляны полезла? У вас, что ли, своих мало?

— Ведь говорила, рубеж не заметила.

— А я при чем? Я действую в полном согласье с инструкцией. Ее не обойдешь, не объедешь.

— Законник выискался! Не сам ли... обход инструкции предлагал?

— Я не инструкцию... тебя обхаживал,— с наглой улыбочкой ответил зять.— Не вышло — не надо.

— Теперь я тебя обхаживать стану,— взяв кочергу, ответно улыбнулась Васса.— И уж, будь уверен, справлюсь!

— Но-но! Ты мне по кодексу, по всей строгости ответишь! — испуганно попятился зять и тут же охнул от крепкого удара.— Имей в виду! — А Васса обрабатывала его кочергой то по бокам, то по спине.

— До кодекса не дойдет,— говорила она.— За неимением свидетелей.

— Я инвалид! У меня справка! — закрывая лицо, прибег зять к последнему защитному аргументу.

Зять метался по избе, как провинившаяся кошка. Прижатый в угол, взмолился:

— Легче, легче, холера! Все внутренности отобьешь.

— Я еще Матвею с Володькой пожалуюсь,— посулила Васса.— Они тебя покачественней отделают.

В дверную щель сунулась Прошиха, запомаргивала, исходя мелким трясучим смешком:

— Дева-а! Вот и говори теперь, что карты врут!

Все как по-писаному: и неприятности, и смута. Скоро и кровь пустишь.

Васса, не оглядываясь, защемила ее ногой в притворе. Старуха взвизгнула, завозилась, но, освобождаясь, старалась попасть внутрь:

— Совсем одурела! Мне и так веку-то с синичкин клюв осталось.

— Не суйся в каждую щель, может, до смерти доживешь.

— Уж и поглядеть нельзя, как вы тут... любезничаете,— опять хихикнула Прошиха и, стоило Вассе слегка ослабить напор, проскользнула в избу.

— С тобой бы так любезничали, мутовка старая! — разъяренно выкрикнул зять, весь красный от перенесенного позора.

— Ох, молоденек! У самого-то физия ровно из старых бечевок,— огрызнулась старуха. Презрительно фыркнув, уперла руки в бока, топнула: — А туда же: красоту нашу судит...

Зять, окончательно завянув, не отозвался и все потирал ушибленные Вассой места.

Прошиха, стоявшая в углу, подбирала новую убийственную фразу, но вдруг вспомнила, зачем пришла, хлопнула себя по стегнам:

— Дева-а! Совсем забыла! Там гости приехали...

13.

«Ну вот,— обессиленно упав на лавку, подумал зять,— теперь уж тут ловить нечего. Уезжать надо...»

Васса, кинув кочергу в угол, отпихнула Прошиху в сторону, вышла на крылечко. В избе почесывался, кряхтя и в душе матерясь, зять.

— ...Завивку сделала — волосы секутся,— входя в ограду, пожаловалась резкая в движениях жилистая женщина.

«Экая невзрачная!» — подумала Прошиха.

— Щас парики носят,— сказала вторая, пышная, золотоволосая. Эта была как кобыла-трехлетка, раскормленная на свежих овсах.— Можешь без боязни лысеть.

За женщинами, большой и прочный, как колокол, шагал румяный мужчина. Увидав вышедшую на крыль-

цо Вассу, смущенно откашлялся, дернул жену за рукав.

— Ты ужасно кашляешь,— не обращая внимания на его жест, сказала Гера.

— Не могу же я кашлять шепотом,— огрызнулся Лумпов и недовольно задвигал бровями.

Капа, заметив Вассу, не теряясь, улыбнулась ей:

— Здрасссьте! А нам сказали, что вы... что вас... это самое...

Лумпов широко раскрыл объятия, шагнул к Вассе.

— Дорогая тетушка! Я рад, что вы живы и здоровы... Хотя в письме было сказано...

— Тетушка там,— сухо, почти враждебно молвила Васса, уклоняясь от его объятий.

— Значит, мы опоздали? Боже мой! Боже мой! — в голосе Лумпова зазвучали трагические нотки.

— Похоронили без нас? — ужаснулась Капа, а весь вид ее выражал: «Похоронили и ладно. Меньше возни».

— Живых не хоронят,— хмуро бросила Васса, жестом приглашая их войти.

— Нас что, разыграли? — бросив на Геру испепеляющий взгляд, спросила Капа; Лумпов сзади подталкивал их в сенки.

В избе, куда вошли наконец гости, тоже были незнакомые люди. Один из них, сладкоглазый, морщинистый, сделал скорбную мину и, приложив к глазам платок, завздыхал. Маленькая юркая старушонка мелко хихикала. «Неужто она моя тетка?» — боясь дважды попасть впросак, гадал Лумпов. Но старуха выручила его.

— Юшкин-то наврал, стало быть... Сказывал, мол, обмер сделал. А она живехонька.

— Ничего себе, розыгрыш! — загрохотал Лумпов, вспомнив, что должен отчитаться перед Груздовским. «Ездил в гости к тетушке? Это не причина».

— Будем знакомы. Берендей,— протиснувшись в избу, сказал лохматый с мокрой головой парень. Пожимая руку, значительно добавил: — Поэт.

— Оч, оч приятно! — запел Лумпов, отвечая на его крепкое рукопожатие.— Я и сам в некотором роде литератор.

— Критик? Издатель? — Берендей подобрался, сделал охотничью стойку.

— Языковед. Кандидат наук.

— Ученый! — поднимая палец, кивнул зятю вошед-

ший Матвей Иванович. Дескать, понимай, с кем дело имеешь. Но зятю было не до ученых.

Мало того, что понаехали со всех сторон эти незнакомые и опасные для него конкуренты, так старуха еще оказалась жива, а помимо прочего — досталось по бокам. Как же вышло-то? Ведь сам лично видел: не дышала. И руки холодны были.

— Жива, значит,— сказал он убито, складывая платочек.— Ну слава богу.

— С издателями связаны? — пытал Берендей с возрастающей надеждой. «Вот,— думал он,— счастливый случай. Как бы не упустить...»

— Только шапочно,— остудил его порыв Лумпов, который и впрямь снимал шапку перед одним из редакторов, жившим в соседнем доме.

— Траурное платье, значит, не пригодится,— огорченно вздыхала Капа. Она, может, больше всех горевала.— А я, дура, тратилась...

— Промахнулась маленько,— посочувствовал простовато Матвей Иванович.— Ну, с кем не бывает!

— Утром Будзинский прилетел,— выдавая еще одну причину своей скорби, сказала Капа.— Наверно, в парикмахерскую зайдет.

— Будзинский? Тот самый? — встрепенулась Гера, тоже неравнодушная к эстрадным звездам.

— А ты думала! Они все у меня стригутся.— И не удержалась, похвасталась.— Максудчик диск подарил с автографом.

— Сам? Лично? — сгорая от зависти, кусала бледные губы Гера.

— А ты думала!

— Деваaa! — залюбовавшись Гериным перстнем, всплеснула руками Прошиха.— Вот это колечко! Поди, золотое?

— Девяносто шестой пробы. Вот, пожалуйста,— Гера сняла кольцо, чтобы старуха убедилась в подлинности пробы, хотя бы в этом имея перед Капой преимущество.

— Какой народ приехал! — восторгался Матвей Иванович и толкал зятя в бок.

Из горницы, точно увидав привидение, пятилась Васса. Запнувшись о порог, остановилась и взглянула на Матвея Ивановича, словно прося его о помощи. В ней и глаза остановились и смотрели вокруг с бес-

смысленным и горьким отчаянием. Онемевшие губы чуть слышно выронили:

— Померла-аа...

В избе повисло молчаливое изумление. А во дворе громко запел петух.

«Не зря, значит, платье-то шила»,— подумала Капа, представив себя в похоронной процессии. Ее, золотоволосую, в черном трауре тотчас выделит из толпы любой. И потому, может, есть смысл скромно затесаться в самую гущу. Вот-де, Капитолина, убитая горем, даже не смогла пробиться к гробу. А хороша-то как, господи! Как она хороша! Будзинского бы сюда. А еще лучше Максудчика... И тут уж Капа стала бы рядом с Максудчиком, больше того, оперлась бы на его руку, чтобы фотограф запечатлел ее в этот поистине скорбный и все же... замечательный момент.

Прошиха вертела Герин перстень, не зная, что с ним делать.

— Мамынька! — всех раньше возопил зять.— И на кого же ты нас оставила-а-а-а?

— Юшкин, видно, не соврал,— себе самой шепнула Прошиха, украдкой примеряя колечко.

— Ушла, не услыхав, быть может, лучшее из моих стихотворений,— чуткий к чужим болям, засокрушался Берендей.

— Отчебучила Павловна,— оторопело бормотал Матвей Иванович.— Про отходной марш говорила... а я не верил...

«Какая же я свинья! — покаянно судил себя Лумпов.— Минуту назад боялся, что Груздовский будет упрекать за неявку...»

— Как жаль, как жаль, что я не познакомилась с ней при жизни,— поддерживая ослабевшего мужа за локоть, говорила Гера и смахивала другой рукой слезы.

Одна лишь Васса ни о чем не думала, ничего не говорила и с помучневшим лицом стояла, будто привязанная, по ту сторону порога. Велико ли препятствие — порог, а перешагнуть его Васса не могла, словно разучилась ходить.

— Уходят лучшие...— трагическим шепотом провозгласил Берендей.— О ком писать?

Васса обессиленно рухнула на пол. К ней подскочил Матвей Иванович, поднял, провел к лавке, по-

прежнему бормоча: — Что ж ты сотворила с нами, Павловна? Что сотворила, а?

«Я, пожалуй, переоденусь»,— решила Капа и достала из чемодана роскошное траурное платье.

— Утюг здесь найдется?

— Как не найтись? Обязательно найдется,— готовно отозвалась Прошиха, успев оценить всех и каждого. «Ишо поглядим, чья возьмет!» — покосилась она на зятя.

Расстелив одеяло на столе, Капа включила утюг и, поплевывая на палец, щупала, греется ли.

— Никому не поддавалась. Косой поддалась,— вздыхал убито Матвей Иванович.

Берендей тут же клюнул:

— Не порочь ее, Матвей! Не любишь — молчи. Молчи, и все. Я знаю, ты из-за отца ее не любишь.

— Знаешь, да не все! — вспыхнул неожиданно баянист. Надоело ему выслушивать пасынковы измышления. Щенок, молоко на губах не обсохло, а туда же, учит еще.— Когда не все знаешь, лучше помалкивай в тряпочку!

— Мамынькааа! — поскуливал зять. И не хотел думать, что этот дом и все хозяйство старухино теперь достанется ему, а думалось, и душа против воли ликовала.

— Скорблю, Даша! Не угадала твой час. И до гробовой доски скорбеть буду! — бормотала Прошиха, заголяя ногой половики.— Нет-нет, не успокаивайте меня! — замахала она руками.

— Сколь вынесла, сколь вынесла на себе! — говорил Матвей Иванович, большой горячей ладонью поглаживая голову Вассы.

— Уж это было, это было! — поддержал зять.— Сам видел: корова не тянет в борозде — теща рядом впрягается.

— Утюг-то не работает,— посетовала Капа, снова плюнув на палец. Донышко у утюга было холодное.— Придется мятое надевать.

— Я половички-то закатаю,— всем и никому в частности сказала Прошиха.— Народу тьма наберется — ухлюздают ни за понюшку.

— Бабуня ты моя! Бабунюшка! — прорвалось наконец в Вассе. И потекли, потекли неудержимые слезы!

— Васса, Вассонька ты моя! Что ж ты зашлась-

то! — и за жену и за Павловну скорбя, воскликнул Матвей Иванович.

— Какую женщину потеряли! — восклицал Берендей.— Кормили-ицу! А мир спокоен!

— Опять петухи запели. Не вовремя запели-то! Когда в доме покойник, собакам бы дòлжно выть,— потупив взор, комментировал зять.

А солнце лило жидкое горячее золото. Люди плавали в нем и не замечали. Даже Герино белое, как кефир, лицо порозовело в лучах.

О стекло била крылом вчерашняя бабочка, рвалась на волю. Там, за окном, на сирени гоняли воробьев скворцы. По дороге верхом на палочке скакал босоногий Санька Юшкин, выкрикивал частушку:

Девки баню затопили,
Загорелся потолок...
Через каменку скакали —
Опалили хохолок.

— Ну-ко, Санька, ишо заверни! — остановив парнишку, захохотал пьяный Петруха Гроб, сторож с комплекса. Он всем усопшим делал гробы, и потому его подлинную фамилию — Граббе — переделали на свой лад. Еще до войны привезли Петруху сюда из Поволжья, он прижился и обрусел. Работником добрым был, но, похоронив жену, запил, и, помня прежние Петрухины заслуги, председатель определил его на комплекс.

— А поди ты! — взросло послал его Юшкин-младший и поскакал на деревянном коне вдоль улицы.

— В анатомку-то, стало быть, не повезем? — снова напомнил зять. Его не слышали.

— Где бы переодеться? — спросила Капа, руками разглаживая черное платье. «Ничего,— утешилась она.— Оно на мне как влитое... выправится. Не то что на этой выдре Геральде!»

Васса поднялась было на ноги, но ноги не слушались, и она снова рухнула на лавку.

— Проводи меня к ней, Матвей,— тихо попросила она.

Обняв жену, Матвей Иванович повел ее в горницу.

Дарья Павловна лежала под святыми, вытянувшись во весь свой могучий рост. Со стены на нее глядели сыновья, дочь, муж. Глядели спокойно, улыбчиво: не

верили, что такая женщина могла сдаться. И петух горланил в ограде. И кричали голодные скворчата. В клубе гоняли бильярд парни, орал на всю деревню громкоговоритель, выкрикивая сиплым голосом какую-то незатейливую песню.

Наносило разопревшей крапивой, рыбой, которая вялилась во дворе у Юшкина, горелой землей. За яром — который уж год — тлел торфяник. Его тушили, но где-то в недрах оставалась потайная искорка, и от нее опять разгоралось пожарище. Черное пятно уже далеко ушло, к самым полям. А у реки, внизу, остановилось.

— Свекровушка ты моя несбыточная! — пав перед старухою на колени, рыдала Васса. И, может, вместе с нею сейчас потаенно плакала вся вспаханная Дарьей земля... Но жизнь в земле ликовала, ежеминутно рожая то деревцо, то былинку, то какую-нибудь козявку. Над окном любовно томились голуби. Заливался в синем небе жаворонок, и куда-то летели утомленные грачи. За горелым, за рекою, сытно паслось стадо. Прекрасная, полная жизнь текла и реяла вокруг. Все звенело, пахло, любило. Зверел паут, и коровы сползали к речке. Там, в воде, им паут не страшен. Да и пить им хотелось. Что ж пастух-то медлит, не гонит на водопой?

— Не плачь, Васса,— тщетно утешал жену Матвей Иванович.— Не плачь, Павловна слез не любила.

— Плачь, мать! — в пику отчиму требовал Берендей.— Посыпай волосы пеплом. Старуха стоит наших слез.

Жидко, надсадно всхлипывал Лумпов, шевеля толстыми холеными пальцами. Гера держала его за руку, беззвучно шевеля губами, отсчитывала пульс.

— Коленька,— шепнула она встревоженно.— У тебя пульс участился.

— Что ж делать, мамочка,— горе!

— Ты же философ, милый! Сам учил: помимо горя есть радости. Тут смерть, а дома Кусков подарит тебе «голубянку». Вообрази, что она уже у тебя.

— «Голубянка», о! — воскликнул Лумпов и вдруг ужаснулся: прекрасная бабочка, предел мечтаний всякого коллекционера, предстала перед его мысленным взором летающим скелетом. И пульс сделался еще чаще.

Капа, успев переодеться, незаметно для присутствующих охорашивалась перед зеркалом, косяглазом на Берендея. «Парень-то хоть куда! — думала она.— Постричь да одеть... будет не хуже самого Максудчика».

Берендей, видимо, уступив вдохновению, что-то лихорадочно чиркал в блокноте.

Зять зорко стерег с этого часа принадлежащие ему владения. Прошиха украдкой двигала к порогу половичок. Бочком приблизившись к ней, зять дернул половик к себе, и завязалась упорная и молчаливая борьба, исход которой был неясен.

— Отступись, Савватей! — шипела Прошиха, скользя за зятем вместе с половиком.— Отступись, не то все расскажу Матвею...

Зять, уже почувствовавший себя хозяином, не уступал и волочил ее за собой. Слабые старухины руки уж готовы были разжаться, но тут произошло неожиданное...

14.

Тут вот что произошло...

На пороге возник Юшкин. Он не один возник, с гробом, и потому пятился в дом спиной. Сзади гроб нес Петруха. Матвей Иванович обернулся на стук и охнул.

— Господи! — простонала Васса, и Павловна проснулась.

Берендей от изумления выронил ручку, не дописав наиболее удачную рифму. Рука Капы замерла на складке платья. Васса счастливо ойкнула, распрямилась, точно отпущенная из рук молодая березка.

— Озаботился, Вася? — спросила старуха Юшкина.— Ну, бог тя спасет.

— Да я че? Я ниче,— растерянно лупая глазами, бормотал бригадир.— Видал же,— пожаловался он невидимому Петрухе.— Не дышала же! Обмерил и — в мастерскую. Знаю, кроме меня, никто не почешется.

— Век не забуду твоей заботушки,— благодарила его старуха.

А Васса радостно бормотала:

— Бабуня ты моя! Бабунюшка! Экая ты, право!

— Володей! — радостно взывал Матвей Иванович,

расстегивая баян.— Вот когда стих-то нужен! Восславь!

— Не могу... в голове глина,— бессильно развел руками поэт.

— А я могу! Я ей щас сыграю! — Матвей Иванович развел мехи и запел:

Летят утки...
Ох, летят утки и два гуся...

Пел весело, без единой грустинки, и веселились в доме два человека — он да Васса. На улице ж все было полно весельем. Неистовствовал хмельной от полета жаворонок, в немыслимую высь вздымалось пресветлое солнце. И день был высок и светел, как назначение человека на земле. День был без пятнышка, звонкий, чистый, и все живое трудилось и пело. Подле школы лопотали листьями посаженные Матвеем Ивановичем черемухи, и Санька Юшкин под кавалерийскую песню давних времен скакал в обратную сторону. Громкоговоритель в клубе пел теперь не сипло и неглумливо, а членораздельно и мужественно:

Я люблю тебя, жизнь,
Что само по себе и не ново...

Действительно, в том, что человек любит жизнь, ничего нового нет. Но жизнь-то каждый миг новая, и любим мы это вечно живое, трепетное, и сами в этой жизни движемся и умнеем...

— Я извиняюсь, конечно,— бухтел Юшкин.— Услужить хотел...

— В молоко, значит, попали! — добродушно хахакнул в сенях Петруха, рассчитывавший на поминках выпить.— Худые стрелки!

— Айда к Ветошкиным,— приказал Юшкин, выталкивая гроб в сени.— У их старик кончается.

— Ветошкину-то поди коротковат будет,— выказывая высокий профессионализм, усомнился Петруха.

— Втиснем,— успокоил Юшкин.— Я на два вершка припуску дал.

И они поволокли гроб на улицу.

— Вконец расстроила мужика,— усмехнулась старуха, посветлевшим ясным взором оглядывая родню.

— Бабуня, бабуня...— поглаживая старухину руку, говорила Васса.

— Что я Груздовскому-то скажу? — сокрушался Лумпов, поездка которого, в сущности, оказалась бес-

цельной. Вышло, прокатился так просто, от нечего делать. А занятой человек не имеет на это права. Его наполненное высоким смыслом время священно.

— Племяш вроде? — узнавая Лумпова, спросила старуха. Про себя отметила: «Эк его разнесло!» — А ты Капитолина?

— Она самая,— неприязненно пожала плечом Капа, подумав: «Повезло Люське! Будзинского стричь будет...»

— Вон что...— сразу поняла племянников Дарья.— И этим досадила.

— Эко дело! Эко дело! — поглаживая телевизор, который уже считал своим, вздыхал зять, словно прощался с ним.

«Ни семьи, ни родни,— думала старуха, жалея, что задержалась на земле и пережила детей и мужа.— Вот только Васса с Матвеем всплакнут... Пора, однако... Сынки-то заждались...»

— Юшкина верните,— без осуждения оглядев каждого, тихо сказала Дарья.— Пора мне...

И стала умирать.



Жил-был Кузьма







Кузь, Кузь, Кузьма
задавил козла...

Глава первая

Река скинула ночную рубаху из белого тумана, вздохнула, потянулась, и радость жизни волной прокатилась по всему ее телу. Радость передалась земле, ивам, омочившим в Оби свои волосы. Плеснули крылышками стрижи, вонзились в раздавшееся пространство, и луч солнечный позолотил их черные крылья. Заплескались чайки в волне, окатывая холеные свои перья обской водицей. С запашком была водица, с нефтяным запашком... Кое-где колыхалась масленая, рукотворная радуга.

В Лесном Тапе дымы курились. Огонек от печки прокладывал себе замысловатую тропку к солнцу. Свет тянулся к свету.

А на сеннике темно, дух со сластинкой. Шуршат таинственно невидимые во тьме мыши, крошатся листья мать-и-мачехи, мяты, свивается в пружинку сохнущий без земных соков мышиный горошек, томится визиль, шелестит под ладошкой Петькина шерстка.

Былинка в нос попала. Кузьма сморщился и чихнул, выпав из сна, в котором разное снилось: про черепаху, пойманную близ Канарских островов, про Тоньку Недобежкину, и наяву-то надоевшую, про акваланг, будто бы подаренный матерью, и прочая небывальщина. На Канарских-то островах, может, и доведется побывать, а вот уж акваланг мать сроду не купит. Да что акваланг, когда звездочку к старому велосипеду купить не хочет. И стоит он в амбаре без дела, ржавеет.

«Наснится же всякая всячина! Про черепах даже... на кой они мне?» — просыпаясь, думал Кузьма. И все-таки жаль, что недосмотрел такой интересный сон.

Сожмурив веки, попытался снова нырнуть на морское дно, но кто-то лизнул его в нос, точно кисточкой пощекотал. Вытянув руку, Кузьма коснулся прохладной лобастой мордашки: «Петька! Ах ты злодей одноглазый! Сна досмотреть не дал».

В Лесном Тапе первый дымок всегда кучерявится над трубой Брусов. «Кто рано встает, тому бог дает»,— неустанно твердит мать, хотя ни в бога, ни в черта не верит. Да и некогда ей заниматься такими пустяками: вечно в хлопотах. «Я тоже, верно, в нее беспокойный,— подвирая и зная, что подвирает, ухмыльнулся Кузьма, похрустел всеми хрящиками, костями, с сладким стоном зевнул...— И щас вот беспокоюсь, как бы с сеновала за ноги не стянула...» Еще позевав немножко, Кузьма приподнялся и сел, взяв на руки козленка. Кузьма и впрямь был в мать беспокоен, но только в тех делах, которые считал своими. А дел на острове было много. Для человека десяти лет от роду день летний короток, как заячий хвост. Падешь вечером на сенник, в сон, будто в яму провалишься, а утром поднимешься и видишь — не все еще сделал, ох не все. «Ну полно нежиться-то! Жить пора»,— почесав за ухом козленка, Кузьма выпрыгнул через створ с сенника и тихохонько открыл дверь в сенцы, едва не столкнувшись с матерью.

— За молоком крадешься? — она уже успела подоить корову, процедила молоко и налаживала сепаратор. Кузьма кивнул и зажмурился. Избные двери были открыты, в глаза солнышко било. Лучи его пучком вонзались в густые иссиня-черные волосы матери, из них, растерявшись по пути, выходили по отдельности. А может, и не терялись они, может, превратились вон в ту серебряную пластинку посередине. Надо же, как странно поседела мамка: ни единого седого волоска вокруг, а этот белый сугробчик появился, когда Кузьмы еще и на свете не было. Хоть и седина, а красиво.

— Какая ты драгоценная, мамка! — еще на шажок отступив, восхищенно брякнул Кузьма, польстив матери и чуть-чуть смутив ее. Чистый узкий лоб Павлы под седым сугробчиком покраснел, сумрачные, заросшие

толстыми ресницами глаза засияли.— Вся из золота, из серебра! — расписывал Кузьма.

— Ага, хоть щас в комиссионку сдавай,— усмехнулась Павла наивной его и совершенно невинной лести.

— Я верно тебе говорю! Верно! Кожа-то вон как светится! Через нее солнце видать,— горячась, настаивал на своем Кузьма.

— Не собирай никого-то. Пивни лучше молочка, парное! — Павла сняла с подойника марлечку, которой закрывала молоко от комарья, от мошек, уже вившихся над ней облачком, подала ковш сыну. Кузьма зачерпнул и, как бычок, припал к деревянному, окольцованному по краям ковшику.— Ну вот,— улыбнулась Павла, приняв от него пустой ковшик.— А то все Петьке да Петьке. Это уж не козел ли... Глазу нет, нога помята...

— Очень даже козел,— возразил ей Кузьма.— Маленький, черный... А что глазу нет, дак он и одним в два раза дальше видит. Вишь, ума-то в нем сколько!

— Ума палата,— усмехнулась Павла, втайне любуясь страстной горячностью младшего сына.— Хоть щас бухгалтером назначай.

— Бухгалтером-то напутает,— вмешался отец, строгавший на завалине какую-то деревянную фигурку. (Минуты без дела отец не усидит. Вернется с пастбища, берет в изувеченные руки ножик или топор и что-нибудь мастерит.) — А вот ежели на пожарку или заседателем — ничего, помемекает.

— Ты уж молчи! Заседателем...— вскинулась на него Павла. Не терпела, когда ей перечили.— И страшен и черен. Да еще и при одном глазу. Тьфу, уродина!

— Ну и че, што при одном? Зато умный. Ум сам по себе хорош,— еще решительней заступился Кузьма за своего питомца.

— Мало, что ль, уродцев-то на земле? Кинуть в Обь — одним меньше.

— В Обь... ишь чего захотела! — мальчик начинал сердиться. «Вечно эта мамка поперек норовит. Ведь уж был разговор однажды... до слез чуть не довела». Тут Кузьма схитрил перед собою, не то чтоб соврал, а чуть-чуть приуменьшил: слезы-то были, когда решалась Петькина судьба.

Родился козленок одноглазым, со слабыми, как ко-

ренья у трав весенних, ножонками. Павла, взяв его за эти ножонки, понесла к реке. Кузьма в ту пору рыбачил. Увидав ее, заревел, затопал.

— Отдавай! Не будешь топить! Не будешь! — ревел он и, отняв у матери козленка, прижимал к себе. Никогда с ним такого не было. Бывало, лупят его сверстники, хоть в синяках, хоть в крови и ноги не держат,— единой слезы не уронит. А тут затрясся весь, слова не может вымолвить, только глазенки, серые, в мокрых ресницах, искрят, как при коротком замыкании.

— Че уж, Паша,— неумело погладив сына по голове, пробормотал отец,— сохраним животную, раз парень требует.

— Животная, она потому и животная, что для живота человеческого. А этот — так, дармоед! — проворчала мать, но уступила.

— Кто его знает, может, и он в худую минуту понадобится,— на всякий случай вставил отец, наверняка зная, что толку от козленка никакого не будет. Не зря же говорится о худых людях: «Толку от него, как от козла молока». Кузьма благодарно ткнулся зареванным носом в отцовскую ладонь, скребнувшую ссадинами и жесткими, как кирпич, складками, и, подхватив козленка, кинулся с ним на сеновал. Само собой определилось Петькино жилище. Впрочем, поначалу было у козленка иное имя.

Прошлой осенью, прочитав подаренную Сорокой книжку о богах и героях, Кузьма иногда величал своего воспитанника Полифемом. И тут же смеялся несоответствию: ну какой Полифем из него? Тот зол и страшен, а козленок добр и проказлив.

Отвоевав его у смерти, Кузьма сел в обласок, доставшийся в наследство от утонувшего ханты, и поплыл к колхозному ветеринару со странной фамилией Легеза.

Пузатый, насмешливый мужчина с красными руками и раскаленным лицом принял Кузьму ласково. Усадил за стол, к чаю с брусничным вареньем и бубликами. Сам занялся пациентом.

— Симпатяга! Можно сказать, красавец козел!

— Вы не глядите, что он с одним глазом,— предупреждая насмешки, кинулся Кузьма в дипломатию.— Он у меня смышленый. Я его и плавать выучу, и погоду определять.

— Ну? Даже погоду? — оторопел Легеза.— А на велосипеде гонять научишь?

Толстые губы его раздвинулись, но тотчас сомкнулись, не дав посиять крепким, как аккордеонные клавиши, зубам. Видно, вспомнил о старом, еще военных времен велосипеде, который продал когда-то Павле, а может, о детстве своем вспомнил. Мальчишка любит животных. Животные беззащитны, в особенности такие вот только что родившиеся несмышленыши. Не с этого ли начинаются привязанности да и весь человек?..

— Нет, я понимаю,— большой, краснолицый, горластый насмешник смутился и виновато заспешил.— Козлы, они шибко умные. Не зря же стадами руководят. Вырастет твой, как его?..

— Петька,— поперхнувшись чаем, вдруг брякнул Кузьма. Он посчитал, что Легеза сейчас выставит непрошеных гостей за порог и угрюмо примолк.

— Вырастет твой Петька... тоже вожаком станет. Главное, чтоб с пути не сбивался. Научишь?

— Первым делом,— воспрянул Кузьма и начал развивать идею ветеринара.— А вторым — как против зверя выстоять. Скажем, волк нападет — рогами волка. Смелый козел — он всякого зверя может упекарчить.

— Раз плюнуть,— сделав козленку укол и обернув его теплой влажной тряпкой, поддержал разговор Легеза.— Помню, под Старой Руссой шел я со своим отделением из разведки. Остановились передохнуть у лесника в избушке. Козел у него был злой, разбойный. Понесло его, как водится, в огород, к капусте. А в капусте-то немцы лежали. Он и припер одного рогом. Немец выстрелил от испуга, мы услыхали, конечно, и — деру. Вот, брат, какой геройский козел!

Слушая ветеринара, Кузьма проникался к нему теплым доверием не только оттого, что Легеза лечит козленка, но и оттого, что ведет разговор на равных. А Легеза, запеленав козленка, подчинившегося его большим и чутким рукам, на горячий вопрошающий взгляд Кузьмы ответил:

— Будет, будет ходить твой Петька! Ты только оставь его тут на неделю. Еще лучше на две.

Кузьма поверил этому человеку и оставил козленка, но проведал трижды в день, переплывал Обь в любую погоду. Раз попал под штормовой ветер, да река пощадила его и выбросила вместе с перевернувшимся

обласком на остров. Мать не узнала об этом, а то бы отняла обласок.

...Налив молока в чашку, Павла накрошила хлеба и подсадила Кузьму на сеновал:

— Иди уж корми своего уродца! Да по бруснику пойдем.

Ветер рвал в клочья низкое серое небо, тыкался в ставни и задирал сорочий хвост. Сорока, распластавшаяся на коровьем хребте, стыдливо отворачивалась, одергивала хвост и выклевывала из Зорькиной шерсти блох или еще какую-то нечисть. Подле затона, у школы, визжала пила. Подали голоса плотники.

— И этим не спится,— прислушалась мать, сердито передернула плечами и ушла в дом.

В створе уже скоблил по бревну звонким копытцем Петька. Желтый глаз щурился дерзко и плутовато.

— Оголодал, Полифем? Давай наворачивай! — козленок питался из рожка, но голод — не тетка, прибавляет сообразительности: из чашки тоже зузилось вкусно. Опорожнив ее, Петька пренебрежительно лягнул задней ножкой и, выгнувшись, следил за тем, как чашка крутится. Должно быть, волчок понравился, и, став на дыбки, Петька снова прыгнул к чашке, лягнул покрепче, но волчка на этот раз не получилось. Оставив посудину, козленок подошел к Кузьме.

— Дурашка! Хромой дурашка! — щелкнув воспитанника по лбу, Кузьма достал из кармана расческу, которую подглядел у матери, и принялся охорашивать волнистую Петькину шерсть. Козленок жмурил янтарный, что-то обещающий глаз, тихонько блеял от наслаждения и нащелкивал копытцами. А Кузьма тонко, счастливо насвистывал.

— Ну как, выровнялся твой козлище? — взобравшись на сенник, спросил Легеза. Он часто теперь захаживал.

— Да вроде на всех четырех стоит...

— Ну а ты сомневался! Я, брат, и не от такой хвори вылечивал. Ффу, с моими ли накоплениями по сенникам лазать? Оцени, Кузьма Павлыч, бутылочку хоть, что ли, поставь! — насмешливо сощурился Легеза и, зная, что парень в мать скуповат, выжидающе уставился на него, щелкнув толстыми, как огурцы, пальцами.

— Нет у меня денег,— пробурчал Кузьма и сказал

неправду. Рубля три у него было. Но эти деньги он отложил для особых и очень важных нужд. Однако вспомнив о тайнике, в котором мать иногда кое-что прятала, соскочил вниз. Открыв тайник, четвертинки, против обыкновения, там не обнаружил, зато вынул крохотную из желтого металла лошадку. «Красивая!» — залюбовался Кузьма, но, услыхав шаги, поспешно закупорил дупло пробкой.

— Гулеван-то опять дома не ночевал,— ни к кому не обращаясь, сказала Павла.— Где шляется?

— В археологию ударился,— подсказал Кузьма.— Клады с Сорокой ищут.

— Повезло тебе, Павла. Хорошая сноха будет, образованная! Ну что, Кузьма Павлыч, рассчитываться-то будешь? — слезая с сеновала, допытывался Легеза.

— Вас мамка блинами накормит. Может, и медовухи поднесет.

— Твоя мамка поднесет... кулак к носу,— покачал головой Легеза и протиснулся в калитку.

— Ну, мама! Ну, что же ты? — Кузьма дернул мать за рукав и нетерпеливо притопнул.

— Ладно уж, айдате,— расщедрилась Павла, но Легеза, просунув голову в калитку, раздумчиво почесал переносицу.

— Опять пузо мять? Нет, не полезу. Лучше устрою себе разгрузочный день.— И ушел, хитро посмеиваясь.

— Такой человек, а мы его... ээх, совестно! — перестав строгать, вздохнул Павел и уставился в землю. Когда ему было неловко, он всегда смотрел себе под ноги.— Ох как совестно!

— Переморгаешься,— отмахнулась Павла и позвала: — Пошли, что ль? Блины стынут.

— Не хочу я твоих блинов! Ну их вовсе! — забиваясь с Петькой на сеновал поглубже, отказался Кузьма. Он тоже испытывал перед Легезой неловкость. Человек так душевно, так по-доброму обошелся с ним, а мать даже на блины не пригласила. Э-эх! — Кузьма совсем по-отцовски махнул перед собою правой рукой, полез в карман, как бы закурить от огорчения. Курева, конечно, не было, да и не хотелось ему курить. Однажды, выпросив у отца недокуренный бычок, затянулся и круто захлебнулся горьким дымом. «Че, Кузя, не туда пошло?» — похлопав его по спине, усмехнулся Павел.— Не привыкай к этой отраве!»

— Не хошь — доброму годится,— вместо того чтоб приказать, вздохнула Павла и виновато-смущенную скрыла улыбку: «Драгоценная». Надо же так! «Из серебра, из золота..»

В калитку, передавливая воротным столбом пузо, снова протискивался Легеза, за порожком еще наговаривая: — Я не на блины, Павла, не трепещи. Я... Да выдь ты ко мне, холера! Вишь, воротишки ваши не по размеру!

— Чего еще? Выговаривать пришел? — Павла решительно шагнула к нему навстречу, однако за ограду не вышла.— Выговаривай через порог.

— Спасибо на ласковом слове, хозяюшка,— улыбчиво кивнул Легеза, сам подумав: «Эть вот бабье! Кругом виноваты, а сердятся, словно ты же перед ними и провинился. Нар-род!» Вслух другое сказал: — К нам шефы прилетают, Павла Андреевна...

— Шефы? — в голосе Павлы что-то дрогнуло. Губа верхняя, смугло-румяная, луком выгнутая, притиснула нижнюю губу. Но смущение было мимолетным, даже Легеза его не заметил. Оглянувшись на мужа, Павла повелительно крикнула: — Чего выстроился! Сказано же, блины на столе...

— Ага, шефы. Как раз из бригады Попова... Баньку просили... На острове-то лучше твоей бани нету. Может, истопишь для хороших людей? — Легеза сощурился, словно целился из ружья, почесал толстое, без ресниц веко.

— Че в них хорошего, в твоих шефах? Одни хлопоты,— краснея и отворачиваясь от него, проворчала Павла, а голос звенел, в голосе слышалась счастливая тревога.

— Дак ведь как тебе сказать? Хорошее всяк свое ищет...— пробормотал будто бы без значения Легеза, но, увидав, что Павла ощетинилась, перешагнула подворотню, примирительно посоветовал: — Ну-ну... не спорь со мной. А за труды колхоз оплатит. Шефов-то надо привечать. Они к сентябрю школу сдать помогут. Плотникам без них не справиться...

И — ушел, колыхая пузом, которое, словно торбу, нарочно привесил впереди, нагрузил овсом или еще чем-то и носит с утра до ночи. И если б не пузо, был бы мужик как мужик, здоровый, видный да и с лица приятный. Но, верно, время такое сытое: мужики ста-

ли поперек толще. Этот хоть в годах, а Валентин Недобежкин совсем еще молодой и — тоже с наростом. Не от нужды пухнут. «Мите тоже под сорок, а в нем ни жиринки... жилист, как лось...» — подумала с нежностью, не заметив, что из ограды на нее все еще смотрит так и не ушедший в избу муж.

Глава вторая

Жизнь медленна, как ход муравья. А потом перешагнешь черту тридцати — полетит она, жизнь, скворцом или ласточкой, сначала в видных пределах, над лесом, над речкой, над ближней поляной, на которой рвала не раз ягоды, травы мяла,— дальше, за море скрывается или же еще куда, где не бывала, но где непременно побудешь и уж не воротишься оттуда, как возвращаются птицы в края отчие.

Сорок, а если точнее — сорок один... В сельсовете метрики утеряли. Когда пошла в сельсовет за справкой, год и убавила. Несовершеннолетней дали справку: поезжай, дескать, в городе счастье свое ищи. Не поехала в город: мать умерла. И осталась Павла с двумя малолетними сестрами: одной пять, другой три. Самой Павле в ту пору пятнадцати еще не исполнилось. И вот стали втроем жить да поживать. За матерью, за отцом жилось хоть и не слишком сыто, но беззаботно. В сорок шестом оговорил кто-то отца, и пропал он бесследно. А вскоре и мать померла. И кончилась жизнь беззаботная. Пришлось Павле всему учиться: тому, что отец ее, лучший охотник в округе, умел, и тому, что мать, пчеловод в колхозе, знала. Помимо охоты и пчеловодства навострилась печки класть и окна стеклить. И — еще одно ремесло освоила. Им тоже кормилась, пока Легеза не воротился из армии. Он долго чего-то служил, хоть особых чинов и не выслужил: как уходил ветеринаром на фронт, так и, вернувшись, ветеринаром стал. Лишь недавно председателем выбрали. Ну так вот, Павла, случалось, и ветеринара подменяла, в простых, конечно, случаях: если просили выложить бычка или барашка. А все хлеб. Только благодаря этому и сестренок поставила на ноги. Правда, и Павел помогал, да недолго. Взял ее замуж семнадцати лет. Никакой любви меж ними не было. Но связала беда.

На брошенной заимке — как раз охотничий сезон начался — Павла решила заночевать после удачного промысла. Полдня за соболишком гонялась, а к ночи ноги совсем отнялись. Бросила шкурки в угол, сама, не растопляя печурки, упала на топчан и заснула. Проснулась, когда прямо в лицо ей смрадно задышал кто-то, тяжелый, страшный, весь в бурой шерсти.

«Леший!» — задохнулась от ужаса Павла и на мгновение потеряла сознание. Но «леший» действовал как-то уж очень по-человечески. Она рвалась, кусалась, била руками и ногами, пока насильник не ударил наганом в висок.

Связав ее и забрав с собою пяток соболей и ружье, он ушел на ее лыжах. Может, час, а может, сутки Павла, едва накрытая шубой, тупо и незряче глядела в потолок. Глаза ее были сухи, тусклы, пересохшие губы покрылись кровавой коркой. Вытянулось сразу постаревшее тугое лицо. Она сознавала, что жива, но с нетерпением ждала минуты, когда умрет от голода в этой стылой, до войны еще заброшенной избушке. Это неизбежно случится, но до смерти оставались часы или даже дни, в которые будешь думать о своем позоре. «Лучше бы убил меня, сволочь! Лучше бы сразу убил! Вернись и убей!» — молила она насильника. Догадался связать... Иначе догнала бы его, выждала момент и убила, потом нарушила бы и себя... Опутал, будь ты проклят, злодей!

И все же, когда подле избушки взвизгнули чьи-то лыжи и порог перешагнул человек, тоже незнакомый, Павла помертвела. Второго позора ей не выдержать. Лучше головой об стенку. И взвыв яростно, она стала биться затылком, но человек незнакомым, добрым голосом заговорил с ней ласково и с укором:

— Ты че, девка, совсем сдурела?

А Павла выла и билась, пока с нее не свалилась шуба, и человек, Павел Брус, не увидал ее оплетенные сыромятным ремнем руки и ноги.

— Кто ж тебя так, птаха? — разрезая застывшие ремни, наговаривал он. В голосе были печаль и жалость.— Зверь он поганый! Зверь, не человек!

Потом, отвернувшись, дал ей одеться, усадил плачущую за стол и принялся растоплять печку, тихо внушая.

— Меня-то не бойся. Неуж не узнала? Павел я...

В Быстрихе живу. На заготпункте встречались, помнишь? Знакомцы, значит. Давай пей чаек-от. А того варнака я достану. Не забоишься, если уйду? Тут, сказывают, еще один дезертир бродит.

— Не уходи,— услыхав о дезертире, попросила Павла и, плеснув себе в лицо из ведра, увидала в воде на волосах белое снежное пятно. Думала, куржак настыл. Потерла — куржак сединой оказался.

Через неделю Павел пришел и позвал ее к себе вместе с сестрами.

— Лучше уж ты к нам переселяйся,— сказала Павла. Он согласился. И через год родился Алеша.

Жили с Павлом по безмолвному уговору — не вспоминать тот страшный случай в лесу. Правда, однажды вспомнить все-таки пришлось. В Быстриху привезли из лесу двух дезертиров. Павел накануне уехал за сеном на дальний покос, воротился через сутки. А за эти сутки к завозне, где сидели в ожидании милиции дезертиры, подходил сохатый. Одному из дезертиров, Василию Брусу, от выстрела через окошечко разнесло череп. Стрелявшего не нашли да и не искали особо. Зато Павел, вернувшись домой, увидал за поленницей два больших сохачьих копыта. В просверленные дырочки кто-то вдернул ремни и, верно, привязывал ими копыта, как дети привязывают коньки-снегурки. Ничего не сказав жене о находке, сбросил копыта в прорубь и ушел в лес. Охота на ум не шла. После охоты, обычно скупая на выпивку, Павла расщедрилась, собрала богатый стол, хотя гостей и не приглашала. Павел с устатку опьянел и скоро свалился. Во сне метался и вскрикивал часто что-то о человеке. «Человек добр? — с трудом различала Павла в несвязных его выкриках.— Зверь человек, хуже зверя... Копыта у него ворует... зверь...»

— Мужики, сказывают, берлогу нашли у Беличьей горки. Пойдешь? — спросила поутру Павла, давая мужу опохмелиться.

— На медведя-то? — криво усмехнулся Павел и нервически заморгал, моргал долго, пока не выплеснул в себя самогон.— Чем он мне помешал, медведь? Пущай живет...

Павла посмотрела на него с кротким упреком, тяжело всплеснула ресницами, потупилась и вдруг как брызнула слезами без крика, таких слез Павел больше

не видел, подхватила с полу трехлетнего Алешку и всю рубашонку омочила ему слезой. Ребенок плакал, теребил ее щеки пухлыми ручонками и, картавя, бранил отца, который непонятно за что обидел мать.

И еще лет семь-восемь жили как-то придавленно-спокойно, разно и зачастую розно. Павел стал о чем-то задумываться, совсем перестал ходить на охоту. Павла изредка покрикивала на него и, не получая отпора, сердилась. «Побил бы хоть, что ли! — думала с тоскою. А он и пьяный — часто стал зашибать — ее не касался: схоронив брата, о котором ни разу не заговаривал, враз переломился, и взяло в нем верх что-то слабое. «Ну чистый сектант! — смеялась Павла, впрочем, посмеивалась осторожненько. Душа-то хрупкая в человеке. Неосторожно заденешь и расшибешь.— Живешь в лесу. Молишься колесу».

Он отмалчивался. Устроившись лесником, совсем молчуном стал. Часами простаивал около деревьев, словно постигал в них что-то, а какие в дереве тайны? Дерево оно и есть дерево. Пока растет — живет, человек пилой поелозил — пало. Вот и вся философия. Однако задумчивость мужа Павлу тревожила, порой даже пугала. «Такой тихий возьмет и сотворит че-нибудь, ежели не со мной, дак с собой». На ночь, если Павел не в лесу был, а дома, да еще хмельной, прятала от него топор и ружье подальше.

Там же, в лесной избушке, Павел приручил малого медвежонка. Медведицу и еще двух медвежат приезжие охотники подстрелили. Этого как-то проглядели. И жил мишка весь год у Павла, бегал за ним, как собачонка. Случалось, и домой приходил. Только Легеза строго-настрого упредил: «В деревню зверя не води! Он ведь зверь, никто не угадает, что у него на уме. А тут дети, да и вообще — люди».

— Ну да, конечно,— хмуро согласился Павел и оглянулся на жену.— Тут люди... двуногие, значит... и без копыт.

Медведь в Тапе больше не появлялся. Но по первоснегу — Кузьме уж третий годок доходил — приехал в Тап пострелять косачей военком. И попадись же ему тот самый медведь прирученный! Военком не испугался, стрелял он отменно. И тут попал в косолапого. Но что для медведя мелкокалиберная пуля! Оставила в шкуре царапину, раздразнила и разбудила в нем вечное

недоверие к давнему врагу — человеку. Военкома с перепомленным позвоночником увезли в больницу. Медведь ушел. Теперь его следовало убить, потому что отведал человеческой крови. И Павел вспомнил, как был когда-то охотником, достал старенькое свое ружьишко. Ходить далеко не пришлось. В тот день Алеша и Кузьма катались с горки. Медведь вышел прямо на них. Услыхав крик ребячий, Павел кинулся к горке и узнал своего ручника. Сгоряча-то не сообразил, что зверь обижен и никому теперь не верит. Ружьишко с плеча не снял. Медведь подмял его и, наверно, изорвал бы, но подоспела Павла, положила медведя с первого выстрела.

Собрали Павла по кускам, сшили. Левый глаз закрылся, нога стала волочиться и мерзнуть, и плечо опустилось. Только и осталось пасти коров, да и то если давали в помощь резвого подпаска. Одному бы и с этим не справиться.

Когда хворал, а хворал долго, из больницы в больницу перевозили, все заботы о семье легли на Павлу. И хозяйство вела, и ребятишек растила, да раз-два в неделю к мужу ездила на свиданки. Вернувшись домой, весны две отсиживался по-стариковски на завалинке. И только на третью оклемался и с ручьями запросился в пастухи...

И зажили с этого времени Брусы на разных скоростях. Одному казалось, что медленно, долго и обременительно для людей живет. У другого жизнь птицей летела. Той самой птицей, которая не каждый год домой возвращается из дальних стран. И тридцать минуло, и сорок... Один сын в армии отслужил, вернулся. Другому — десять. И все счастье, говорят, в детях. Если Алексей женится, то уж полсчастья останется, да и того отпущено лет на десять, пока младшенький, Кузьма, не окрылится.

А Павла не жила еще по-людски. То сестер на ноги ставила, то детей... И сорок один уже... Ведь сорок один мне, люди! Вы поглядите, какая я! Вы только поглядите! Раньше-то не замечала, что собой хороша, некогда было. Теперь вот выбрала время, поздновато, правда, выбрала, присмотрелась. Впрочем, сама-то не додумалась бы до этого, так бы и прожила век в хлопотах. Один человек помог, Дмитрий... Неужто приедет он сегодня? Неужто приедет?..

Глава третья

Минувшей зимой охота была как никогда. Зверь обступил Тап со всех сторон. Шел от Урьевска. Там буровики его потревожили, согнали с обжитых мест. Если забраться на дерево, видно, как горят факела подле Урьевска. Нефтяники сжигают попутный газ. Вот этого газа и пугается зверь, бежит туда, где потише. Особенно горностая много и белки. Но реденько и соболь встречался. Двух росомах добыла тоже. «Уходит зверь... скоро совсем уйдет»,— возвращаясь с промысла, думала Павла. Шла грузно, соизмеряя каждый свой шаг. До Тапа оставалось километров пятнадцать, а силенки порастрясла, набегалась за день-то. Груз хоть и невелик — десятка три белок, пара соболишек да рысь с росомахами,— а шкуры сыры и плечо тянут. Ну пусть, пусть, зато деньга будет! Соболей на шапку себе пущу. Из двух-то добрая шапка выйдет. Хоть в сорок годков пофасоню. В меха, в золото разоденусь.

Господи, вот разлетелась! Никогда о тряпках не помышляла. Уж поздно в соболях-то форсить, и золото теперь ни к чему. Нашла подле старой башни тем летом золотую лошадку. Случайно подняла, думала, из детей кто-нибудь обронил игрушку. Принесла домой, почистила — и ахнула: золото да еще и старинное! На кольца переплавить — это сколько ж колец будет? На все пальцы надеть можно.

Сняв рукавицы, отерла пот со лба, поглядела на руки и горько рассмеялась: «Такие рученьки хоть чем украшай... не руки — грабли. А ведь когда-то ладошки-то не шире горностаевой спинки были. Ох времечко!»

— Э-эй! — Павла вздрогнула от неожиданности, отскочила за дерево, сорвав с плеча карабин. Мужик в лесу, да если еще вооруженный, то он почище зверя. В него без предупреждения стрелять надо, пока сам не выстрелил или как тот, бурый, не подмял тебя. Затаившись за кедром, Павла ждала, когда человек себя объявит. Палец держала на спусковом крючке. Холодея от ужаса, вспомнила: «Карабин-то разряжен!..» Наведя карабин в ту сторону, откуда шел голос, держала его правой рукой, левой нащупывала сумку с патронами.

— Не прячься... худо мне... выйди,— отрывисто и слабо говорил встречный и, лежа на животе, махал рукой.

Павла, все еще не доверяя и успев зарядить карабин, чуть выглянув, приказала: — А ну покажись!

— Экая ты пугливая! — Человек рассмеялся, повозился и сел.

— Не пугливая, а ученая. Разные тут бывали... Чего надо?

— Да видишь, ногу сломал... шел, а теперь уже ползу. Куда — не знаю. Счастье, что встретились.

Павла подошла ближе, держа карабин наизготовку. Сидевший на снегу человек был в меховой куртке, досиня бледен и бородат. Борода не безобразила его худого лица, а как бы придавала ему тихую печаль. В глазах, под которыми собрались смешливые морщинки, тоже таилась грусть. Глаза не смеялись. Зато молодо и ярко сияли крепкие зубы.

— Откуда бредешь-то?

— На рябков ходил... вчера еще. Пострелял маленько да припозднился. Спускался на лыжах по крутояру, упал... И вот сломал... Считал, домой иду, в Урьевск, а видишь, где очутился...

— В Урьевск? — Павла усмехнулась.— Он, Урьевск-то, верстах в пятидесяти. В обратную сторону идешь.

— Дал кругаля горе-охотник,— человек покачал головой и опять коротко посмеялся. Очень славно он смеялся, открыто и полугрустно, полувесело.

— Рябчиков-то хоть настрелял?

— Где там! Ни один на мушку не сел... Охотник из меня, как из тебя же, наверно,— Павлина добыча была брошена неподалеку в снегу, и он не видел того, что она напромышляла за один выход.

— Из меня? Ох ты, лапоть! — увидав дятла на сосне, Павла вскинула карабин, не целясь, выстрелила, и птица упала к ее ногам.

— Зачем ты его? Такой красавец! — вместо того чтоб удивиться ее ловкости, он жалостливо поморщился и невольно отстранился.

— Пожалел? А я и тебя могу,— жестко усмехнулась Павла и поиграла пальцем на спусковом крючке.

— Пожалуй, можешь,— посмотрев ей в лицо, согласился он.— Глаза у тебя недобрые.

— А с чего им добрыми быть? Добра в жизни мало. А может, и вовсе нет.

— Добро люди в себе несут,— хмуро возразил он и, отчужденно сведя густые выцветшие брови, с издевкой спросил: — Дорогу-то покажешь? Или самому искать?

— Ищи, если найдешь,— также недоброжелательно отозвалась Павла.

— Вот и договорились,— он взял в руки две суковатые палочки, лег на широкую охотничью лыжину и, стиснув зубы, медленно заскользил по снегу, выкидывая руки вперед, а вслед за ними подтягивая все большое, громоздкое тело. К левой ноге, по-видимому, сломанной, была привязана оружейным ремнем дощечка — осколок другой лыжины.

— И далеко ты так убредешь?

— Да уж куда-нибудь убреду... уползу, если сил хватит.

— Уползешь... на тот свет,— силком остановив его, ворчливо, но уже примирительно сказала Павла. Он уступил ей, болезненно скривился и сказал:

— Простыл я, однако, елки зеленые. В глазах рябь...

— Еще бы не простыть! День или больше по снегу елозишь.

Павла разгребла снег, наломала лапника и уложила на него больного, а сама занялась костром. Оба молчали. Один сурово, но благодарно. Другая, немножечко волнуясь и удивляясь этому волнению, смущенно. «Наговорила ему всякой ерунды,— думала она, раздувая огонь.— Еще поверит, дурной!»

— Поди, и впрямь решил — брошу? — спросила, когда костер разгорелся.

— Человек же ты. И, наверно, мать. А меня тоже мать родила.

— Звать-то как тебя?

— Попов Дмитрий Николаич. А можно и просто — Дмитрий. Мы с тобой ровесники вроде.

— Тридцать шесть мне,— непонятно зачем убавила Павла и стала распутывать на сломанной ноге шину.

— Мне на год больше,— сказал он, жестом останавливая ее.— Погоди. Я должен это... по нужде. Отвернись, я отползу.

Она вспыхнула, но тотчас одолела смущение и проворчала:

— Вот еще! Ты больной. Больных за мужчин не признаю.

— И все же отойди, пожалуйста. Я так не могу.

Она отошла, минут десять побродила в кустах, собирая валежник. Когда вернулась, он лежал на прежнем месте. Но по следам было видно: отползал. «Какой чистоплотный!» — с уважением отметила Павла и, навесив котелок со снегом, занялась его ногой. Ступня распухла и посинела. Чуткие опытные пальцы тотчас нащупали перелом, легонько помяли. Он застонал.

— Это нестрашно. Я думала, хуже,— туго перебинтовав и надев на бинт запасные оленьи чулки, оба на одну ногу, Павла приладила поверх них шину, остругав ее поаккуратней.

— Вот, а теперь кофе выпей и — в путь,— сказала она, снимая с огня закипевшую воду.

— До жилья далеко? — спросил он, благодарно ей улыбнувшись.

— Далеконько. Километров пятнадцать, если не все двадцать.

— Ого! С моей скоростью долго ползти придется.

— Тут в километре есть избушка. До утра в ней побудешь. Утром приеду на лошади — заберу.

— Это уже лучше.— Он опять лег на лыжу, велев привязать себя к ней.

— Ни к чему. Выключай свои аэросани,— остановила его Павла, вставила здоровую ногу в лыжный ремень, приказала подняться.— Теперь обопрись на меня и пойдем. А как ослабнешь — скажи, понесу на закорошках.

— Смотри-ка ты! — радостно удивился он.— Двое на трех ногах! Я бы ни за что не додумался.

— Потому что в лесу никогда не жил. А нам из всяких передряг выкручиваться приходилось,— изменившимся, размягченным голосом отвечала ему Павла. В горле ее пела какая-то добрая птица.— Ну, с богом!

Он, хоть и с великим трудом, и опираясь на плечо Павлы, добрел до самой избушки. Едва перешагнув порог, вдруг обессилел, видимо, окончательно выложился. И задышал сразу тяжело и сипло. Из груди рвалось что-то живое, очень болезненное и беспокойное, билось и не могло вырваться. «Я не оставлю его,— думала Павла.— Как же я его такого брошу. Вон как мечется!»

Она натопила, как баню, избу, наплавила снегу, раздела его, покорного, слабого, до белья и, придвинув к печке, стала отогревать.

— Тебе попреть надо, Дмитрий Николаич,— шепта-

ла тревожно и успокаивающе, поглаживая мокрый его чуб, свисающий над больными, воспаленными глазами. Глаза то закрывались, то вдруг широко распахивались и смотрели бессмысленно, не узнавая. Он метался в жару, все порывался куда-то бежать, кричал и поднимался, но, ступив на больную ногу, падал. Павла разделась сама и, свалив на него всю одежду, его и свою, едва он начинал шевелиться, охватывала поперек руками, и всею тяжестью висла, и роняла больного обратно. Он был силен, много сильнее ее, но болезнь подорвала его силы, и Павла пока еще с ним справлялась. Промаялась с Поповым до полуночи, а когда он утих и забылся сном — отерла сухой тряпочкой раскаленный и шершавый его лоб, припала рядом и мертвецки уснула. Спала без просыпу часа четыре. Проснулась с улыбкой, предчувствуя что-то хорошее, только что вошедшее в ее жизнь. Чья-то рука поглаживала ее плечо. Павла, не открывая глаз, взяла эту руку в ладони, прижала к губам и счастливо заплакала.

— Чего ты? — не отнимая руки, спрашивал Попов, другою рукой поглаживая ее волосы.— Может, обидел чем, а?

Обняв его, Павла прижала к себе и шепнула:

— Хорошо мне с тобой, вот чего. Думала, никогда так не будет.

Попов прожил на заимке неделю. Потом его забрал вертолет. Выздоровев, он появлялся на острове тайком. И в прошлое воскресенье приплывал сюда на моторке. В лесу, у Беличьей горки, их увидал Легеза. И Павла испугалась, когда Легеза вошел в ограду. «Вот скажет сейчас,— замирая от ужаса, думала она. А потом вдруг решила: — Пускай говорит. Ломать так все сразу. Чего я боюсь? Все равно шила в мешке не утаишь».

Легеза не сказал ничего, ушел. И не скажет, наверно. А Митя опять приедет... Приедет, приедет!

Глава четвертая

У Кузьмы свои заботы, своя, ото всех обособленная жизнь. Взрослым невдомек. Они умничают больно, взрослые. Думают, если человеку десять лет, то он и людей не понимает. А между тем и понимать-то нечего:

суть в том, что миру нет меж ними. Вроде и не ссорятся, а всяк в свою сторону тянет. Алешка бежать нацелился. Из-за Сороки, конечно. Отец все в лес норовит уйти, его ровно и дома нету. Живет тише мышки. Всех перетягивает мамка. Она вон какая сильная! Без страха живет, без оглядки. Только сердится часто. И на отца сердится, и на Алешку. А те помалкивают пока, мирятся. Но мира нет...

Услыхав шаги в ограде, Кузьма выглянул с сенника, сочувственно хмыкнул. Под крышку, потягиваясь, прошел старший брат. До самого рассвета проворковал с Сорокой. Год не виделись, а встретились — завели беседу про башню, которую построил где-то здесь Иван Кольцо, про древние миры, про Тутанхамона. Вот люди! Целовались бы, что ли! Кузьма, к примеру, ничего привлекательного в поцелуях не обнаружил. Чмокнул както раз Тоньку Недобежкину, а та его — ну и что? Смешные, смешные люди!

Цыкнув, Кузьма вытянул губы трубочкой, посвистел. Козленок оглянулся на него: чего, мол, ты?

— Дураки они, вот что. Верно, Петька?

Алексей попрыгал, шаркнул кулачищем висевшую под крышкой боксерскую грушу. Кулак с детскую балалайку. Зимой вызвали Алешку на соревнования. Противник начал бой, заприплясывал вокруг смущенного Алексея, нанося удары то слева, то справа. Алексей удивленно прикрылся, отступил, а потом тюкнул его правой «балалайкой» и кинулся поднимать. Но противник так и не пришел в себя. Пришлось вызывать врача. От следующего боя Алексей отказался.

— Ты же в чемпионы мог выйти,—упрекал Кузьма, в душе уверовав, что брат в состоянии победить самого Лемешева.

— А зачем? — Алексей вскинул на него кроткие, ничем не озабоченные глаза, наверно, искренне недоумевая: почему это люди так усердно молотят друга друга, рвутся к чемпионским титулам. Много ли радости в том, что поколотишь десяток, другой ни в чем не повинных людей, которые слабее тебя? Алексея и в армии уговаривали всерьез заняться боксом, но он бегал на лыжах, стрелял, а на ринг выходить стеснялся. «Неудобно, стоишь голый перед людьми...» — но председатель колхоза, сам в прошлом спортсмен, пристыдил и обязал драться. Тем не менее боксера из Алексея не вышло.

А вот с Сорокой о разных разностях может без устали стрекотать. «Присушила! — подмигивая козленку, думал Кузьма.— Погоди, это еще цветочки!»

«Пах, пах, пах!» — груша, не зная куда деваться от могучих ударов, летала между кулаками боксера, крышей и стеной.

— Бой с тенью, а? Скажи ты! — скатившись с сеновала, удивлялся Кузьма.— И для чего с тенью дерутся?

— С кем же драться, когда противника нет? Пах! Пах!

— Ну да, тень сдачи не даст. Верно?

— Ах ты ежик! — отпихнув грушу, Алексей снова с хрустом потянулся и, не скрывая счастливой улыбки, проговорил: — Хорошо как, братан! Ух, хорошо!

— Немало хорошего: с Сорокой целовался.

— Нет, ты не знаешь, не понимаешь. Хорошо, чудесно!

— Испытал я эти чудеса. Брр!

— Целовался? С кем?

— Мало ли с кем! Не проболтаюсь.

— Ну молодец!

— А ты зачем отказался от чемпионства?

— Куда оно мне, чемпионство? Я не с людьми хочу драться, а за людей.

— С кем же ты драться собираешься... за людей?

— Со всеми, кто жить мешает.

— Намнут бока! — Кузьма толкнул брата в тугой живот и принял стойку: «Бокс»! Алексей подхватил его и принялся кидать, точно это был не Кузьма, здоровый, плотный, как сыр голландский, парень, а поролоновый тюк.

— Уронишь еще! — выйдя в ограду, предостерегла мать. Вышла — на каждой руке по корзине: за ягодами собралась. «Ох, будет мне работенки!» — недовольно поморщился Кузьма. Собирать ягоды — дело девчоночье.

— Опять с очкастой ночь ворковал,— поставив корзины, начала допрос Павла. Увлечение Алексея было ей не по нраву.

А тут еще и Кузьма подбросил жару в огонь:

— Зернышки с Сорокой клевали.

— От матери нахватался? — незлобиво упрекнул его Алексей.— Ты бы хорошему у нее учился.

— Сам-то чему научился? — подхватила Павла.—

Ослушанию? Чтоб я тебя больше не видела с этой совой!

— Не обзывай, мать! Вита славная!

— Вита! Имя-то, прости господи, и то бусурманское! Да и с виду галка галкой. Вот явится — я ей перья повыщиплю!

— Не тронь, мать. Ты ее лучше не тронь.

— С матерью спорить? Смотри мне! Ступай завтракать! — видя, что старший сын рассердился, Павла заулыбалась, перевела разговор. Он хоть и добрый, а в гневе не сдержан бывает. Струну-то нельзя натягивать до предела: порвется.— Ступай, ступай, жених!

— Сначала выкупаюсь, чтоб сон отбить,— Алексей перемахнул двухметровый забор и рысцой затрусил к берегу. Кузьма отправился за Петькой, который орал и требовал снять его с сеновала.

— Оставь его! Пускай на травке пасется,— строго остановила мать.

Кузьма отмолчался, посопел и усадил козленка в корзину. Павла вздохнула. Когда младший молчит, значит, обязательно повернет по-своему. Все в доме ходят по плашке, слушаются ее, а этот своеволен. То есть он никогда не перечит, толков, исполнителен, но если что задумал,— лучше не тронь, отступись. «Кирпич — не парень! — жаловалась Павла соседкам, но втайне гордилась несгибаемостью Кузьмы.— С козлами водится, и сам, как козел, упрям».

Петька запротестовал, выпрыгнул из корзины и часто-часто заперебирал ножонками, припадая к штанине Кузьмы.

Остров — вроде и не остров уже. С одной стороны Обь, с другой — Коровья протока. Обозначена так за то, что ее вброд переходят коровы. Летом протока пересыхает. В ямах шуршат камыши, высиживают птенцов утки, бродят журавли, которых здесь никто не трогает. «Поганая птица»,— брезгливо плюются старики, видя, как журавли глотают ужей и лягушек. По острову и по всему берегу вглубь засилье кедра, сосны, ели. Их чащобы оторочены по краю березняком и осинником. В низинках — красная и черная смородина. В травяной стлани — черника, брусника, клюква. Черника осыпается уже, брусника только что налилась, а клюква еще розовата, но тоже вот-вот подойдет. И грибов нынче невпроворот. На весь год запасли и впрок, и на прода-

жу воза четыре набрали, а они прут и прут. Кузьма уж смотреть на грибы не может — до того надоели,— в глазах рябит от коричневых, белых, рыжих и синих шляпок. Год этот как никогда урожайный. А обирать урожай некому. Разъехался народ из Лесного Тапа. Когда-то (Кузьмы в ту пору среди действующих лиц не числилось) селение людное было. Но после войны народу поубавилось больше чем вполовину. Из ушедших на фронт вернулись двое — Василий Брус да Григорий Недобежкин. Григорий прожил всего одну осень. Поднатужился в лесу, разошлась какая-то рана, и нашли его подле спиленной березы в кровавой луже. А Брус-старший кончил бесславно. О нем забыли.

Поразъехались жители Тапа. Многие переселились на центральную усадьбу. Там и кино, и сельсовет, и школа. Культура, одним словом... И речной трамвайчик там же причаливает, а дважды в неделю — теплоходы «Генерал Карбышев» и «Чернышевский». Но Кузьме больше нравится жить на острове. Здесь ему вольно, сам себе хозяин. Белочки пищу берут с ладошки, бурундучок посвистывает, увидев Кузьму. Правда, при Петьке носа из норы не показывает. Петька — диковинный зверь.

Коренное население Тапа занимает теперь два дома. Плотники и вчера приехавшие археологи не в счет. Они временные. Правда, скоро народу прибавится. Плотники не напрасно хлеб едят. Посулились в августе сдать санаторную школу. Директором школы назначена Анна Ивановна Легеза, жена ветеринарова. Она записала Кузьму в свой класс. До этого года он учился на центральном. Тоже путево. Иной раз неохота тащиться на занятия, скажешь матери: «Волнит шибко!» — она выглянет в окошко и отмахнется: дескать, сиди дома. Дома, конечно, Кузьма не сидит. Забирается в лес или носится как угорелый по острову. А то еще мудрит над велосипедом. Перебрал несколько раз, смазал, выкрасил. Звездочку бы достать, и — полный порядок! Но звездочки нет. Мать только обещаниями кормит.

Ягоду в рот, две — в корзину, в рот, опять в корзину. Мать удало берет, в обе руки. Кузьма отошел в сторону, растянулся в траве и уставился в небо. Петька, пристроившись рядом, обнюхивал муравейник. Рассвирепевший муравей вцепился ему в ноздри; козленок за-

блажил, замотал головой и, прыгнув, перевернулся через спину.

— Что, попало тебе, акробат? Любопытный больно! — усмехнулся Кузьма, отстегивая муравья, изогнувшегося, точно рыболовный крючок.

Козленок уткнулся мордочкой в колено Кузьмы и терся ею, снимая неизвестно откуда взявшуюся боль. Мальчик прижал к себе маленькое, нервно подрагивающее тельце и потрепал козленка за уши. В небе стремительно неслись облака, точно боялись кого-то, над деревьями бился в одиночку ветер, раскачивал кедры, ронявшие старые иголки. «Слабо?» — подмигнул Кузьма скулившему ветру и спохватился: в корзине-то едва-едва дно скрыло. Эх, раньше вечера из лесу не вырваться! Мать ни за что не отпустит. Скажет: «Твой урок, выполняй». Сама снимет передник и еще напластает столько же. Никогда не устает, будто железная.

Кузьма планировал к плотникам наведаться. Чудные мужики, из баптистов. По воскресеньям божественные стихи распевают под гармошку. Поют не шибко складно, но старательно. Иннокентий, младший из них, подыгрывает. Он-то и обещал поучить Кузьму на аккордеоне. Аккордеончик с переключателями — высший класс! Нажмешь один регистр — колокольцы зазвенят, другой нажмешь — орган зарыдает. «Эх, если бы мне такой!» — о несбыточном размечтался Кузьма, но из малинника его окликнула мать.

— Хватит валяться, лежебока!

— Мам, ты почему Алешке жениться запрещаешь? — отряхивая малинник, спрашивал Кузьма.

— Что-о? — удивленно протянула Павла. Впрочем, она отлично слышала, о чем спрашивал Кузьма.— Вот еще заступник нашелся.

— Ты какая-то старорежимная у нас.

— Еще что скажешь?! Пускай женится на доброй девке. Чтобы помощница в доме была. А эта — толку от нее не жди.

От протоки послышался голос Павла. Кузьма — лишь бы ягоды не рвать — тотчас откликнулся на зов.

— Я на выпаса, Кузя. Там омуток приглядел. Приплывай. Сети бросим.

— Ладно, приплыву, ежели час будет,— Кузьма все-таки рассчитывал убежать от матери к плотникам, попиликать на аккордеоне.

— Это тебе,— Павел сунул Кузьме только что выточенную фигурку медведя.— Глянется?

— Как живой,— похвалил Кузьма, скрывая свое равнодушие к рукоделью отца.

— Я тебе еще вырежу... Вот погоди! — обрадованно пообещал Павел. Он любил младшего сына до умопомрачения, но чувства свои скупо таил. Зато как же сияло его сумрачное лицо, когда Кузьма оставался доволен отцовским подарком. Подарки эти были неприхотливы: либо пташка, подобранная в лесу, либо полузамерзший зверек, либо кулек кедровых орехов. Теперь вот медведь этот...

— Не надо больше, пальцы-то болят, небось,— отказался Кузьма, думая вовсе не об изувеченных отцовских пальцах. Просто он вышел из того возраста, когда можно играть в игрушки. А отец не понимает этого и насилует свои израненные руки.

— Опять игрушку мне выточил,— ответил Кузьма на невысказанный вопрос матери.— Что я, дите?

— До седых волос дожил, а все ерундой пробавляется,— пренебрежительно скривилась Павла.

Это задело Кузьму, и он решил вступиться за отца самым испытанным способом:

— Игрушки-то эти... продать можно.

— Да что ты? Думаешь, купят?

— С ручками, с ножками. Я в магазине хуже видал — берут,— Кузьма чуточку привирал. Он действительно видел когда-то заводские и фабричные игрушки в «Детском мире», но о качестве их не задумывался. А если и впрямь рискнуть, а? Эта мысль его увлекла.— У меня штук двадцать в заначке. По рублю штуку — это ж двадцать рублей. Вот здоровски, мам?

— Хм! Хозяин! Сам продашь или мне доверишь?

— Сам. Для дела деньги нужны.

— Нужны — копи. Одобряю.

Однообразный скулеж ветра пробил дальний рокот. «Вертолет!» — определил Кузьма и решил помахать летчикам, может, заметят с воздуха крошечного человечка.

Но вертолет шел с креном. Его швыряло, а под брюхом раскачивался пакет обсадных труб. Экипаж изо всех сил старался восстановить равновесие, но ветер мешал, наскакивая то с правого, то с левого борта, и машина теряла скорость. «Приземляйтесь! Там же по-

лянка!» — закричал Кузьма и, опрокинув корзину с ягодами, устремился к людям, которые оказались в беде. Он кричал, он размахивал руками, где-то обронил по дороге кепку, рассадил лоб. Его не слышали.

Вертолет снес несколько деревьев и рухнул. Воздушная волна толкнула Кузьму назад. Он больно ударился о листвянку затылком и потерял сознание. Пришел в себя оттого, что Петька поддел его лбом с еще не распечатанными рогами.

Кузьма, охая, встал и поплелся туда, где пылал вертолет. Осталось миновать полянку, подняться на взгорыш, а там уж рукой подать. Но шагалось трудно. Теперь уж не вертолет колыхался — вся земля колыхалась, точно шарик на ниточке, которую раскручивал какой-то чудик. Вдруг выпустит из рук ниточку, и полетит земля в тартарары. И пускай летит, чтоб ветром, чтоб скоростью сорвать вон тот оранжевый гриб, выросший посреди спокойного леса. Хорошие люди, летчики, везли геологам трубы...

Кузьма еле-еле одолел взгорыш. Еще немножко, и покажется вертолет. Быть может, из летчиков кто-то жив! Быть может, Кузьма сумеет вытащить его из горящей машины!

Но чья-то крепкая рука дернула мальчика за шиворот.

— Куда летишь, оглашенный? А если еще раз ахнет? — закричала на сына Павла. И точно: ахнуло.

— Пусти! Пусти! — отбивался мальчик, но не смог вырваться из рук матери, обмяк и в отчаянье опустился наземь.

— Полно, сын, полно! Им теперь не поможешь! — закрывая от него пламя собой, говорила Павла. Грохнул еще один взрыв, и по макушкам деревьев пронесся опаляющий смерч. Все стихло. Только черный дым уплывал в черное небо. Только осыпались ошпаренные иголки с деревьев.

— Не ходи,— упрашивала мать, но Кузьма и не порывался больше.— Я сама... сама.

Она ушла и скоро вернулась, шатаясь, точно пьяная. В руках у нее был топор.

— Нашла вот,— сказала, не глядя на Кузьму.— Может, сгодится в хозяйстве.

Мальчугана тошнило. Ноги не слушались. Забыв о ягодах, Павла взяла сына на руки и зигзагами, будто

следы путала, уходя от судьбы, пошла к острову. Сзади, прихрамывая, плелся Петька.

Слева еще горело, и зрелище после взрыва было, наверно, ужасно. Иначе бы мать не бежала оттуда так стремительно, а прежде помогла людям, если б они там были живы.

Но вот с пригорка, пьяно разъезжаясь ногами, сошла женщина в летной форме. Левая щека ее была разодрана, белые волосы опалены и надорван рукав синего кителя.

— Мам, гляди! — показал Кузьма на летчицу и соскользнул с рук. Женщина сделала какой-то невероятно широкий шаг, села и, увидав подошедших, махнула куда-то вбок рукой.

— Скажите там,— прошептала она.— Скажите, что мы...

И — сникла, словно впала в долгий и желанный сон.

— Жива, значит,— склонившись над ней, сказала Павла, вглядываясь в красивое, со щеки окровавленное лицо.— «Красива-то как! Красива! Тебе бы не здесь, такой королеве... не в тайге, а где-нибудь в городе красоваться...»

— Она не умрет, мам? — прерывистым, испуганным шепотом спрашивал Кузьма, проникаясь бедою белокурой чужой женщины, чудом уцелевшей после падения вертолета.— Давай понесем ее, а? Давай домой понесем!

— Я сама, Кузя,— отстранив его, сказала Павла, любуясь бледным, почти безжизненным лицом летчицы.

Кузьма нес топор и Петьку и гадал: был ли еще кто-нибудь в вертолете? «Хоть бы никого больше не было! Хоть бы никого!» — как заклинание повторял он и шагал за матерью, на спине у которой была та самая женщина, летчица.

А кроме женщины были еще двое. И они погибли. Женщину забрал самолет санавиации. Она еще будет летать, еще побывает не раз в Лесном Тапе.

Глава пятая

Баня была истоплена, а шефы не появлялись. Да, может, и к лучшему, что не появились. Кузьма, верно, от пережитых волнений вдруг свалился. Во сне бредил

и все порывался куда-то улететь. А когда жар спал, когда на лбу выступила легкая испарина и сон стал спокоен и легок, он снова летал, только теперь летал по всем правилам, сконструировав себе портативный вертолет в школьном ранце. Вертолет мог и летать и плавать. А ранец будто нарочно был создан для универсального изобретения Кузьмы: на лямке кнопка; включаешь ее — заводится крохотный двигатель, вращает винт и — лети себе сколько хочешь. Надоело — нажми ту же кнопку и приземляйся. Здорово! Жаль, что все это только сон! А если впрямь смастерить себе такую машину? Надо где-то раздобыть учебники. Может, к летчикам обратиться? У них, понятно, все необходимые книжки. Ой!.. Кузьма вскрикнул: перед его глазами повторилась жуткая картина взрыва. Мать тревожно склонилась над ним, заглянула в глаза под истончившимися веками.

— Опять худо тебе, сынок?

«Сынок! — мысленно усмехнулся Кузьма.— Ласковая какая стала!» — А мать гладила его потные волосы, холодный влажный лоб и молчала. Он тоже молчал, не открывая глаз.— Все-таки она добрая, моя мамка! Ничего что скупая. Я уж большой, сам должен зарабатывать».

— Мам,— пробормотал он, засыпая,— я завтра к белорусам пойду. Может, возьмут в свою бригаду...

— Лежи-полеживай! Работничек выискался.

Но Кузьма уж не слышал ее. Он спал и не слышал, как вернулся с выпасов отец, сходил в баню и, чисто вымытый, теплый, всю ночь просидел у сыновнего изголовья. Утром, так и не отдохнув, снова уплыл в бударке к своему стаду, оставленному в лесу на подпаска.

Кузьма проснулся, когда мать принялась будить Алексея. «Наверно, опять до петухов проговорил с Сорокой!» Мать, рассердившись на старшего сына, окатила его ледяной водой.

— Лучшего ничего не придумала? — мотая головой, ворчал Алексей.

— Не возникай! Сказала: не быть вам вместе! Пускай городского себе ищет!

Алексей сдернул куртку с крючка и без завтрака выскочил за порог. На столе долго-долго приплясывала посуда, когда за ним захлопнулась дверь.

— Хоть бы путную подыскал, а то ни кожи ни рожи. Только и форсу что очки во весь мурлет.

Кузьма не возражал матери, но девушка ему нравилась. Это она подарила в прошлом году книжку греческих мифов. Очень добрая! Очень умная! Стоит ей снять очки — глаза, растерянные, близорукие, источают такую доброту, что в пору спрятаться. Кузьма, зная об отношении матери к Вите, всегда чувствует себя виноватым, будто украл что-то ценное или не показал заблудившемуся человеку дорогу.

— Я выйду на улицу, мам,— сказал он расслабленно, и сам удивился своему голосу. Голос, словно у балованной девчонки.— Душно тут.

— Выйди, на завалинке посиди. А я медку свеженького из подполья достану.

Кузьма оценил ее жертву. Мать гнала мед только на продажу. Но для больного сделала исключение. Сейчас он усядется за стол, заедет ложкой, отлитой отцом на войне, в тарелку... У Кузьмы аж слюна загустела!

Но во дворе к нему подбежал Петька, смешной черный чертенок!

— Потерял меня, одноглазик? Хворал я,— козленок понимающе мемекнул.— Да сам не знаю, с чего,— торопливо заоправдывался Кузьма.— Дурь какая-то прицепилась. Может, со страху...

Лишнее брякнул: Петька хоть и козленок, а ни к чему ему знать про чужие страхи. Мужику зазорно показывать свою слабость. Один раз дашь себе потачку, другой, потом вообще превратишься в плаксу, в нытика.

Кузьма взял козленка на руки и, щекоча его шерсткой лицо, вышел на улицу. Через полчаса — сам не заметил, как это случилось,— оказался на месте взрыва. Среди обгоревших, голых деревьев лежал измятый, изорванный корпус вертолета. В сторонке, уткнувшись лопастью в землю, торчал изогнутый винт. Лопасти искрутило, одна из них отломилась и срезала кедр. Но и мертвый он не хотел падать, взъерошенно дыбился над черной поляной.

«Вот жили бы...— думал Кузьма о летчиках.— Помогли бы мне летающую амфибию построить...» И грустно, задумчиво свистел. Ему хотелось плакать и почему-то не плакалось...

Козленок носился вокруг, взбрыкивал и все оглядывался на мальчика: ну чего ты, побегай со мной! Кузьме в эту минуту было не до игр. С ним рядом пристроилось неслышно чумазое, с острыми, как рожки, косич-

ками, существо. Руки и ноги девочки были в цыпках, веснушчатый нос облупился и совсем потерялся между толстых и румяных щек. Тонька, уже знавшая подробности происшествия, целую минуту молчала, взросло вздыхала и хлопала синими у реки ли, у неба ли взятыми глазами. В них то грусть пробегала легким облачком, то тревога за дружка, за Кузьму, который сидел, повесив голову, и совсем не замечал Тонькиного присутствия. Она встала на коленки около мальчика, чмокнула его в висок пухлыми горячими губами. Кузьма даже не взглянул на нее, отер висок и грустно вздохнул:

— Мне кажется, что я поседел за эту ночь. Седины не видно, Тонька?

— Есть маленько,— ткнув пальчиком в волосы его, ответила хитрая маленькая женщина, чтоб поднять Кузьме настроение.— Вот тут и тут.

— Легче ты! Там шишки,— пробурчал Кузьма, сбрасывая ее беспокойную руку.— Ударился я о что-то.

— Пока шишки,— ловко вывернулась Тонька.— Потом из них седые волосы прорастут. Так я слыхала.

Козленок подбежал к ней, боднул в коленку. Тонька подобрала его и, целуя, стала наговаривать.— Уголек, Уголечек!

— Сколь раз тебе говорить, дура, не Уголек, а Петька. Полифем по-гречески,— отнимая козленка, бухтел недовольно Кузьма.— И не целуй его больше. У тя губы в варенье.

— Очень уж он симпатичный. И — черный, как уголек.

— Сама ты уголек... рыжий.

— Ну ты, Брус! Давай без оскорблений! — вспыхнув, зашипела на него Тонька, но ссориться не стала. И опять помолчав, спросила: — Кузь, а ты был, когда это... ну, когда вертолет-то?

— Мы с мамкой ягоды собирали. Его завалило. Он бы выровнялся, да ветер прямо в борт дул, а под брюхом трубы... Вот и упал, потом — взрыв. Мы с мамкой прибежали, когда горело. Потом еще взрыв был и меня чем-то стукнуло. А еще потом летчицу встретили. А больше я ничего не видел.

— Зато я видела, как сюда другой вертолет прилетал... Тут люди ходили, искали чего-то. Цинковые гробы поставили. Я хотела посмотреть, что дальше будет, да испугалась. Такая жуть!

— Это нестрашно, Тонька. Это очень жалко! Чужие люди, а нет их, и я места себе не нахожу,— солидно и как-то очень проникновенно говорил ей Кузьма. Ощупав шишки на голове, спросил снова: — Так, говоришь, не поседел я?

— Да пока нет,— осторожно сказала Тонька и с присущим ей женским участием утешила.— Да ты не переживай, Брус. Еще поседеешь.

И они отправились кормить бурундучка, которого оба опекали.

Глава шестая

Островные субботы, как белые овцы, похожи одна на другую. Бредут поскотиной, травку щиплют. Уходят вдаль, из вида теряются. И новая травка вырастает, и новые проходят стада.

Но эта суббота на отличку. С утра в ограду осторожненько, подергивая себя за бороду, словно боялся упасть, бочком протиснулся старший из археологов, Путников. Павла насмешливо хмыкнула: не любила слабых и нерешительных людей. А этот еще и чокнутый. Ходит по острову и, хоть пять раз встретит, хоть десять, все равно здоровается. Но в общем он безвредный. За калиткою кто-то еще стоял. Выглянув, Павла увидела Сороку и нахмурилась.

— Медку нам не продадите, хозяюшка? — спросил Путников, не дав ей выговорить что-либо резкое в адрес Сороки.— Товарищ наш простудился.

— Наверно, много брать намерены? Вдвоем пришли...

— Я Алешу хотела повидать,— призналась Сорока, она всегда смотрела прямо в глаза собеседнику. И сейчас смотрела на Павлу бесстрашно.

— Ночи-то не хватило? Повод нашла... Проваливайте отсюда! И с острова проваливайте! Изрыли тут все, исковыряли...

— Нам исполком разрешил... мы же не самовольно,— робко пояснил Путников и попятился, но, снова дернув себя за бороду, шагнул на прежнее место.

— Исполком — пусть, а я не разрешаю. Ройтесь там, где людей нет.

— Не нужно злиться. Мы должны быть терпимыми друг к другу.

— Меду-то продадите, Павла Андреевна? — перебивая его, спросила Сорока. Очень тихо, приглушенно спрашивала, а — странно! — в голосе никакой робости.

— Меду? Продам,— усмехнулась Павла и, с вызовом глядя на археологов, завернула цену: — Кило — десятка!

— Ого! Кусается...— начал Путников, но тут же прикрыл рот ладонью и оглянулся на Сороку.

— Дорого? А пчел держать подороже.

— Мы возьмем, Павла Андреевна,— сказала Сорока, и Павла пошла взвешивать мед.

— Какая неприятная особа! — поежился Путников.— А хороша прямо-таки до неприличия.

— Влюбились? Сказать ей об этом?

— В кого я влюблен... вам известно, Виолетта Романовна. И я прошу вас... я прошу...— о чем он просил, Сороке осталось лишь догадываться, поскольку из сеней вышла Павла.

— Я вам два кило взвесила. Других гирь нету. Устраивает — берите. Нет — желающих много.

— Вот, пожалуйста,— Сорока, не считая, протянула деньги.

— Тут лишняя пятерка,— сказала Павла и вернула пять рублей.— Мне лишних не надо.— И, заглянув Сороке в очень детское, очень кукольное, но такое спокойное и чем-то тревожащее лицо, просительно вымолвила: — С тобой нам поговорить надо. Без свидетелей, с глазу на глаз.

— Пожалуйста, я уйду,— заспешил Путников.

— Нет, сейчас мне некогда,— остановила его Павла и удалилась.

— Красота и жадность... в голове не укладывается. Ведь это страшно так жить, бессмысленно!

— Она не ради себя... ради детей жадничает. А их тяготит это. По крайней мере Алешу.

— Как нежно вы это сказали! Удивительно нежно!

Через порожек калитки перескочил Петька и закружил, завыпрыгивал по ограде. Чуть позже появился его хозяин.

— Сорока прилетела! Ах ты, Сорока! — здороваясь с пришедшими, бурлил Кузьма. Он был необычайно возбужден, весел, жал руки сильно, по-мужски.— Мам!

Павла высунулась из створки и недовольно спросила:

— Чего тебе?

— Дядя Легеза опять велел баню истопить. К нам шефы приедут... бригада Попова..

— Пускай сами топят. Вам что еще нужно? — обратилась она к археологам.

— Уходим, уходим,— заторопился Путников.

— Пореже сюда заглядывайте,— задергивая занавеску, сказала Павла.— А лучше сторонкой обходите. В ваших же интересах.

— Чем это вы мамку мою рассердили? — усмехнулся Кузьма. Археологи деликатно промолчали. Заглянув в кастрюлю, Кузьма присвистнул.— Цвет-то какой... у меда! Необычный цвет!

— На Севере добыт — потому,— боясь услышать разъяснения, сказала Сорока.

— Разбираешься! — усмехнулся Кузьма. Достав из кармана подаренного отцом деревянного медвежонка, похвастал: — Вот эта штука тоже на Севере изготовлена.

— Сам выточил?

— Не-а, умелец один.

— Замечательно!

— Правда? Купи, продам по дешевке.

— Купила бы... но у меня при себе нет таких денег.

— Ладно, потом принесешь,— отдав ей фигурку, Кузьма занялся козленком, накормил его, вымыл, причесал. Тут и колокольцы зазвонили: это возвращался с пастбища скот Брусов и Недобежкиных. Павла вышла с подойником.

— Был у баптистов-то? — спросила сына.

— Закрылись, молятся. Иннокентий им на аккордеоне наяривает. В мед-то... опять патоки добавила? — смущая Павлу глубоко спрятанной совсем взрослой насмешкой, спросил Кузьма.

— Добавила, чтоб не загустел,— призналась Павла и тут же сменила тему.— Игрушки свои продал?

— Не сразу! Покупателей на острове — раз-два и обчелся. Дала бы мне деньжонок взаймы... Позарез баян нужен.

— Дать нехитро. Хитрей заработать. Не ленись — накопишь. Сегодня бычка у Недобежкиных выхолостим.

Завтра Легезе окна застеклим. Коробейников печку просит изладить... за все-то и набежит.

— Так это когда еще набежит! А тут такое дело — музыка...

— Оно, конечно, за мамкин счет легче. А я у своей матери единой копейки не взяла. Вот этими руками себя и вас кормлю.

— Кабы у тебя денег не было, а то ведь куры не клюют.

— Денег вдосталь. Не жалуюсь.

— Ну вот, а жадничаешь.

— Жадничаю?! На вас же коплю, охламоны! Сама до замужества в лаптях щеголяла. Да и после замужества немного хорошего видела: война, голодуха... муж изувеченный... Из больницы-то получеловеком воротился! Глаза нет, нога не гнется. Ко всему еще и трясучка била.

— Дда, свекровушка! — отпустив Кузьму, покачал головой Алексей. Круглый подбородок с маленькой ямочкой посередине собрался в пряник, как у отца, когда тот сердился, серые глаза сузились и стали светлей. «Сердится,— подумал Кузьма, поливая из ковша на широкую, сильную шею брата,— а терпит. Я бы дак не стерпел».

— Алех, ты это... ты не сердись на нее,— заговорил он просительно, растирая полотенцем покрасневшую спину брата.— Она старая и вообще... Не надо на мамку сердиться. Потому что мамка.

— Кого воспитываешь? — заворчал на него Алексей, но, взглянув в огорченное и словно бы виноватое лицо братишки, ободряюще улыбнулся.— Ну-ну, братко! Я понимаю. А только жить по-людски надо. Мамка все под себя гребет. Сколько можно!

— Для нас ведь старается,— рассудительно отозвался Кузьма.— Тебя вот женить надо. Расходы, сам знаешь, немалые.

— Меня не надо женить, Кузьма. Сам женюсь, когда схочу.

— Че, мамки ослушаешься? Гляди, она живо тебя прищучит.

— Ладно, ты не встревай в это дело. Мал еще,— Алексей щелкнул его по носу, быстренько оделся и, услыхав, что мать зовет сыновей на ужин, пошел не в дом, а за ограду. «К Сороке,— решил Кузьма.— Опять

к Сороке. А мамка запретила...» Чью сторону принять, он не знал и потому страдал: любил обоих.

Глава седьмая

«Чем виновата я, что ума из-за него лишилась? — сложив на коленях руки и глядя в одну точку перед собой, думала Павла.— Вот поеду сейчас к нему и все, как на духу, выложу». И все же сидела неподвижно, окаменевшая, сумрачная. В минуты такой вот душевной смуты и неподвижности все домашние ее обходили. О чем ни спросят, зыркнет недобрыми черными глазищами, не уйдешь, — обругает. Но чаще молчит и после знакомства с Поповым молчать стала чаще. «Неправильно я живу... против природы»,— пытаясь внести в свою жизнь ясность, рассуждала наедине с собой Павла. Правильно, думалось ей, жить по любви с человеком, который дорог и мил, но встретился на беду слишком поздно, когда ей за сорок, когда на шее такая обуза — больной, измученный муж, дети... Жить рядом с детьми тоже не против природы, сама их хотела и сама родила. Они помогали забыть, что судьба не сложилась, что муж нелюбим, хоть и совсем безобидный человек. Обижать его грех и не за что. Не силком брал, по доброму согласию. А брат-то его.. гад этот бурый... его брат! Он сломал молодость Павлы! Единоутробные братья... значит, и Павел того не лучше и нечего его щадить. А дети... что ж, Алешка большой и сам женихается. Кузьму с собой заберу и, если Митя позовет, пойду хоть в преисподнюю. Ох, Митя, Митя, на горе ты мне встретился! Как распутать теперь узел, в который все завязалось? Хоть бы ты подсказал... А ты молчишь об этом. И о прошлом своем молчишь. Может, женат и тоже детей имеешь, и связывают они тебя, как и меня? Тогда молчи... и без этих подробностей тошно. Мне мало осталось... уже за сорок... Врала ему как последняя дура: тридцать шесть, дескать. Чего ради врала? Если бы те пять убавленных лет можно было отдать ему одному... нет, мало пяти лет, не хватило бы. Изголодалась по счастью. Вот и пришло оно, первое, жаркое, а вроде нечистое, потому что ворованное. Скажу Павлу, скажу, как есть. Пускай решает за себя и за меня. Чем виновата, что не любила его и не люблю теперь! Он знал

об этом всегда, не скрывала. Пусть узнает и о том, кого полюбила. Только вот как быть с ребятами? Нельзя, чтоб Алешка женился... рано еще в бабушки-то записываться... Я и девкой почти не была. Ломила за мужика и за бабу... этого выше головы хватало. Хочу любимой побыть, хочу побыть просто бабой, которая впервые отведала счастья...

«Пойду, скажу...»

Павла встала и, как лунатик, пошла по избе, не разбирая, обо что задевает, не замечая боли. По пути расколотила горшок с бальзаминкой, уронила табурет, и, если бы дверь не отворилась, Павла все равно прошла бы через нее, а не через нее, так прямо через стену. Шагала по улице к берегу, глаза зловеще, мрачно горели, меж черных длинных бровей прорезалась глубокая отчаянная морщинка. Надо теперь же сказать немедля. Без спроса отвязав недобежкинский катерок, завела его и, дав крутой разворот, на полной скорости полетела вниз по реке.

Катерок медленно полз, ей казалось. Сама бы прыгнула в воду и повлекла его за собой. Сама-то быстрей доплыла бы. Ох, господи, ну скорей же ты, корыто железное! Скорей! Сердце лопнет!

Летел по реке катер. Вверху солнце стояло величавое, яростное, но и в ярости своей сдержанное и мудрое, потому что ярость его — тепло и созидание. А человек в ярости рушит все вокруг, человек, не в пример светилу, слепнет от ярости, становится неуправляем, страшен и зол.

Катерок ткнулся носом в берег, раздвинув кусты и камыш; не глуша и не привязывая его, Павла сильно и далеко прыгнула и побежала к землянке, в которой, наверное, вырезал свои игрушки муж. Вокруг рассыпалось стадо. Коровы не обратили на Павлу внимания. И только старый козел воинственно нацелил на Павлу единственный да и то надломленный в битвах рог, но драться с ней почему-то раздумал.

В землянке было пусто. Но на полу полно стружки, на столе — немытой посуды. Судорожно посмеявшись сквозь больно стиснутые зубы, Павла присела на порожке и заобирала вокруг себя руками. Руки, помимо воли и сознания, что-то искали. Нащупав топор, Павла провела ладонью по топорищу, вскочила и вдруг с одного удара перерубила толстую скамейку, потом при-

нялась бить и топтать посуду и, когда на столе ничего не осталось, швырнула топор в окошко и вышла. Забыв о катере, домой возвращалась берегом. С другого края поляны со связкой жердей вышел из лесу Павел. Увидав жену вдалеке, хотел окликнуть ее, но передумал. «Ну вот,— увидав разрушение, вздохнул понимающе.— Неспроста приходила. И буянила тут неспроста. Что связывало нас, рушит. Скамейка и чашки тут ни при чем».

Покачав головою, наломал березовых веток и стал выметать из землянки осколки.

Глава восьмая

Вечером приплыли шефы, громкоголосые, бородатые парни из буровой бригады Попова. Они разделились на две группы. Одна группа помогала на сенокосе, другая делала отопление в школе.

Кузьма слыхал о бригаде, поставившей чуть ли не мировой рекорд проходки. И портрет мастера в местной газетке видал. А сейчас познакомился с буровиками воочию. Веселые, шумливые люди! Очень открыто идут по земле, уверенно, словно вся земля только им и принадлежит. Это, наверно, оттого, думал Кузьма, что буровики землю насквозь видят, проникая к самой сердцевине ее. От них у земли тайн нет.

Да, так вот они-то и приехали в Тап.

В ожидании бани гости гоняли футбол. А двое — сам Попов и длинный пегобородый бурильщик, оба степенные, пожилые,— рубили дрова и носили из-под обрыва воду. Мать, по случаю приодевшаяся, оживленная, затаенно улыбалась. И Кузьма залюбовался ею: «Мамка-то у меня будто царевна Несмеяна!» Да и не только он загляделся на Павлу. Попов, увидав, что мать взяла коромысло, зашумел так озабоченно, точно ведра весили по полуцентнеру: «Не обижай нас, хозяюшка! Уж воды-то наносим».

Сросшиеся мамкины брови мягко выгнулись, и распахнулись вовсю недоверчиво сощуренные глаза, и запунцовели нежно щеки. Павла стала моложе и тоньше. Выглядела бы совсем девушкой, когда б не тусклая серебряная пайцза в волосах.

— Счастлива твоя жена... если так же о ней заботишься,— не снимая с плеч коромысла, сказала Павла.

— Была... была счастлива,— помрачнел Попов и приказал пегобородому: — Ну-ка, займись, Геннадий!

— Что ж, ладно. Пойду ужин готовить.

— А ты бы с нами посидела... поговорила...

— Пустых разговоров не люблю.

— А разговоры — они, знаешь, не всегда пустые,— как-то непросто сказал Попов, но, взглянув на Кузьму, очень уж равнодушно строгавшего палочку, взялся за топор. Павла удалилась.

— А я ваш портрет в газете видал,— сообщил Кузьма.— Вы там моложе.

— Пока сюда газеты дойдут — хоть кто состарится. Тебя, значит, Кузьмой зовут? — ловко, в один замах, на четыре части расколов чурку, спросил Попов. А глаза его все еще ждали, что вот-вот выйдет из избы Павла — высокая, смуглая, улыбнется нещедро, и улыбка ее отпечатается в памяти до самой до гробовой доски.

— Кузьмой, значит,— в тон ему ответил парень.— А вас, значит, Дмитрием Николаевичем?

— Язва,— усмехнулся Попов, повнимательней присматриваясь к мальчугану.— Характерец-то, видать, материнский.

— Не-а, мой собственный,— Кузьма не собирался грубить мастеру, но что-то в голосе Попова — смущение, некая натянутость — сердило его.— А у вас, к примеру, чей?

— Тоже незаемный,— Попов шевельнул отшельничьими бровями, брови встопорщились, нависли над глазами. И плечи вяло опали. Будто и не ходили под рубахой бугры мускулов. Стоял перед Кузьмой обычный, средний мужичок, морщил обветренный лоб с потной челкой, мял в негнущихся пальцах дешевую сигарету. «Старый он, поди, уж сорок»,— отметил Кузьма, для которого все, перешагнувшие тридцатилетний рубеж, были стариками.

Попов и впрямь немолодо выглядел. Сибирские ветры до того выдубили его кожу, что комар, севший на подбородок, жалобно пискнул, видно, повредил хоботок, сорвался и улетел.

Попов разбуривал на Самотлоре первую промысловую скважину. Говорили, на месте той скважины будет воздвигнут бронзовый обелиск. Но пока что вбит колы-

шек, на котором — табличка, напоминающая о славном подвиге буровиков. С этой скважины и началось великое беспокойство в таежной глухомани.

С острова видны дальние факела — это сгорает попутный газ. По ночам зарево сияет вполнеба. Богатое зрелище! Правда, отец ворчит, мол, лес губят и зверя из лесу выживают, и птицу распугивают.

Но лесу тут неисчислимо. И дичи боровой тоже. А медведь, сказывали, прямо к вышкам повадился. До того освоился косолапый, что начал у поварих объедки выманивать, пока псих какой-нибудь не подранит его из ружья.

Баня между тем истопилась, но в первый жар, по заведенному обычаю, отправились братья Брусы. Мылись истово, парились до изнеможения. Кузьма, охая, выползал из предбанника, расслабленно плюхался в Обь, блаженствовал, качаясь на волнах. Алексей, распластавшись большой розовой птицей, нырял прямо с обрыва, плавал долго, урчал, фыркал и, сбив жар, снова тащил Кузьму на полок.

Они еще не натешились, когда в баню, выпустив клубы сухого, пахнущего березовым листом пара, ввалился Попов.

— Ишь как усердствуют! — завистливо проговорил он и поспешно разделся.— На мою долю чуток оставьте!

— Всем хватит,— успокоил Алексей, протягивая ему свежий веник.— Плеснуть?

— Можно.— И каменка получила порцию кваса.

— Скупишься, парень! — хмыкнул Попов, плеснув из полуведра. В потолок шмякнулось тугое плотное облако. Кузьма съежился, скользнул вниз.

— Что, сдрейфил? — засмеялся Попов, соревнуясь с Алексеем, которого в выдержке мог превзойти только отец.

— Уши жгет,— пробурчал Кузьма и, напялив шапку, снова взобрался на полок. Теперь он хоть кому не уступит.— Знобит че-то. Добавили бы...

Попов сдался и, подняв руки, вытянулся на полке.

— Я — пас,— сказал он, отпыхиваясь.

— Все бы так пасовали,— усмехнулся Кузьма: веник был гол.

Во второй жар пошли мать с отцом, и Попов, разминувшись с ними, вздохнул.

«Ходят в баню вместе,— подумал он и зло сплюнул,

увидев в этом что-то откровенно бесстыдное.— Тьфу, дикость какая!»

Павла оглянулась на него, поиграла бровями и, мрачно усмехнувшись, втолкнула мужа в предбанник, будто бы нарочно уронив с сплеча плащик, под которым тонкая, одно название, была рубашонка. «Ничего, проглотишь»,— нагибаясь за плащом, чуть ли не вслух сказала она, зная, что Попов ревниво следит за «счастливою» парой и сам бы не прочь оказаться на месте Павла. Она не собиралась вместе с мужем идти в баню, давно порознь ходили, да он и мылся вчера уж. Сегодня приехал домой неожиданно. «Катерок привел недобежкинский,— сказал, появившись в ограде.— Видно, водой унесло». И ни один мускул не дрогнул на перекошенном жестком лице. А ведь догадался, если не видел, что Павла погостила у него и набезобразничала и что приезжала в гости не зря. Понимает больше, чем говорит. Ну если все понял, тем лучше. А сам разговор будет позже. «Катерок, говорит, унесло,— подумала Павла.— А как его могло унести против течения?»

Ходила, радовалась присутствию Попова. Сейчас бы позвать его куда-нибудь на покосы, увести и ласкать там, любить до потери сознания. Под ногами спокойная будет течь реченька, птицы понесут по земле вести о двух переполненных друг другом людях, зашелестит таинственно сено, и захочется заглянуть высоко в небо. Когда хорошо человеку, он непременно смотрит в небо и находит в синеве, а если нет синевы, то и в тучах находит вечную красоту и покой, а главное — обещание, что впереди бездна счастья, такого же высокого и беспредельного, как эта опрокинутая добрая даль.

Ходила, любовалась Дмитрием, изредка прикасалась то к плечу его, то к руке. И вдруг — услышала про жену... оборвалось сразу что-то внутри. Сама случайно, необдуманно брякнула, а он выдал, что женат, так грустно и недосказанно выдал. Значит, живет в нем если не любовь к жене, то воспоминания об этой любви. «Собирайся в баню!» — велела мужу. И — пошла, не обратив внимания на его недоуменный, неверящий взгляд. Прикрыв дверь за собою, словно прилипла к этой двери. И Павел опять на нее оглянулся, собрался было раздеться, но застыдился вдруг своего изувеченного тела, которое, мнилось ему, так неуместно, так уродливо рядом с мощным и красивым телом жены.

«И раньше-то красавцем не был, да хоть на мужика походил»,— думал Павел. Вернувшись из больницы в давние еще времена и увидав себя вот так же, в бане, ужаснулся он и под всякими предлогами стал мыться в баньке один или с Кузьмой, для которого отец хорош всякий.

— Я слышал, корейцы собак бьют,— глухо, не оборачиваясь к жене, смотревшей сквозь него лихорадочно блестевшими, возбужденными глазами, промолвил с укоризною Павел.— Привязывают на цепь и бьют, пока шкура не отстанет... Дак ведь это они лакомство для себя готовят, заживо истязая животную. Из меня лакомство хуже некуда. За что же ты меня истязаешь, Паша?

— Потом, потом,— досадливо отмахнулась Павла. Отмахнулась, как от комара.— Не до тебя мне теперь...

— Ступай-ка! — Откуда сила взялась? Павел оторвал ее от дверей, повернул лицом к выходу и вытолкнул. Она не сопротивлялась. А если б вздумала воспротивиться, он мог бы прийти в ярость, обезуметь. С ним это случалось, хотя и редко.— Ступай и не глумись надо мной. Человек же я... хоть и искалеченный, а все же человек.

— Паша! Паша! — оглядываясь через плечо, вскрикнула Павла просяще и покаянно. Сейчас упасть бы перед ним на колени, сказать всю правду. Но дверь захлопнулась. И с крылечка восторженно и благодарно на нее смотрит Попов. Он даже оторопело привстал, когда Павла, не запахиваясь, прошла мимо. «С легким паром!» — крикнул ей Легеза, боком протискиваясь в калитку. Но и боком маялся: брюхо мешало.— Как банька?

— Банька — мечта! Теперь бы ужин сообразить,— доставая деньги, намекнул Попов.

— Долго ли умеючи-то? — протиснувшись наконец, оглаживал помятое брюхо Легеза.— Алеха, дуй в сельпо!

— Продавщица-то, поди, тоже в бане,— Алексею не хотелось идти. Наверное, спешил на свидание.

— Вынь ее оттуда. А ежели не домылась, спину потри.

Кузьма решил выручить брата.

— Я скорей съезжу,— сказал он, и Алексей благодарно ему улыбнулся.

— Вот это парень! Вот это парень так парень! — похвалил Легеза.— А слушай, козлище-то твой здравствует?

— Че ему сделается? На сеновале дрыхнет.

Но Петька, услыхав его голос, замемекал и спрыгнул вниз.

— Лихой! Давно ли шагу не мог шагнуть! — Легеза поймал козленка, огладил его толстыми осторожными пальцами.— Исправный! Долго жить будет!

Кузьма кивнул и, взяв деньги, поплыл на центральную усадьбу. Фрося уже вышла из бани и, сидя в широком продавленном кресле, тянула брусничный сок.

— Водки, что ли? — неохотно отрываясь от кувшина, спросила она.

— Не соку же,— подав ей деньги, солидно отозвался Кузьма.

— Возьмешь в кладовке,— и Фрося опять припала к кувшину.

«Такую тетку из цистерны не напоишь»,— подумал Кузьма, вспомнив, что Фрося больна какой-то странной болезнью: ее постоянно мучит жажда. Наверное, оттого и толста. Самого Легезы толще.

Набрав водки, Кузьма осторожно закрыл кладовку и поспешил на остров. Подходя к дому, услыхал возмущенный голос брата.

— Что я, рублевки не заработал?

— Бери хоть десять, не жалко. Только условимся: пойдешь в кино без очкастой.

— Я не маленький, мать. Водить за руку не обязательно.

— И от маленького недалеко ушел. Путную девку найти не можешь. Хошь, Нинку Теплякову сосватаю? И фигуриста, и с машиной...

— Не хлопочи, сам выберу, кого нужно.

— Выбирал тут один... и — выбрал... девку с довеском. Так что на готовенькое придешь, Алешка.

— Довесок?! — возмутился Алексей.— Да это брат ее младший. Был планеристом, упал... Вита лечила его, по курортам возила... А ты — довесок!

— Ну хоть и брат, все одно не свободна. Зачем тебе лишняя обуза? Я вон отца твоего, как крест, через всю жизнь пронесла. Сладкого в том немножко, Алешка. В общем, на землеройку не дам согласия.

— Обойдусь без согласия.

— Матери зубы показываешь? Да я тебя...— раздался звонкий шлепок, и в калитку выскочил рассерженный Алексей.

— Ослушаешься — домой не являйся! Это мое последнее слово! — крикнула мать из ограды.

Кузьма сунул рюкзак с водкой матери и догнал брата.

— Алешка,— сказал он, ковыряя носком землю и протягивая рубль, прибереженный для лучших времен,— это ты обронил...

— Не ври,— сурово сказал Алексей.— Не ври больше никогда.

Но рубль взял и, поцеловав братишку, смущенно отвернулся.

— Я тебе скоро верну, Кузьма. Очень скоро,— увидав Сороку, спускавшуюся с пригорка, заторопился.— Прощай, братан. Я, наверно, уеду.

— Уезжай,— одобрил Кузьма.— К буровикам уезжай.

Было жаль расставаться с братом, но если мать запрещает ему жениться на Сороке, стало быть, Алексей должен показать характер.

— К буровикам? — он, видимо, не думал еще, куда уедет, и потому переспросил: — К буровикам? А что, это идея. Мне терять нечего.

— Если хочешь, я потолкую с Поповым. Он мужик свойский.

— Сам потолкую. Ну прощай.

«Эх ты!» — только и вздохнул Кузьма.

Подошла Сорока, пухленькая, розовая как волнушечка. Светлые волосы расчесаны на пробор. Глаза за стеклышками золоченых очков чисты и просматриваются до самого донышка. В верхних зубах щелочка, в которую просунулся кончик языка.

— Я книжку тебе обещала,— обнимая Кузьму, сказала она.— А вот какую — забыла.

Высвобождаясь из Сорокиных объятий, Кузьма серьезно сказал:

— Мне бы самоучитель. Музыку сочинять надумал.

— Ого! — короткие бровки Сороки удивленно запрыгали, рот приоткрылся, обнажив рединку в зубах.— Это серьезно?

Глава девятая

«Ладу нет,— приближаясь к своему дому, думал Кузьма.— Ну прямо совсем как дети. Из-за ничего ссорятся. Мы вот с Тонькой ссоримся, дак потом опять миримся. А они почему-то не могут. От народ! Как быть с ними — ума не приложу».

Увидав мать, опять оцепеневшую подле колодца, шмыгнул мимо нее на сенник, посидел, выглянул и снова спрятался.

«Как быть, Петька?» — спросил озабоченно козленка. Тот тряс ушами, крутил хвостиком.

Тонькина бабка сказывала, что черти в козлов обращались. Черти ну и колдуны там всякие. Ехала она раз с сенокоса, и попадись же ей такой вот козленок! Удивилась — откуда посреди леса взялся, но подобрала. Лошадь задрожала сразу, с места не может тронуться, всеми четырьмя уперлась и стоит, ржет. Бабка угадала в козленке нечистую силу, давай крестом себя обмахивать. Козленок в козла на глазах вырос, стал на две ноги да как в ухо старухе гаркнет! И сорвалась лошаденка, и понесла. Несла, пути не разбирая, в телеге обморочная бабка лежала. Очнулась уж подле своей ограды. «Так, может, это не козел был, а бич какой-нибудь пьяный? — не веря старухе, смеялся Кузьма.— А может, кто из геологов подшутил. Они все бородатые». — «Сама видала,— божилась бабка.— Рогат был и на козлиных копытцах». Кузьма не верил, а ночью нет-нет да и померещится какая-нибудь нечисть, вдруг как взвизгнет, как забубнит филином, и пасть у него красная над бородой и зубы крупные, как у лошади. Тронет Петьку парнишка — козленок тут, под боком. Неверным голосом посмеется над бабкиными россказнями: «Насобирала старуха, а я, дурак, верю. Дружок ведь ты мне, а, Одноглазик?»

Мать между тем внесла рюкзак в избу. Когда Кузьма вошел вслед за нею — на столе оказалось на две бутылки меньше. «Припрятала!» — покачал головой парень. Мать пригрозила взглядом: «Молчи!»

Павел Брус был уже пьяненький: много ему не требовалось. Он все допытывался:

— Вот выкачаете нефть, земля пустой станет, как мячик...

— Мячик-то не пустой,— возразил Попов.— В нем воздух.

— В дырявом мяче воздух не держится. А вы всю землю испротыкали. Живого места нет.

— Не стони! — строго обрезала мать.— Чего расстонался?

— Землю жалко, Паша! Я пастух, я духом лесным дышать привык. А теперь что? Все небо в дымах. Куда ни плюнь — вышка. Что мне от ихней нефти, ежели я задыхаюсь?

— Тебе лично, может, и ничего. А страна, у которой нефти в избытке,— счастливая страна,— солидно сказал Легеза, загребая мед ложкой. Рюмка перед ним была полной, а мед убывал стремительно, и это доставляло матери невыносимые страдания. Она попыталась унести тарелку, но Легеза опередил.— Добавить хочешь? Ну добавь, я еще чуток похлебаю.

— И так уж все выскребла,— с хрустом, точно стекло жевала, молвила мать.

— Ты про туес забыла, мам,— мстя за недавнее унижение брата, напомнил Кузьма. Он знал, что угощать задаром для матери — нож в сердце, но все же хотел угостить Легезу, который спас козленка.— Давай тарелку, я принесу.

— Сама принесу,— Павла резанула сына убийственным взглядом и спустилась в подпол.

Отец, пьянея, становился дерзким, порою даже на мать прикрикивал. Павла позволяла ему: «Пускай потешится. А завтра, с трезвого-то, я три шкуры спущу». И спускала.

— Вознеслись вы шибко,— приставал к Попову отец.— Мы-де буровики, мы землю насквозь видим. А вы поверх земли, под ноги себе поглядите. Вон травка наша сибирская... убегает по склону, спасается! Все живое от вас бежит!

— Мы земле своей не враги, Павел Терентьич,— возразил Попов, не обижаясь на наскоки хозяина.— Тоже болеем за нее. Бывают, конечно, и оплошности. Ну, там кедр свалим по недосмотру, нефть в реку или в озерко выпустим... Я не про себя лично говорю. Сам-то я стерегусь этого. Про тех, у кого опыта маловато. Но и они научатся землю беречь. Заставим! Я, как и ты, цену земле знаю... хоть не помянута та цена ни в одном прейскуранте.

Пегобородый, которого звали Геннадием, увидал у Кузьмы еще одну деревянную фигурку, сохатого, выставившего рога для боя с волком или, быть может, с соперником во время гона.

— Это что за штуковина? Покажи-ка!

— С норовом лось,— присмотрелся к фигурке и сам Попов.— Тобой сработана, Павел Терентьич?

— Балуюсь от безделья.

— Все бы так баловались! Искусник!

— Глянется, так возьми. У меня их чуть ли не с полмешка.

Попов достал деньги.

— Я бы тоже купил,— спеша, точно его опередить могут, заговорил пегобородый и полез в карман.

— Я их для радости делал...— отпихивая деньги, сказал Павел.— Радость не продается.

«Тятька-то... что выкомаривает!» — удивился Кузьма.

— Размахался, гляжу. Пробросаешься,— проворчала Павла, досадуя на своего простоватого мужа, который ради щедрого словца готов снять с себя последнюю рубаху.

— Не осуждай, мать. Дарю с намеком. Чтоб помнили про зверят моих, которые на земле живут.

— Благодарствую. Про наказ не забуду,— за всех ответил Попов и, завернув подарок в носовой платок, спрятал в нагрудный карман.

— Еще, что ль, подсластить после горького? — ухмыльнулся Легеза и зачерпнул полную ложку меда, доставив матери почти физические страдания. «Вот жрет! — подумала она, отворачиваясь.— Ни стыда, ни совести».

А Легеза, попробовав, скривился, зафукал:

— Ффу! Фу! Чистая отрава! Хоть желудок прочищай.

Кузьма покраснел. Мать, наверно, принесла тот мед, который пускала на продажу. Сам видел не раз, как она добавляла во флягу патоку. Легеза отодвинул тарелку и стал прощаться.

Кузьма незаметно спустился в подпол, достал припрятанный матерью туес и выскочил следом за ветеринаром.

— Это вам, Михаил Дмитриевич,— соврал он.— От мамы.

— Старших некрасиво обманывать,— наставительно

сказал Легеза и не взял туес.— А мед у меня свой есть... без патоки.

Глава десятая

— Закругляйтесь, братцы,— сказал Попов.— Завтра до солнышка подыму.

Геннадий, пощипывая редкую пегую бороденку, хитро оглядывал маленькими глазками брусовское жилище, подливал в стакан и без того соловому хозяину. Павел, опьянев, начинал куражиться, глядел на гостей победительно и свысока. «Я вс-се могу... вс-егда! — бормотал он, забыв, с чего начал.— Ведь я какой охотник был? Я мог вот так... да!» — выставлялся Брус и целил указательным пальцем куда-то в стену и сгибал палец, словно нажимал на курок. «Давай, мужик, подливай»,— с издевочкой льстя ему, кивал Геннадий и подливал, и подливал. «Нельзя ему пить-то! Совсем нельзя!» — вмешался Кузьма, которому не нравилось, когда над пьяненьким отцом кто-то смеялся.

Услыхав в голосе маленького человечка взрослую тревогу, Попов остановил пегобородого буровика и удивленно покосился на Павлу. «Ты-то зачем ему позволяешь?» — чуть не спросил ее, но промолчал. Лицо исподволь стало краснеть. Понял: «Она же нарочно... чтоб со мной побыть... при пьяном муже».

В красном углу, под портретом Блюхера, сидел толстогубый застенчивый парень. В общей беседе участия не принимал. Да буровики, Кузьма заметил это, относились к нему если не свысока, то по крайней мере не очень всерьез. «Наш кухмистер Леня Маркин»,— представил его перед ужином бойкий красивый малый в спортивной куртке. Этот пил мало и ел мало, но слушал всех внимательно и поглаживал мешки под глазами. Верно, не спал всю предыдущую ночь, а может, даже несколько ночей провел без сна. «Репнев,— назвал его пегобородый,— наш чемпион по гребле и — ходок. Если хотите узнать в Урьевске адреса одиноких женщин — спросите, Валя всех знает. Кому угодно даст консультацию».— «И в зубы дать могу тоже»,— беззлобно, но с некоторой долей обещания сказал Репнев, и пегобородый сразу же перевел разговор на другое. И еще один сидел за этим столом, с брюзгливым лицом очкарик, очень важный или важничающий. Этот и вовсе

в разговор не вступал. Топыря бледные губы, делил на тонкие дольки хлеб, словно боялся подавиться, и жевал медленно, вслушиваясь, как жеваное проходит в желудок. К питью не прикасался совсем. Зато умял всю зелень.

— Постуешь, что ли? — спросила с усмешкой Павла.

— Я вегетарианец,— ответил Бляхин.

— Хошь прожить всех дольше? — вмешался в разговор Павел и с натужными выдыхами рассмеялся.— А зачем?

— Да уж не затем, чтоб пить по-скотски,— коротко отрезал Бляхин.

— Ничего,— ответил ему, на мгновение трезвея, Павел.— За долгую-то жизнь, паренек, и ты оскотинеешь. Сам не заметишь, как оскотинеешь... хотя, считаю, быть скотом не задача. Человеком быть... страшно! Ч-человеком, который вовсе и не человек, а паук или — крыса... кого хошь сожрет.

— Наелся, дядя! — брезгливо поморщился Репнев.— Меры не знаешь.

— Иди спи,— отослала мужа Павла. И когда он ушел, сразу посветлела лицом.— Ну вот, без него вроде покойней стало.

Репнев придвинулся к ней и, словно бы нечаянно, коснулся ее колена.

— Напрасно ты так, хозяйка,— сказал Геннадий Кошелев, спаивавший Павла не без цели.— Мужик у тебя спокойный. А что опьянел, так мы и сами такими бываем.

— Вон Маркин под шумок тоже наклюкался... Забыл, что петь обещался,— снисходительно вставил Бляхин.

— Нет, не забыл,— добродушно отозвался Маркин.— А про что?

— Давай что-нибудь про научно-техническую революцию,— подавая ему гитару, сказал с издевкою Бляхин и протер очки.

— Можно и про нее,— согласился с ним Маркин, тренькнул струнами и вдруг извлек из них щемящий, пронзительный аккорд, запел тепло и мягко, все время улыбаясь толстыми губами:

Не надо! Не надо о любви горланить.
О ней уж вдоволь погорланили.
Я видел, слезы лил над ланью

Стрелок — над ланью, им же раненной.
Глаза ее...
Глаза ее взывали к жали
И к человечности взывали.
Поплакав...
Поплакав, лань освежевали
И мясо на костре поджарили...

— Парень! — воскликнул Павел, отрывая голову от подушки.— А ты понимаешь! Ты все понима-аешь! Можно, я обниму тебя, а?

— Валяй,— подошел к нему Маркин и, расцеловавшись с хозяином, потрепал его по плечу.

— Спи! — властно приказала Павла, снова толкнув мужа на кровать.— Чего вздыбился?

— Слова тревожат,— грустно вздохнул Павел, но покорился и лег.— Тревожат, и все! — пробормотал он и вдруг оторвал опять голову и выкрикнул: — И ммясо... мясо на костре поджарили!

— А вы вместе попробуйте! — посоветовал Бляхин, с глумливой улыбкой оглядываясь на Павлу, которой что-то нашептывал Репнев.— Дуэт сильный получится.

— Надо бы, надо бы вместе...— задумчиво отозвался Попов, но, кажется, совсем не о том. Он давно уже заметил, что красивый, рослый помбур липнет к хозяйке, но — странно! — сейчас его это ничуть не задевало. Сейчас не о Павле он думал, а весь проникся каким-то братским сочувствием к ее пьяному мужу: «Подло! — корил он себя.— Как подло! Сижу за его столом, хлеб ем и переглядываюсь с его женой...» А Репнев под шумок опять дал волю рукам, но увлекся.

— Руки-то где у тебя, парень? А ну положь их на стол! — громко, на весь дом, сказала Павла. Ее услыхали даже те, кто сидел за другим столом в горнице.

— Зачем на стол-то? — без смущения возразил ей Репнев.— Здесь им лучше.

— Гляди, пожалеешь,— усмехнулась Павла и влепила ему увесистую оплеуху.— А теперь сгинь. Чтоб духу твоего здесь не было.

Очкастый Маркин и пегобородый Геннадий громко расхохотались. Репнев, словно ошпаренный, выскочил на улицу. «Для меня нашумела,— ничуть, впрочем, этому не радуясь, скорее, наоборот, томясь от постоянного, хоть и не явного внимания Павлы, отметил Попов.— Не надо. Все это ни к чему. Теперь ни к чему».

Поднявшись, он ушел из-за стола в горницу, толкался из угла в угол, трогая узорные рушники, разные Павловы рукоделья. Остановился подле фотографии: сильный, крупный мужик стоит около только что заваленного сохатого. В глазах ни торжества, ни удивления — грусть.

Павел между тем снова поднялся и, словно не был хмелен, сел на постели. «Притворялся! — решил Попов и спросил себя: — Понял ли он, что не из-за Репнева Павла старается? — И сам же ответил: — Конечно, понял. Глаза-то у него вон какие! Все понимающие глаза. Но сколько отчаянья в них, сколько боли!»

— Что, не похож? — поймав удивленный взгляд Попова, усмехнулся Павел и указал на свою фотографию.— Идет времечко.

— Ты прав, идет,— задумчиво согласился с ним Попов и, тронув висевшее на стене старенькое ружьишко двенадцатого калибра, спросил: — На промысел-то выходишь?

— Мать промышляет,— ответил Павел и, встретив недоверчивый взгляд одного из гостей, добавил: — Она и печки кладет, и окна стеклит, и стреляет не хуже снайпера.

Рыжий бурильщик навострил ухо.

— Стреляет, говоришь? Стало быть, шкурки имеются?

— Лонские остались, однако. Спроси вон лучше у Павлы.

Рыжий вышел в ограду и тотчас насел на мать.

— Все распродала,— отбивалась Павла.— Храню для себя песца да белок штук двадцать.

— Для себя-то еще настреляешь: тайга рядом. А я к жене в добрые войду.

— Настреляй и входи,— усмехнулась мать.— Как-никак мужик.

— Из меня стрелок, как из слона музыкант. Продай, Павла Андреевна, за деньгами не постою.

— Не постоишь, значит? — Павла заколебалась. Но колебалась для вида. Потом заломила с рыжего такую цену, что тот крякнул, но торговаться не стал и выложил запрошенную сумму.

Глядя на рыжего, и другие загорелись желанием приобрести шкурки. Но мать развела руками: «Все продала! Что осталось — братово, транжирить не смею». Но

всякий, взглянув на Павлу, не поверил бы, что она чего-то не смеет. И потому убеждали ее, трясли пачками денег: «Продай! Ну хоть по шкурке на брата!» В заначке были еще две росомашьих, пяток собольих, норка и десяток ондатр. Мать прикинула, сколько на этом выручит, и решилась:

— А, ладно, будь по-вашему! Только учтите, брат у меня мужик оборотистый. Я дешево не беру, а он втрое больше того.

— Поимей совесть, Павла! — начал было отец, но тотчас осекся под ее холодным, как розга, хлещущим взглядом.

— Не по карману, пусть не берут.

Но в общем все остались довольны. Более других — Павла, которой и во сне не снилась такая прибыль. «Дурачье! — свысока поглядывая на буровиков из дремучих темных ресниц, она пересчитывала выручку.— Деньгам счета не ведаете!»

— А ты что же не купил? — красиво выгнув горделивую свою шею, спросила Павла Попова.

— Дарить некому,— сухо отозвался мастер и, отодвинув стакан, начал поспешно собираться.— За хлеб, за соль, хозяюшка,— поклонился он Павле.— А еще... за щедрость твою.

Павла нахмурилась. Но буровики уже вышли.

— Осуждает,— горько скривилась Павла.— А ведь все это трудом моим добыто. Сами-то за труды свои берете с государства не меньше, чем я с вас.

На табурете лежала стопка скомканных денег. Деньги табаком пахли и нефтью, а может, потом человеческим пахли, хотя говорят, что деньги не пахнут. Павла цену деньгам знала, но эти, бездумно, легко выброшенные и, верно, нелегко заработанные, почему-то не радовали. Совсем новенькие сотенные, смятые небрежно четвертные и десятки, три полусотенных бумажки. Одна с угла надорвана, как раз там, где водяной знак, на другой — масленое пятнышко посередке, третья в четыре раза согнута... Павла разглаживала эти разного размера и стоимости мертвые купюры, вобравшие в себя столько живой человеческой крови, сил, здоровья. «А мне-то что... зачем мне мертвая кучка эта?» — спохватилась Павла, смела деньги с табурета, не заметив, что из горницы за ней наблюдает все еще не уснувший Павел.

— Что, совестно стало? Эх ты! — вздохнул он.— Опозорила ты меня перед людьми.

— Спи, Паша,— устало попросила мужа Павла и с тихим скрытым пока рокотом в голосе повторила: — Спи.

— А не спится ей, совести-то! Не спится, Павла,— пожаловался он и, встав, собрал деньги, положив их опять на тот же табурет.— Гляди ты, какие! И вот за эти бумаги люди жизни свои отдают... случается, даже Родину продают... Вот дикость!

— Молчи ты,— взъелась Павла, смяв в горсти легко нажитые деньги.— Твоя-то жизнь немного стоит.

— Вот и открылась,— удивленно сказал Павел. Помолчав, согласился: — Моя, конечно, пустяк. Но и этот пустяк за серебреник не продам. Ему другая цена, Паша. А какая —тебе не понять, не-ет! Никогда не понять.

— Где уж,— с горькой иронией усмехнулась Павла, думая о Попове: «Позовет или не позовет?» — Где уж понять мне, Паша. Это вы с братцем покойным лучше всех понимаете...

— Коришь меня...— тихо заметил Павел, подняв тяжелые, набухшие веки, под которыми сине, слезно заблестел один обиженный глаз. Другой — увечный — был спрятан под повязкой.— Изжить хошь, дак скажи прямо. Сам уйду. Только жизни решаться не стану... Так уйду — в лес или на Север подамся, все равно где подыхать... Будь она проклята такая житуха! Светлого часу в ней не было...

— Ну вот,— ворчливо заговорила Павла, вспомнив невольно то хорошее, что было когда-то между нею и Павлом, доброту, жертвенность его вспомнив. Для себя-то и впрямь не жил, и с самого первого дня вел себя так, словно искупал огромную вину брата, надругавшегося над Павлой. Весь груз этой вины он так и не сумел с себя сбросить. И Павла, смертно возненавидевшая Василия, перенесла часть ненависти своей на мужа и только теперь осознала, что ненавидит его, хотя и понимает, что эта ненависть им незаслуженна. Тот, старший, разом ее сломал, этот — ломает много лет. И вот сейчас Павла не может уйти из дому, не может встретиться с Поповым, не свободна... А если уйдет все же, то принесет в себе грусть и ненависть, которой полна, принесет усталость души и сочувствие к доброму, однако неродному, порой даже ненавистному человеку, мужу, отцу ее

детей.— Ну вот, опять то да потому. Не пересыпал бы муку-то... Выпей да спи. Это лучше.

— Ну да, когда спишь — лучше. Проснусь — глаза бы мои на все на это не глядели.

— Выпей и спи,— настойчиво, но мягко сказала Павла и налила мужу водки.

— А ведь ты спаиваешь меня. Ну и правильно: скорей сдохну,— улыбнулся он кротко, словно речь шла о чем-то безобидном и светлом.— И правильно. Совершенно верно.

Глава одиннадцатая

Под крышкой, где висела боксерская груша, у Кузьмы была мастерская. Убежав от взрослых и наревевшись, он мудрил сейчас над тем, как из кучи железного хлама соорудить некое подобие летающего аппарата. Хлама порядочно собрано, а вот нужных частей нет. Самое обидное — нет двигателя. Пнув ногою истерзанный хвостовой винт вертолета, Кузьма окликнул козленка и, поглаживая его, уселся на жердочке. Здесь и отыскал его Попов, побывавший уже у Легезы и в школе.

— Взяли бы вы меня к себе в бригаду,— подвинувшись и дав ему место, сказал Кузьма.

— Школу кончишь — возьму.

— Это когда еще будет! А мне деньжата во как нужны.

— На мороженое? — усмехнулся Попов.

— Что я, девчонка, что ли? Скажете тоже...— рассердился Кузьма.

— А зачем?

— Летающую амфибию мастерю. А узлов не хватает. Да и аккордеон купить не мешало бы...

«Как он на мать похож! Даже брови, как Павла, сводит»,— глядя на мальчика, думал Попов, проникаясь к Кузьме теплой симпатией.

— Я, пожалуй, выручу тебя по-дружески. Составь смету — финансы будут,— подмигнул он Кузьме и выжидательно на него уставился.

— За так не возьму.

— Почему же за так? Подрастешь — вернешь.

— Это все равно что за так.

— Если б я оказался в таком переплете, а ты был при деньгах... неужто не помог бы?

— Тут сразу не решишь,— пожал плечами Кузьма.

— Дда, заквасочка! — протянул Попов и, словно потеряв интерес, пошел бродить по острову. Сзади, точно побитый, кособочась, шагал Кузьма, прячась за деревьями. Пройдя через овражек тропинкой, Попов сломил черемуховую палочку и, устроившись над обрывом, принялся вырезать на ней узоры. Вчера еще сильное волнение, которое обычно испытывал при встречах с Павлой, как бы притихло, однако душа была неспокойна. Что-то плескалось в ней, что-то тревожилось, и неотчетливо еще, но сильно уже вставали какие-то вопросы или предчувствия этих вопросов. И отвечать на них не хотелось. Но Попов знал, что вопросы выкристаллизуются, и так или иначе, но ответ дать на них придется. Он отодвигал момент самоопрашиванья, всегда трудный, порой невыносимый для него момент, хитрил, успокаивая совесть какой-нибудь безделицей, вроде вот этой черемуховой палочки. Прорезав белую дорожку на прутике, обвил ею повдоль весь прутик и провел по влажному, сочащемуся стволику жестким ороговевшим ногтем. Поодаль, на полянке, сидел Кузьма, рассеянно гладил козленка и тер лоб, обдумывая, как бы получше подъехать к Попову, чтоб это не выглядело навязчивостью.

«Мужик-то он вроде ничего, а я обидел... Это когда про деньги заговорил. А я на деньги-то вовсе не жадный! Просто нужны они, вот и все»,— думал мальчик, который не привык одолжаться, так мать учила, а зарабатывать еще не умел. Летающая амфибия, которую он собирался построить,— дело далекого будущего. А вот аккордеон нужен сейчас. Но кроме трех рублей, когда-то данных отцом, у Кузьмы ничего не было. Торговля игрушками не удалась: Алешка сломал удачно начавшуюся торговлю. А то бы рублей двадцать — если по рублю за игрушку — выручил бы. «Ладно, что-нибудь придумаю, обязательно даже придумаю,— обнадежил себя Кузьма, а где-то в уголке таилась мыслишка: «Не попросить ли у отца?» Вытащив ее, мальчик устыдился: у отца-то ни копейки нет за душой. Даже в ведомости мать за него расписывается, чтоб не тратил деньги на выпивку. «Пойду работать,— решил Кузьма.— А то

ведь выйдет: когда вырасту — играть уже не захочется...»

И он засвистал потихоньку и увлекся, причудливые выводя трели, а пальцы прикасались к Петькиным ребрышкам, словно к аккордеонным клавишам. Свисту Кузьма учился у островных пташек, у бурундучка, а потом услышал по радио, как насвистывал один артист, и до немоты в губах, во всякий час и во всяком месте выражал свистом все свои чувства. Со стороны смешно было: человек слова не скажет, а только свистит и свистит. Тонька свистуном обзывать стала. Ну ничего, зато свистеть здоровски научился. Теперь не хуже, чем у того артиста, выходит.

«А и хитер же ты, парень!» — подкрадываясь, чтоб не спугнуть мальчика, думал Попов. Его восхитил этот ловкий и безошибочный ход в игре, затеянной Кузьмой. «Вот оно!» — вдруг отчетливо увидал он живой, материализованный вопрос. «Оно» — начало разговора с самим собой. И первым толчком была встреча с Павлом, теперь вот с Кузьмой... А вчера узнал, что из Томска сюда перевелась Ольга и, как сказали, попала в аварию, но каким-то чудом уцелела. Павел, с которым сидел за одним столом, Кузьма, Ольга, Алексей, дочка Попова, которую Ольга увезла когда-то с собой...— все люди. Много их встало перед Поповым, и каждый заговорил своим голосом, и каждый требовал своих прав, отнимая у Попова одно-единственное право — быть с Павлой.

— А я вам бурундучка показать хотел,— обрывая свист, сказал Кузьма.— Такой нахаленок — с руки ест.

Попов, отмахиваясь от мыслей своих и от видений, благодарно и молча ему кивнул и пошел следом. Они остановились подле старого, лишаистого кедра, с веток которого свисал седой мох. Кузьма оглядел дерево, полянку, посвистал и встревоженно забегал вокруг, разыскивая зверька.

— Где же он?

— А я уж кормила его, свистун! — высовываясь из-за соседнего кедра, чуть потоньше того, у которого стояли Попов и Кузьма, прокричала Тонька.— А теперь ему спать пора, вот!

— Просили тебя! — досадливо проворчал Кузьма и посвистал снова. Бурундучок не спал и, видно, остерегался чужого человека и потому не показывался. Но перед

семечками не устоял. Сбежав по нижнему суку, ткнулся мордочкой в ладошку Кузьмы и принялся за угощение. Брал доверчиво, но быстро, то и дело шныряя глазками в сторону Попова. Заложив за вспухшие щеки семечки, юркнул на дерево и, еще раз оглянувшись, исчез.

— Это он спасибо так говорит,— солидно разъяснил незамысловатый жест зверька Кузьма.— Освоился. А поначалу был совсем дикий.

— И как же вы зовете его? — спросил Попов. Тонька стояла в сторонке и, казалось, разговор их не слушала, но острые косицы ее над облупленными ушами подозрительно шевелились.

— Да никак. Посвищу — он и выходит.

— Ну да, никак,— возразила она тотчас.— Я Чоком его зову. Вот так,— она вытянула трубочкой губы, зачокала.

— Чок,— пренебрежительно пожал плечами Кузьма.— Придумала тоже — Чок.

— Чок, чок, чок — вышел Кузя-дурачок! — прокричала Тонька и кинулась прочь, зная, что Кузьма ей этого не спустит. Попов, глядя на детей, расхохотался.

— Хорошо ты живешь, интересно! — обняв мальчика за плечи, говорил он и шагал к школе, в которой устроилась на ночлег бригада.

Было часов около десяти. Но солнышко в этих краях маялось бессонницей и, недолго подремав за горизонтом, выходило на утреннее, раннее дежурство. А в июне-июле и вовсе не засыпало. Взглянув на часы, Попов спохватился:

— Тебе уж спать пора.

— Я ложусь, когда схочу,— возразил ему Кузьма.— Большой уж. А вот Петьке, верно, пора. Пора, Одноглазик? — Кузьма ласково встряхнул козленка и ткнулся в его шерстку носом. Однако, услыхав чей-то опечаленный голос, приложил палец к губам: — Тсс! Это Алешка с Сорокой.

— ...У меня жизнь, как у клюквы в сахарной пудре,— тянул уныло Алексей.— Внутри — кисло, снаружи — сладко. А главное, ничего не хочется.

— Видно, уж все на свете переговорили,— шепнул Кузьма, подмигнув Попову.— На судьбу пенять начал.

— Подслушивать некрасиво,— потянув его в сторону, сказал Попов.

— Пхе! Я сто раз их слышал. Все одна и та же пес-

ня: сперва про любовь, потом про сокровища или про смысл жизни, вот как щас. А то еще стишками начнут разговаривать. Ум-мора!

— На всем готовом живем... И даже будущее наше нам заготовили, а нас как бы остановили... в зачаточном состоянии. И вот выросли мы, я про себя говорю, Вита, ничего не хотим, ни к чему не стремимся... Все тот же эмбрион, только масса побольше... А ум прежний, зачаточный... все в том же сахаре.

— А ты отряхни его, сахар-то. Ты по-своему жизнь строй, Алеша,— советовала Сорока, но в голосе ее, счастливом и глупом, была та необязательность, от которой советы звучат пусто. Зато звенела в нем молодая радость, голос сочился взволнованным чувством и как бы говорил: «Не это главное. Главное, что мы молоды оба, что любим друг друга. Все остальное зависит от нас».

— Как строить-то? Нас по примеру отцов учили... по героическому примеру... Герои в обычные дни не рождаются.

— Почему же? Вот Недобежкин? Герой?

— Какой он герой? Свинарь обыкновенный. Этак и я могу. Попотею на своем тракторе — присвоят. В этом героизме чуда нет. Да и не хочу я быть героем. Я просто человеком быть хочу... вот, как отец, скажем... Он живет и не сомневается... А ведь как трудно живет!

— Думаешь, не сомневается? Ты просто не понимаешь его, Алеша! Хотя, конечно, отец твой человек стоющий: он понял цену жизни.

— Во завернула! — шепнул Кузьма.

— Вот-вот... я это самое и хотел выразить, да слов не находил нужных. А мама...

— И Павла Андреевна тоже,— поспешно перебила его Сорока, видимо, не желая, чтоб Алексей отозвался о матери не по-доброму.— Она вроде корабля в море, против волн не боится править, но это дает не всегда положительные результаты.

— Ты про мамкино накопительство? Это все по инерции, а часто с досады. Мамка в нужде жила долго... тогда и усвоила старый принцип: запас карман не жжет. Но вообще она женщина нескучная... когда поймешь ее.

— Красивая! — с завистью проговорила Сорока.— Но только мельчит себя очень.

— Сама же кораблем ее назвала,— слегка сердясь

и не желая больше обсуждать мать. возразил Алексей.— Она корабль, а я бумажный кораблик всего лишь. Куда понесет меня — не знаю.

— По курсу, Алеша,— рассмеялась Сорока.— По курсу, проложенному опытными лоцманами.

— Пошли! — позвал мальчугана Попов. Шагая с ним рядом, думал о старшем брате: «Алексей-то этот, озабоченный парень. А с виду другой. Все они, Брусы, люди в себе... Сразу их не разглядишь. Вот и Кузьма взрослее десяти своих лет... Мужичок маленький. А ведь я обидеть его мог... и Павла, и Алексея... да и обидел уже...»

Подведя Кузьму к дому, обнял мальчика и крепко поцеловал, смутив неожиданною лаской.

— Хороший ты человек, Кузьма Брус! Так и знай, что ты человек хороший, настоящий,— сказал, прощаясь.— Только вот не знаю, чем смогу тебе быть полезным. А хотел бы, Кузьма. Поверь, хотел бы.

— Алешку в бригаду к себе возьмите,— попросил Кузьма, всю дорогу напряженно размышлявший о чем-то. Наверно, о брате старшем думал, заботы которого знал лучше, чем кто-либо.

— Алешку? Что ж, если захочет — возьму. Мне дизелист как раз нужен. Наш прежний на пенсию ушел. Возьму я твоего Алешку. Можешь ему передать.

В ограде Брусов, прильнув к заплоту, кто-то подсматривал в щель. И Попов догадался, кто там прячется, но не позвал и, согнувшись, опустив тяжелые плечи, зашагал прочь. И Павла его не окликнула.

«Не пожалей, Митя! — глядя на удалявшегося Попова, шептала она.— Такими, как я, не бросаются».

Глава двенадцатая

В отце проснулась гордость. Она просыпалась всякий раз, когда Брус запивал. В такие дни он верил в свое великое предназначение и, вышагивая по острову, во весь голос кричал: «Чччеловеччество! Оно еще узнает! Оно уви-идит! Я вот он! Хожу в чем мать родила! — и начинал раздеваться. Оголившись до пояса, слюнил палец и определял: — Ветер! А я супротив всех и всяких ветров! Вот он я! Дуй, стерва! Вали Бруса! Брус выстоит!»

И — стоял. Большой, тяжелый, яростный пустозвон. Победно улыбался, когда наскакивал на него ветер, когда жгли комары, и оглядывался, точно ждал признания восторженной публики. Но всей публики — Кузьма да Петька. Козленок носился около, время от времени поддевая Бруса пробивающимися рожками, рассыпал подле него черные дымящиеся орешки. Кузьма, выстрогав из талинки витую, нарядную палочку, чертил на песке схему летающей амфибии.

— Кузяха,— командовал отец, когда уставал от куража,— неси маленькую. За муки мои, за народ выпью!

— Сам неси,— равнодушно бросал Кузьма. Он уж привык к отцовским концертам и не обращал на него внимания. Отец, покуражившись, шел к тайнику. Это был странный тайник-дупло в нижнем венце, заткнутый сучком. Павел прятал в дупле водку, хоронясь от зоркого глаза жены, которая денег на опохмелку не выделяла. Каждый раз, вынимая сучок, он находил в дупле «четок», удивляясь свой вчерашней предусмотрительности, но еще более тому, что «четок» уцелел. Вчера как будто до синевы нахлестался, а вот позаботился о грядущем дне. Иногда и с меньшего похмелья, увидав маленькую, недоумевал: «Опять? Не тайник, а прямо скатерть-самобранка».

Кузьма знал секрет самобранки. Впрочем, не только он знал. Мать выследила тайник давным-давно и сама пополняла его.

— Зачем? — застав ее подле тайника, хмуро допытывался Кузьма.

— Нас это не разорит,— усмехнулась недобро мать.— А ему место укажет.

Отец, возможно, тоже догадывался о ее проделках, но молчал, а трезвый чувствовал себя виноватым и заискивал. Это была нечестная сделка, поскольку выгоду получал один человек,— Павла, которая всегда и во всем выгадывала.

«Такого мужика закабалила! — услыхал однажды Кузьма во время очередного отцовского запоя. Говорили между собой Сорока и Вера Недобежкина.— Он потому и пьет, что из сетей ее вырваться не может».— «Они, кажется, душа в душу живут!» — нерешительно возражала ей Сорока.— «Только что кажется. Приворожила она его. Потому что колдунья... Она и на медведя его послала... Сама другого пригреть хотела...»

— Вот уж в это никогда не поверю! — возмутилась Сорока.— Павел Терентьевич такой человек порядочный...

— Ей порядочный не нужен. Ей крепкий нужен. А что порядочный — дело десятое.

— Сплетница ты! Кочерыжка! — закричал из своего скрадка Кузьма, намекая на короткие, чуточку кривоватые ноги Недобежкиной. Та оскорбилась и собралась было пожаловаться Павле, но, поскольку сама же была виновата, жаловаться не стала.

— Тятя, а, тятя! — вспомнив недавний тот разговор, Кузьма стер чертежик и окликнул отца, сосавшего водку из горлышка.— Ты на медведя как пошел? Сам или направил кто?

Брус-старший не допил, поперхнулся и уставился на Кузьму белым недоумевающим глазом. Лицо скривилось от боли. Толстый пористый нос провис.

— Кто ж меня мог направить, Кузя,— ответил наконец он. У Кузьмы от такого начала засосало под ложечкой: «Значит, Недобежкина наврала все. Я так и знал, что наврала».

— Че ж не стрелял-то, папка? Надо было стрелять.

— Не знаю. Забыл о ружье сгоряча. Да и медведь был ручной. Обидели его. Думал, не тронет того, кем вскормлен. А может, и не так думал... Увидал его около вас и ровно как сам одичал. Будь там хоть десять медведей, все равно кинулся бы на них. Измял он меня, изуродовал, как бог черепаху... а мог бы вас так-то... Вот и маюсь теперь... до гроба маяться буду...

Пробка острым краем своим вонзилась в отцовский палец, и на огромной изжелта-серой подушечке выступила длинная капля крови.

— Тятя, тятя! — Кузьма вдруг припал к отцу, обнял его и уткнулся разгоряченным лбом в отцовские ладони.— Ты хороший, тятя! Ты не пей! Совсем не пей! Ладно?

— Не буду больше,— готовно пообещал отец, но, подумав, неуверенно добавил: — Постараюсь не пить.

И, словно на змею, наступил на недопитую бутылку, хрустнувшую под тяжелым его сапогом.

«До чего докатился! — думал, успокаивая сына.— Мальчонка воспитывает! Эх, Павел, Павел! Дальше-то как?»

Как дальше, даже Кузьма не знал, всей душой желавший, чтобы отец выпрямился и бросил пить.

— Лоб-то...— отвернувшись, хрипло и с натугой вымолвил Павел.— Лоб-то я тебе кровью измазал.

— Это ничего, тятя,— заглядывая в пасмурные, бегущие взгляда отцовские глаза, сказал Кузьма и светло улыбнулся. Он нечасто так улыбался.— Это ничего. Кровь-то твоя.

«Вот... вот! За это самое жизнь отдам!» — исступленно слепо гладя взъерошенную голову сына, думал Брус. Целовать не смел, зная, что Кузьма — человек суровый. Но было ему худо, до того худо, что небо над головой с лупоглазым, будто рисованным солнышком, с мелкими белесыми облачками и пролетевшим под ними табунком уток куда-то пропало. Осталась серая бескрайняя муть, в которой он потерялся. Очнувшись, увидел над собой встревоженное лицо Кузьмы.

— Ты ступай, сынок, ступай! — слабо шепнул Павел.— Ступай, не тревожься. Рано тебе тревожиться.

Кузьма молча кивнул и ушел, ни разу не оглянувшись, хотя шею вело в сторону. «Нельзя! — приказывал он себе.— Нельзя!»

Павел явился домой часа через два, задумчивый, как стеклышко трезвый. Достал из деревянного футляра облезлую двухрядку и начал наклевывать на ней толстыми негнущимися пальцами. Клюнув раз-другой, свел слипнувшиеся мехи, пробормотав еле слышно: «Не та музыка! Не та!»

Глава тринадцатая

— Я те лису подарю. Мало — две. Только отступись,— услыхал Кузьма голоса во дворе. Мать опять улещает кого-то. Видать, неспроста улещает.

— Не надо мне ваших лис, Павла Андреевна. Никого, кроме Алеши, не надо,— Кузьма узнал голос Сороки, хриплый и от волнения прерывистый.

— Да что ты нашла в нем? Телок телком! Если уж выбирать из двоих, дак я бы профессора выбрала. Человек с положением. На руках носить будет. А этот... молоко на губах не обсохло.

— А если я Алешу люблю? А Валерия Николаевича просто жалею. Болен он, нуждается в помощи.

— Вот и жени его на себе, враз выздоровеет. Пойми, дуреха: Алешке ты не пара: ученая, умная. Ему простая девка нужна.

— Если разлюбит — сама уеду. Тогда выбирайте, кого хотите.

— А ты не жди. Уезжай, пока я добрая.

— Не пугайте, Павла Андреевна. Я не из пугливых.

— А напугаешься,— с грозной усмешкой молвила Павла.— Ты ведь не знаешь меня, голубушка. И лучше не узнавай, а то... а то вот скажу, как ты с профессором в кустах миловалась...

— Не лгите! — голос Сороки гневно зазвенел.— Не лгите!

— А кто докажет, что вру? Профессор и впрямь, как кот облизывается, не гляди, что в годах.

«Я докажу,— мысленно возразил Кузьма и толкнул калитку. Павла смутилась.— Ага, заморгала!»

Сорока кинулась к нему как к спасительному берегу:

— Я книжку тебе принесла. А тебя не было.

— Мы сено с отцом метали,— Кузьма обласкал ее дружелюбным взглядом, взросло пожал руку.

— О разговоре-то помни. Я твердо на своем стоять буду,— негромко сказала мать, и Сорока, сняв отпотевшие очки, спотыкаясь, побрела к калитке.

— Невестку к дому приваживаешь? — простовато поинтересовался Кузьма.— Ох, мать, до чего же ты хитроумна!

Павла так и не поняла: слышал он их разговор или нет. Кузьма прошел к колодцу и окунулся в кадку с водой. Открыв глаза, долго изучал зеленое днище кадочки, поросшее мхом, и думал, откуда из ничего взялся мох. Выбравшись, чихал, морщился, рассыпал брызги с мокрых волос.

— Петьку кормила?

— А как же,— одолев минутную растерянность, заискивающе отозвалась Павла. Младший сын все чаще удивлял ее ранним и недюжинно зрелым умом. Никогда лишнего не скажет, а если слово вставит, так будто гвоздь заколотит. Ох, лучше бы подольше в младенчестве побыл! Через ступеньку шагает: не знаешь, как и вести себя с ним.— И накормила, и вымыла, Кузя!

— Вот услужила так услужила! — снисходительно похвалил ее за усердие Кузьма.— Выпусти-ка его, я к баптистам наведаюсь.

— И чего ты к ним повадился? Еще завлекут в свою веру.

— Так я и поддался,— проворчал Кузьма, недовольный тем, что мать усомнилась в его самостоятельности. Он понимал, что это сомнение неискренне, но даже и в шутку не хотел признать его.— Знаешь ведь, у Иннокентия на аккордеоне учусь. Другого интереса не имею.

— Вот будешь в школе отличником, так и быть, куплю тебе эту музыку,— посулила мать.

Было бы здоровски! Но взвесив свои возможности, Кузьма разочарованно хмыкнул: отличником ему не бывать. Мать это знает лучше, чем кто-либо. Кабы вся программа состояла из географии, из истории, из физики да математики! Эти предметы Кузьме по душе. Так ведь есть еще и русский с его невнятными правилами, и литература с ее умными писателями. Писателей тьма, а пишут все про одно и то же: любовь Ольги, любовь Татьяны, любовь Веры, Марьи, Наташи... На фиг они сдались Кузьме со своими любовями! Вот если бы у тех писателей можно было прочесть, как построить летающую амфибию! Эх, грамотеи! За что им только деньги платят!..

А все-таки жаль, что мать не купит аккордеон! В кои-то веки расщедрилась на обещание и того не выполнит. Да, жаль!

«Только душу растравила!» — Кузьма хмуро покосился на мать и, позвав козленка, буркнул: — Я пошел.

— А ступай, ступай, Кузя! Гуляй, пока молодой. Я вот свое отгуляла,— мать вздохнула, но Кузьма уже не слыхал ее вздохов и огородом шагал к школе. Петька щипал на ходу капустные кочаны, отставал и потому часто требовал, чтобы Кузьма дождался его.

— Поори, поори, дурень! Вот мамка увидит, она тебе живо вицу о хребет обломает!

А школа будто в молоке выкупалась! Стояла на взгорыше заважничавшей гусыней. Казалось, пугни ее, крикнет раскатисто и подымется на крыло, чтобы лететь-лететь в светлый мир постижения истины и нести в себе веселых маленьких человечков.

Кузьма не без тайного трепета взошел на резное крылечко, сосновый дух которого перешибал запах краски из коридора. По блестевшему лаком полу брошены плахи для переходов. Кузьма стал на краешек плахи, но дальше идти не решился. Очень уж пусто было в школе,

пустынно и величаво. А как развесят вдоль стен портреты и карты, как прибьют классные доски, как включат яркие люстры — жизнь начнется, гомонливая школьная жизнь!

— Двигай сюда, паренек! — крикнул из угловой комнаты Иннокентий. Вроде и не смотрел, а всегда угадывал появление Кузьмы.

«Люди, как ноты,— отвечал он на удивленный вопрос Кузьмы: «Как различаешь по слуху?» — А ноты одна на другую не похожи».

— Не торопишься? — Иннокентий оглянулся. В зубах у него был гвоздь.— Я скоренько.

Забив гвоздь, мягко спрыгнул с подоконника, затер все, что наследил, и таинственно подмигнул:

— Я тебе сыграю сейчас... первый услышишь,— он достал из футляра громоздкий, нарядной расцветки аккордеон.

«Мне бы так научиться! — слушая печальную мелодию, думал Кузьма. Сама мелодия была проста и понятна, но вокруг нее и грома гремели, и ставни хлопали, и куда-то тревожно звал колокол, и возникали еще сотни разных знакомых звуков, будто играл не один Иннокентий, а целый симфонический оркестр.— Не научусь, однако. У него пальцы-то вон какие тонкие! Все чуют, как звери!..»

Уж замолк аккордеон, уж, осияв улыбкой веснушчатое узкое лицо, неслышно встал с табурета Иннокентий, а музыка все еще звенела над ним, и Кузьма сам стал ее частью, если не нотой, то отрывком мелодии, наигранной искусным музыкантом.

Иннокентий играл когда-то в эстрадном ансамбле, но после развода с женой попал в психиатрическую лечебницу и на сцену больше не вернулся.

«Такого мужика бросила... э-эх!» — с неприязнью подумал Кузьма о женщине, даже и не подозревавшей о его существовании и о том, что поневоле стала ему врагом.

— Слушается? — спросил Иннокентий о своем сочинении.

— Я бы тебя за одно это в композиторы принял,— по деревенской привычке Кузьма скупился на похвалу, но тут не сдержался.

— Рад, что угодил,— когда Иннокентий не улыбался, лицо его было сухим и старым, все в крупных ржа-

вых веснушках, точно земля осенняя в палых листьях.— А мы расчет получили.

«Жаль,— хотел сказать Кузьма, но только вздохнул и сощурился, стыдясь выказать свои чувства.— Ох как жаль!»

— Ты мне пиши. Ладно? — склоняясь над ним, тихонько вымолвил Иннокентий. Срыжа седые длинные волосы тускло блеснули, а нос Кузьмы понятливо уловил знакомый с детства запах щепы и стружки.

— Ага. И ты пиши. Прямо на остров. И приезжай, когда захочешь.

— Хотелось бы встретиться... лет через пяток. Так ведь забудешь меня,— тоскливо ссутулился Иннокентий.

— Эко мелешь!— буркнул Кузьма, отворачиваясь.— Только своим баптистам ты и веришь!

Иннокентий рассмеялся, подобрал волосы.

— Я только в одно верю, Кузьма: человек добр и к добру стремится. А все прочее — забота философов. Да ты знаешь ли, кто такие философы?

— Ну те, которые жить учат, папка так говорит,— неуверенно ответил Кузьма.

— Вот именно: учат, а научить не могут.— Иннокентий спохватился и расстегнул аккордеон.— Ты же поиграть пришел, а я разговорами надоедаю. Садись, паренек, наяривай!

Кузьма тронул пальцем средний регистр, огладил зеленый гриф и отступил. После Иннокентия играть на аккордеоне было неловко.

— Обиделся, что ли?— Иннокентий встревожился, заворочал печальными воловьими очами, словно искал в себе причину обиды. Кружа по учительской, шагал крупно, но притаенно, точно под длинными, развернутыми в сторону ступнями был разостлан пушистый ковер.

— Да нет же!— вскрикнул Кузьма и топнул ногой, очень напомнив в эту минуту Павлу.— Говорун какой!

Ведь вот недолго пробыл на острове человек, приехал чужой, незнакомый, а Кузьма привязался к нему, как к родному.

Иннокентий же сегодня говорил весело, с хмельной лихостью, видно, выпили, когда школу сдавали. А может, притворялся, что выпивши, потому что раньше за ним такого не водилось. Наверное, притворялся. Губы-то вон как горько поджимает, чисто как мамка обиженная.

— Я богатый теперь... деньжищ куча! Куплю хату

себе и пианино. А эту штуку... хочешь тебе подарю? А, Кузьма?

Кузьма протестующе замотал головой, потому что не мог произнести ни единого слова. В горле от волнения, что ли, застрял какой-то комок. Мысль о том, что сейчас он станет обладателем невероятного, фантастически дорогого инструмента, казалась несбыточной и жестокой. Отнять аккордеон у человека, у которого и так все потеряно,— мысль невозможная. Нельзя так!

— У меня и Петька вон и братан, у меня все есть, а у тебя — только музыка,— сказал Кузьма и убежал, не простившись с Иннокентием.

В соседнем классе навешивали батареи буровики. Прекратив работу и разговоры, они тоже слушали музыку Иннокентия.

— Во вламывает! По первому разряду! — загнув палец, сказал Репнев.

— Вы знаете, о чем он играл?— шепотом спросил Маркин, светло, распахнуто оглядывая своих товарищей.

— Известно, о бабе, о душе своей непонятой, неоцененной!

— Пошляк ты, Репей! Во всем — одно видишь...

— Да я один, что ли? Вон Дмитрий Николаевич тоже не промах. Так ведь, шеф?— подмигнув товарищам, ухмыльнулся Репнев.

— Давайте работать,— хмуро отрезал Попов, повторяя про себя трогательную парнишкину фразу: «У меня все есть, а у тебя — только музыка». Какая глубинная умная доброта живет в этом маленьком человечке! «И у меня есть все,— думал Попов.— Или — почти все. А если нет, так отнимать у другого я не стану».

Вечером в школу пришла Павла. Буровики, ожидая вертолет, покуривали на школьном крылечке.

— Рублики-то свои возьмите,— сказала Павла, положив на перила довольно толстую пачку разного достоинства купюр.— Те, которые сверх цены дали.

— Сверх какой цены?— не веря ей, изумился Кошелев. Эта женщина все время чем-то поражала его.

— А сверх приемочной. Не ясно, что ли? Пошутила я, вы поверили, лишнее вышвырнули. Мне лишние деньги не нужны. Сама руки имею не хуже ваших.

И — пошла, понесла себя по земле, высоко, гордо вскинув голову.

— Паша,— боясь насмешек и все же не имея сил

удержаться, поспешил за ней Попов,— можно тебя на два слова?

Она обернулась: на лице гнев, удивление, в глазах — боль. «Как же ты мог-то?— читалось ему.— Как мог любовь мою обидеть? Может, первую, может, единственную любовь?»

Павла отвернулась и, не сказав ему ни слова, ушла.

— Что, Дмитрий Николаевич, не выгорело?— с издевочкой посочувствовал Репнев.— Это бывает. Не ты первый, не ты последний. Бывает.

Глава четырнадцатая

— Мать, я к буровикам податься решил,— не «мамка», как раньше звал, а «мать», и брови насупил. Видно, долго готовился к этому разговору сынок, с очкастой своей советовался, та настропалила, конечно.

Павла сидела на скамеечке в большом палисаднике перед домом. Руки, как у примерной школьницы, лежали на коленях. Здесь, между кустами черемух и смородины, стояли ульи, и пчелы жужжали вокруг, то с медом прилетев, то улетая за медом. Две-три пчелы запутались у Павлы в волосах. Одна ползала по цветастому рукаву кофты. Наверное, думала, глупая, что рисованные цветы на ситчике полны медоносной пыльцой и соком. У самой скамейки рос куст красной смородины. Прозрачно-рубиновые ягоды Алексей не решался рвать и в детстве: очень уж хороши они были! На них лучше смотреть, любоваться, а не есть. Проглотишь такую ягодку — ну кисловато чуть-чуть и сладко, а съел — красота исчезла, живая, тревожащая красота. А вот черемуху ел спокойно. Только цветы ее рвать остерегался, вообще никаких цветов никогда не рвал. Цветы лучше всего живые, с капельками росы на лепестках, со следами утреннего тумана. Туман, уплывая, как бы смазывает эти капельки и оставляет белую поволоку, которая исчезает при первых легких лучах солнца. Жизнь медоносна, неспешна, деятельна. Все живое, живущее безотказно и в срок исполняет то, что ему назначено. Пчелы вот тоже несут и несут мед в свои домики, а человек грабит их, забирая себе почти все, что они принесли с дальних лугов и перелесков. Это он сам себе назначил — брать с маленьких тружениц такую не-

посильную дань. Как терпеливы пчелы, как кротки! Вот, говорят, в Америке какие-то особенные появились пчелы, взбунтовались против человека, против себе подобных и начали междоусобную войну. Видно, общаясь с людьми, переняли у них далеко не все лучшее. Но эти, Павлины, не взбунтуются. Однако по колхозу идут слухи, будто обучены они, будто колхозный медок воруют. Алексей не верит: пчелы — не собаки, им такие повадки не передашь, если сами не переймут их в каких-то чрезвычайных обстоятельствах.

— Ты слышишь, мам? — с меньшей уже решительностью повторил Алексей.— Ухожу я.

Павла прикрыла глаза, сдвинула к коленным сгибам ладони и чуть слышно, но четко выронила:

— У-хо-ди.

— Ты не захворала, а?— встревоженно спросил Алексей, спеша, впрочем, поскорее ретироваться, пользуясь благоприятным моментом. Он ожидал другого разговора, даже скандала, и приготовился к нему. Все утро и весь день сегодня думал, как подойдет и как скажет матери о своем решении и лишь в самый последний момент известит Сороку. Подошел, сказал, а скандала не было. Верно, сломалось что-то в мамке. Будь она в добром здравии, ох закатила бы по этому случаю сценку! Как оставлять ее такую? Может, остаться и самому? А когда отойдет она, оттает, тогда вцепится мертвой хваткой и ни за что с острова не выпустит. Восстала против женитьбы на Вите... не буду жениться, пока не готов к этому шагу. Что это, из одних рук перейти в другие, из-под мамкиной опеки под опеку Сороки. Кузьма вон и то меня самостоятельней. Он хоть и помалкивает, а свою линию гнет. Не собьешь его с линии. Меня запросто сбить можно, поскольку линии-то и нет вовсе. «Не человек — пирог без начинки»,— вспомнились слова Павлы. И это в двадцать два года. При данных — рост метр восемьдесят шесть, вес восемьдесят три килограмма.

«Нет, с мамкой я не останусь»,— жалея и все же спеша исчезнуть поскорее, думал Алексей.

— Ну ты, в случае чего, извести меня телеграммкой. Я буду в бригаде Попова!— крикнул он, уже убегая.

«Попова?!» — Павла встряхнулась, уронила с колен руки. А по улице, как два застигнутых в саду воришки, удирали Кузьма и Алексей. «Так вот кто против меня

действует!» Все в заговоре против Павлы: Сорока, Кузька, Алешка, Дмитрий... Многовато их собралось, только и многих вас мало, когда супротив пойду. Эх, Митя, Митя! Меня оставил — сыновей не тронь. Не так должно быть. Меня бы следовало увезти отсюда. Умакнуть как невесту. Или — позвать хоть. Что же ты не позвал меня, Дмитрий Николаич? Тоже струсил, поди? Хлипковаты вы, мужички, когда сплеча рубить надо! А я бы вот не обробела. Чего уж, один расчет. Коль пал горшок — черепки в сторону.

А сыновья — что ж, пусть летят, держать их не стану. Наоборот, Алешку подальше услать хотела, чтоб о годах мне не напоминал. Тут Сорока подоспела некстати. Не жалко мне: женись хоть и на Сороке, только увози ее подальше и сам уезжай. А Нинка Теплякова предлогом была. Только знаю я, Алешка, не женишься ты на землеройке на этой. Ты волю ищешь, а она волю твою, как я же, себе заберет маленькими, да цепкими ручонками своими. Я от обид тебя берегла, пока рос, она от людей для себя беречь будет в городской своей уютной квартирке. Ты вообще-то правильно решил, парень, уходи. Только со мною зря не посоветовался. Робок больно, видно, в отца. Кузьма не испугался бы, на своем настоял. Пока зелен еще, а такому и Сорока — подарок. Вон она гонится уж по следам. Да не удержишь, проглядела.

— Алеша! Алеша!— кричала, догоняя братьев, Сорока.— Ты улетаешь? Почему же ты не сказал?

— Эмбрион я, понимаешь?— стараясь перекричать гул только что севшего вертолета, кричал Алексей, жестко усмехаясь.— С меня довольно... довольно.. сахарной пудры!

— Но ты ненадолго, Алеша?— кажется, поняв что-то, спросила она опять и несильно, но крепко вцепилась в его рукав.

— Навсегда,— бухнул отчаянно Алексей, но тут же поправился, увидев слезинку за очками.— Но тут близко... Я прилетать буду, вот так.

Подозвав Кузьму, отошел с ним в сторонку, уж одним этим освободившись от цепких ее рук, сказал на ухо:— Посматривай за ней. Мало ли чего.

— Со мной не пропадет, так и знай!— успокоил Кузьма и долго еще следил за улетевшим вертолетом.

— Иди настрой медогонку,— сказала мать, когда Кузьма появился в ограде. Была, как и всегда, сурова

и деловита, словно и не знала, что сыновья против нее в сговоре.

— Не пойду!— отрезал Кузьма, набычившись, и приготовился к репрессиям. Но их не последовало.

— Это как же так — не пойдешь?— замахнулась на него Павла; рука, точно заговоренная, повисла.— Это как же так — не пойдешь?— повторила она шепотом.

Кузьма не ответил. По щекам его текли крупные слезы, которых мальчик не замечал. Мать заметила и, отвернувшись, высморкалась в передник. «Маленький мой! Семечко сердечное! — думала нежно, глядя на сына.— Может, только одна мамка и понимает тебя. Одна мамка, сынок».

Глава пятнадцатая

Пчелы роились. Возжелав самостоятельности и воли, молодое семейство устремилось к черемухам.

— Не упустить бы,— сказала мать и подтолкнула Кузьму.— Беги следом!

— На колхозную пасеку потянулись,— Кузьма вразвалочку пошел за темным жужжащим клубком. Павла не утерпела, и сама побежала за пчелами.

Прошлым летом один рой приглядел себе местечко на том берегу. Пчеловод собрал его, поселил в свободном улье. Павла узнала и подала в суд. Суд не признал ее притязаний, но пчел она все-таки отвоевала. Федор Терентьевич, уставши от ее скандалов, прибежал к председателю: «Отдайте вы ей этих чертовых пчел! Ведь она меня поедом ест!»

Председатель заупрямился, и тогда дядя Федор выставил ультиматум: «Отдайте! Или уйду с пасеки!» Причин он не объяснил, но пчел вернули. А дядя Федор однажды предупредил Павла: «Скажи своей волчице, чтоб не фокусничала!»

— О чем ты? — встревожился отец.

— Будто не знаешь?— Но удивление отца было так искренне, что Федор поверил.

— Мало ли чего она может учудить! Черт, не баба! — опасливо оглянувшись, сказал отец.

— Да уж верно, что черт! Распустил ее, дальше некуда! До чего дошло: пчел своих на общественный мед натаскивает! Тьфу, прости господи!

— Цирк да и только!— развел руками Павел.

— Вот если колхозные семьи из-за ваших на голодный паек сядут — будет вам цирк! — пригрозил дядя Федор.— Так что упреди свою волчицу!

Отец долго не отваживался на разговор, но после повторного напоминания Федора распил сороковочку и высказал:

— Федор сказывал, будто пчелы твои колхозный мед воруют,— он так и сказал: твои.

— Они мне о том не докладывались. Они, бедняжечки, безъязыки.

— Смотри, Павла, с законом не балуй! А то рассержусь.

— На сердитых воду возят,— отмахнулась мать, однако пчел, которые зарились на чужое, продала.

— Ну вот, ну вот! Это по-нашему,— похвалил брата дядя Федор.— А то куда же годно: ворьем окрестят!

Сейчас увидав, что рой поднялся, отец принес из амбара запасный улей и стал ждать, когда появится с собранным роем Павла, но раньше ее появился Путников.

— Виолетта Романовна потерялась,— сказал он жалобно, дергая себя за бородку влево и вправо.— Со вчерашнего вечера не появлялась.

— Нну, найдем,— успокоил его Павел. Сам, однако, встревожился: человек — не иголка. На острове потеряться невозможно. Значит, ушла куда-то подальше и заблудилась. Да ладно, если на зверя не наткнулась.— Найдем,— повторил Павел, предложив археологу закурить.

— Ищут... я уж побывал в правлении колхоза. Ищут, а найти не могут.

— У женщин свой леший, Валерий Николаевич,— пошутил Павел, обдумывая, с чего бы начать поиски.— Поиграет и выпустит.

Шутил, а сам вспоминал встречу Павлы со старшим братом. Тут лес, и всякое может статься. Надо искать девку. Хорошая, безобидная девка. Тем более Алешкина зазноба. Может, через годок-другой невесткой станет.

А Путников, так и не прикурив папиросу, опять кинулся на тот берег, но вернулся, вспомнив, что надо плыть на чем-то, и Павел повез его на своей лодке. Чудной мужичонка этот Путников и малость не в себе.

Встретит на улице, поздоровается, а через минуту забудет и снова здоровается. Все у него значительно, все интересно. Пуговица на плаще оторвалась — укажешь, он и начнет длинный разговор об истории создания пуговиц, о производстве их в разных странах. И вытекает из его разговора, что пуговица чуть ли не главный предмет в жизни. Легеза, однажды услыхавший это капитальное пуговичное исследование, к случаю вспомнил, как вел двух добытых в разведке языков:— Связать их нечем было, дак я пуговицы на штанах отпорол. Таким манером и доставил к своим. Идут, голубчики, за штаны держатся...

В другой раз поймает Путников бабочку с яркими, красивыми крылышками и найдет вдруг, что рисунок на крыльях ее чем-то напоминает географическую карту. И это тоже стоит специального исследования.

Сейчас археолог помалкивал и мял в руках злосчастную папиросу.

— Что ж вы не ищете? — навалился на Легезу, едва появился в его кабинете.

— Ищем, дорогой товарищ. Да ведь тайга тут, а не теткина дача.

— Вы уж, пожалуйста, найдите ее. Я как без рук без нее.

— Найдем, если не будете нам мешать. Вы уж в пятый раз сюда прибегаете. А у меня и другие дела есть.

— Но я волнуюсь... я очень волнуюсь, поймите.

— Чем волноваться — лучше поищите ее.

— Но я не умею. Я не знаю здешних дорог.

— На дорогах не ищут. Ищут в лесу.

Легеза послал на поиски еще одну группу. Потом созвонился с нефтяниками, и вскоре от них вылетел поисковый вертолет.

Но Сорока будто сквозь землю провалилась. Кузьма в эти сутки похудел от переживаний. Он и не подозревал, что девушка стала ему так дорога.

— Поди, бандиты ухлопали! Говорят, двое из лагеря утекли, — сказала мать.

Кузьма встревожился: как же он посмотрит Алеше в глаза, если девушка погибнет? Брат уезжал с острова такой счастливый. Нет-нет, так не должно быть!

Кузьма бродил, бродил по лесу, искал Сорокины следы, но следов не было. Все осталось, как прежде: те же деревья, те же травы, даже белочка та же на скособо-

ченном кедре. Все было как прежде. И все по-иному, потому что не стало Сороки. Не стало? Кузьма испугался этого нечаянно вылетевшего слова: «Типун тебе на язык! Типун, болтун несчастный! Она жива! Честное пионерское, жива! Надо тяте сказать. Мы с ним всю землю перевернем, но отыщем Сороку. Не будь я Кузьма!»

Отец снова уплыл на выпаса, идти к нему на веслах да против течения далековато. Но Кузьма, не раздумывая, столкнул обласок, бросил на дно горбушку хлеба, централку, запасное весло и погреб. Шел не шибко, неподатливо, но без передышки. Фарватером плыли в разные стороны разные суда, равнодушно минуя крохотную лодчонку с крохотным в ней человечком.

Павел, попроведав свое стадо, шел теперь к острову пешком, делая большие зигзаги. И, слишком взяв в сторону, он разминулся с Сорокой, по следам которой шла Павла. Неподалеку от старой казацкой башни она подняла золотые очки, у самой башни — носовой платок. Здесь девушка, по-видимому, отдыхала. Павла определила это по примятой траве у стены башни. Но пошла Сорока почему-то не к острову, а в противоположную сторону. «Как по бульвару разгуливает!» — неприязненно думала Павла, сердясь на себя за то, что ввязалась в поиски неприятного ей существа. Но что-то толкнуло ее — искать. И Павла, бросив все домашние дела, сорвалась и принялась за поиски. Ее, дурочку-то эту очкастую, везде теперь ищут. А Павла видела вчера, как Сорока, размахивая газеткой, переходила Коровью протоку... Близ малинника, на той стороне Коровьей протоки, Павла подобрала и газетку, подумав отчужденно: «Фифа какая! Уж просто так, на голую землю, не сядет». Правда, ту же самую «фифу» Павла наблюдала в работе: Сорока орудует лопатой не хуже мужика. Ручки хоть и игрушечные, а на подушечках пальцев и на ладонях ороговевшие темные наросты. «Выбрала себе забаву! И чего ищет в земле? Ну Митя хоть нефть, а эта камни ненужные откапывает и прочие безделицы. Кому от них радость?» — думала Павла с раздражением, которое, чем больше думала о Сороке, тем скорей убывало. После Алешкиного бегства, неожиданного для обеих женщин, они в чем-то сравнялись судьбами или, скорее, положением брошенных женщин. Но, подумав об этом, Павла возмутилась: «Меня-то не бросили...» Ей никак не хотелось равнять себя с Сорокой. Однако и в Сороки-

ной судьбе было что-то нелегкое и близкое Павле. Девка живет без родителей. Как Павла когда-то нянчилась с сестрами, ставит на ноги больного брата, а между прочим, никогда и ни на что не жалуется. Наоборот, считает все это в порядке вещей, помогает чумовому своему профессору, в земле ковыряется и, как может, держится за свое счастье. Ей ли удержать? У Павлы руки покрепче и то выпустила...

Сорока берегом шла. И не в Тап, а от него. Шла и размахивала сорванной веточкой, словно и впрямь по проспекту гуляла.

— Вы меня ищете? — поздоровавшись, спросила она.

— Нужна ты мне,— буркнула Павла,— как мертвому припарка. Куда идешь?

— Туда, на остров,— указала Сорока, а остров был сзади.

— Помешалась совсем. Эдак уполощешь от острова неизвестно куда,— все более сердясь, говорила Павла.— Там он!— указала она и направилась обратно, браня себя за то, что ввязалась в поиски и почти полдня потеряла напрасно.

— Так вы правда меня искали?— опять спросила Сорока и растроганно прижала к груди руки.— Большое вам спасибо. Я всегда думала, что вы лучше... что душа ваша добрее ваших слов...

— А ну тебя!— раздраженно отмахнулась Павла и чуть ли не бегом поспешила в Тап.

На острове, уже перейдя протоку, наткнулась на прирученного Кузьмой бурундучка. Поймав его, огладила шерстку, проверяя: «Ничего, шкурка добрая. Нынче бурундука здесь много. Надо будет заняться».

Кузьма в это время изо всех сил греб против течения. Вылетев из-за поворота, увидал на берегу Сороку.

«Жива!» — воспрянул Кузьма и налег на весла. Обласок чайкой взлетел на волну и в несколько махов достиг берега. Заслышав плеск воды за спиной, девушка оглянулась и тотчас кинулась к Кузьме.

— Сорока! Ах ты... Сорока!— обнимая ее, бормотал Кузьма растроганно и неловко чмокал в лоб, искусанный комарьем, исцарапанные щеки. И она целовала Кузьму.— Сорока! Ах ты, Сорока!

— Я заблудилась. И очки сломала,— только и сказала она.— Это ужасно! У меня нет запасных.

— Я куплю тебе сто очков! Тысячу! Только не теряйся больше! Слышь? Никогда не теряйся, а то Алеше нажалуюсь.

— Все здорово! Все очень здорово, Кузьма! Посмотри! Это я там нашла,— Сорока вынула из плаща какую-то черную гнилушку и захлопала тенистыми ресницами, словно ждала, что Кузьма испытает сейчас невероятный восторг при виде источенной червями деревяшки.— Шестнадцатый век...

— Да хоть пятнадцатый! Главное, что ты живая!..

— Ты ничего не понял! Там, на берегу озера, есть старинная башня...

— А, я знаю, знаю эту старую башню. Внутри еще береза проросла.

— Что ж ты мне раньше-то не сказал? Ведь ради такой находки можно отдать все! Все!

— Ну!— недоверчиво протянул Кузьма.— Ради гнилья-то?

— Неважно, Кузьма, неважно! Это, говорят, Иван Кольцо строил. Один из атаманов Ермака...

— Мало ли кто че строил!— строго заметил Кузьма, которому надоели непонятные ее восторги.— Тут люди с ног сбились — ищут тебя... А ты с гнилушками носишься...

— Зачем? Я бы сама пришла.

— Пришла бы... вместо Рязани в Казань. Не заметила? Против течения шла,— усмехнулся Кузьма. Что с нее спросишь? Совсем бестолковая. Пропадет она без Алешки, как есть пропадет.

— А ведь правда. Мне нужно было идти туда,— теперь и она рассмеялась.— Поглупела я, что ли, в последние дни.

«Есть маленько»,— подумал Кузьма и приказал ждать его на берегу. А сам поплыл к отцу за бударкой.

Казачья башня вызвала среди археологов много толков. Путников, увидав ее, хватил «Барыню» и начал со всеми обниматься. Он долго ощупывал бревна, даже обнюхивал наросший на венцах мох. Убедившись в подлинности исторической реликвии, тотчас полетел в Тюмень за разрешением на перевоз полуразвалившегося сруба. «Для музея,— объяснил он Брусу-старшему.— Это будет единственный в мире музей на чисто сибирском материале».

Глава шестнадцатая

Любовь зла, но Кузьма решил влюбиться. Избранницей его стала не царевна заморская, а своя, тапская, тугая, как туес, крепко сбитая Тонька Недобежкина. Вчера, вручив ей письмо, Кузьма всю ночь изучал темную крышу сеновала с прогнувшимися веслаками, слушал, как шелестят в сене мыши, как посапывает во сне ничего не подозревающий о нахлынувшей страсти Полифем. Любовь началась по всем правилам. То, что раньше целовались,— не в счет. Это было, вероятно, преддверие любви. Теперь начался новый этап.

Дело в том, что Кузьма недавно прочел «Одиссею капитана Блада» и нашел в отчаянном пирате много сходства с самим собой. Тот был так же смугл, темноволос и дерзок, бесстрашно бросал вызов судьбе. Питер Блад — парень что надо! Только вот имя чуток подгуляло. Питер — это ведь то же самое, что Петька. Был бы хоть Полифем, что ли, все же внушительней. Но если родители назвали, тут уж ничего не попишешь. Так и останется до самой смерти Питером. Можно, конечно, сменить имя, но ведь у них, у капиталистов, за это, поди, большие деньги дерут. У нас легче. Вон Валентин Недобежкин раньше Филаретом был. Черт-те что, какое-то поповское имечко! И назвать-то нельзя по-людски. Только и слышишь: Филко да Летко. Не вытерпел мужик и, пока служил на флоте, сменил свою церковную кличку на вполне нормальное имя. Свое собственное имя Кузьме нравилось,— веское, звенящее!

Проглотив жадно книгу, дал Кузьма почитать Тоньке. И вот тут началось. Разные мысли полезли в голову, раскипяченное воображение рисовало себе картины, одна другой заманчивей. И может, последней каплей, вызвавшей цепную реакцию этого жуткого, до сих пор не испытанного чувства, было письмо Сороки к брату. Кузьма обнаружил его в книжке о знаменитых археологах, которую Сорока забыла в лодке. «Алеша, извини за назойливость,— мелко, как кружева плела строчки Сорока.— Это последнее мое письмо. Я все поняла, милый. Я поняла, что не стою тебя. Но — что мне с собой поделать? — люблю. Прости, прости! Люблю и буду любить. Не запрещай мне это, пожалуйста. Больше я ничего от тебя не требую».

Письмо не оставило Кузьму равнодушным, зацепив

в нем какие-то тайные струны. «Люблю и буду любить!» Это ж надо так отчебучить!

Кузьма целый день ходил под впечатлением письма и книги, которую тоже прочел. А потом вырвал из «Огонька» картинку, где целуются двое влюбленных, и на обратной стороне написал: «Слышь Тонька я по тибе сохну». Перечитал, хотел добавить «милая», но поставил точку, решив не без оснований: «Еще возомнит о себе!» Запечатав послание, постучал в тесовые ворота Недобежкиных.

— Че тебе, Брус?— высунулась из окна Тонька. В руках у нее была шляпка подсолнуха, наполовину вылущенная. На губе пристала шелушинка.

— Вот письмо,— решительно заявил Кузьма. Тонька фыркнула, но калитку открыла.

Кузьма распахнул руки, словно желал обнять предмет своих воздыханий, но они против воли потянулись к толстым соломенным косам. Тонька смешливо сморщила крохотный носик, чихнула и, стегнув Кузьму кончиками кос, исчезла в ограде.

Влюбленный озадаченно почесал затылок: любовь начиналась совсем не так, как бы ему хотелось...

Чтобы остынуть, он выкупался в Оби, потом сплавал на центральную усадьбу, в первый раз оставив дома своего одноглазого друга. Ступив на остров, увидал Петьку и покраснел от стыда: козленок с утра не кормлен.

— Любовь зла,— по-своему интерпретировал Кузьма известную поговорку,— но не мори голодом козла.

Он томился в ожидании ответа целый день, но дома не появлялся, зная, что мать снова пошлет за брусникой или найдет какое-нибудь иное заделье. А любовь требует полной свободы и уединения. Правда, с уединением ничего не получалось. Во-первых, подле ноги все время терся Петька. Во-вторых, плотники сегодня начнут молиться, и посмотреть их службу край необходимо. Вот народец! Когда работают, люди как люди. Подходит воскресенье, закрываются в пустой школе и под аккордеон рыжего Иннокентия начинают распевать псалмы. Кузьма, впервые услыхав их службу, пошел к Недобежкину, который был депутат и член партийного бюро колхоза.

— Дядя Валя, там же этот самый... опиум для народа. Как вы насчет того, чтоб его искоренить?— парень

подал тревожный сигнал. Но Недобежкин, только что вернувшийся с фермы, ничуть не встревожился. То есть он тревожился, дневал и ночевал на ферме: там начался опорос.

— Пущай опиваются, кому охота. У меня вон Аглая опростаться не может,— пробурчал Недобежкин и тронул кустисто заросший щетиной подбородок.— Побриться некогда, елки зеленые!

Аглая — королева среди свиней. И когда она ходит тяжелая, к Недобежкину лучше не подступаться.

Кузьма вздохнул и отправился слушать псалмы. У школы толпились любопытные студенты, приехавшие с Центрального. Они гараж там строят. Баптисты закрылись от посторонних наглухо.

Кузьма не стал понапрасну терять время и попроведал бурундучка, который на минуту выглянул и тотчас спрятался, и оставил ему все, что было в карманах. Потом он начал кружить подле дома Недобежкиных. «Пускай видит, как я страдаю»,— думал он, а глазом вел на забор, за которым пестрело Тонькино платьишко. Страдать ему наскучило, и Кузьма деловито предложил: «Че кота за хвост тянуть? Выходи!»

Тонька вышла, но письма при ней не было. Может, спрятала под кофту? Да нет, вроде незаметно. Стало быть, просто не захотела отозваться на душевный порыв. Подумаешь, строит из себя фифу!

Тонька насмешливо сощурила круглые серые глаза:

— Жених! Хоть бы писать без ошибок научился! «По тибе сохну». Помногу в день усыхаешь?

Кузьма смутился, отступил, но тотчас нашелся:

— Как полагается... обменом веществ.

— Брус, нахал! Я папке скажу!

— Валяй. Мы с Филаретом друзья — водой не разольешь.

— Вре-ешь!

— Че врать-то?

— Я Анну Ивановну видела, Брус. Просит пособия перевезти с того берега.

Кузьма разозлился и решил злить Тоньку, заставившую его пережить унижение.

— Даром, что ли? Даром я не согласный.

— Тебе не стыдно? Учительница же!— возмутилась Тонька.

— Стыд — не дым. За труд положено,— на полном

серьезе доказывал Кузьма, с удовлетворением отмечая, что Тонька сердится.— Вон юннаты на участках опыты проводят. Им платят за это.

— Не позорься, Брус! Я перед Анной Ивановной со стыда за тебя сгорю.

— Гори, мне не жалко.

— Уж лучше с меня возьми... ножичек отдам, хочешь? Хороший ножичек, шесть лезвий...— упрашивала Тонька. «Ага, заело!» — ликовал Кузьма, обдумывая, как бы еще разок щелкнуть по носу свою возлюбленную.

— Ножичек-то небось отцом подарен? Сама-то зарабатывать не привыкла.

— Бессовестный! Смеешься надо мной. А я скоро... я на Центральное перееду. Вот! — неожиданно объявила Тонька.

— Скатертью дорога. Книжку-то давай сюда! Я за книжкой пришел.

Но Тонька спрятала книжку за спиной. Кузьма подскочил к ней, решил отобрать, но заслышал чьи-то шаги. Это был сам Недобежкин.

Тонька покраснела и опять дернула книжку. Из книжки выпал маленький розовый треугольничек с нарисованными на нем голубями. Еще более покраснев, она поспешно наклонилась и, схватив письмо, убежала.

Объяснения не получилось. Вообще день как-то неудачно сложился. Утешало лишь то, что рядом щелкал копытцами Петька, друг верный и надежный.

— Уходим несолоно хлебавши... А, Петро?— Кузьма вскинул козленка на руки и, утешая скорее себя, чем его, всем довольного, ничего не понимающего, сказал:— Она еще спохватится. Спохватится, но будет поздно.

Глава семнадцатая

Утробно, ровно урчали дизели и лишь изредка, когда им давали нагрузку, взвывали, словно жаловались на неосторожность людей, и опять успокаивались, и хлопали сизым дымком, но дым за пологом появлялся, на улице. А здесь, в дизельной, было светло и чисто. Правда, на окнах тыкалось несколько бестолковых, случайно залетевших сюда комаров. Алексей, обтачивавший штифт, зажатый в тисках, выпустил их и усмехнулся:— Вот и событие. Комаров вызволил.

Штифт от трения нагрелся, на нижнем тонком конце остались от рифленых губок легкие риски. Алексей убрал их напильником, зачистил наждачной бумагой. Теперь деталька эта почти ничем не отличалась от заводской. Вставишь в шестерню, и даже опытный глаз не отличит, что штифт сделан не на станке.

Вот уж неделя, как Алексей у буровиков, но, кроме Маркина, ни с кем не сошелся. Да и перемен особых не почувствовал. Был у себя в Тапе трактористом, и здесь к дизелям приставили. Только и разницы, что перебрался на другое место, да люди свежие. Но в общем обычные люди. «С бору по сосенке собраны,— рассказывал Маркин, часто заходивший в дизельную.— Дмитрий Николаич прежнюю бригаду передал помощнику своему. А нас кого откуда набрал. Я, к примеру, служил в госстрахе агентом. Пришел страховать Попова, поговорили, и — здесь в поварах оказался. Временно, конечно. Пока повариха в декрете. Репнев из Куйбышева приехал. Кошелев из Уфы. Вот и тебя из Тапа сманили...»

— Я сам напросился,— возразил ему Алексей и задумался. Ушел от Виты, от матери, бросил дом, родных и близких людей. Чего ради? Он и сам не понимал, что заставило его бежать очертя голову, потому что и здесь через год или через месяц все так же станет привычно. И человека семидесятых годов, думалось Алексею, трудно чем-либо удивить или испугать. Он начитался, насмотрелся фильмов, наслушался рассказов, многое сам испытал и потому много знает. А чего не знает, то домыслит. Вот, скажем, нефть здесь на глубине двух с половиной километров. Каким ковшичком ее черпать из неведомых глубин? Как найти, прежде чем черпать? А ведь нашли под дикими топкими болотами, придумали, как черпать. Потому что к земле подходят, как хозяйка к буренке. Правда, подоив корову, хозяйка дает ей навильник сена да сверх того посоленную краюху. А землю доят, не прибирая, не подкармливая.

Урчат дизели, душа тревожится. А что ей нужно, душе? За нас есть кому думать. Вон сколько умных и ученых голов на земле. Мое дело крутить долото. Оно крутится где-то в невидимых недрах, сейчас на глубине полутора тысяч метров. И, значит, все идет нормально. «Но почему я удрал? Психанул или обиделся? А может, просто под мамкиным крылом надоело? Все так, и все полуправда. А полной правды умишком своим не охва-

тить. Мне что нужно? Мне нужно больше, чем было. И я возьму это большее, когда узнаю, какое оно и подходит ли по душе. Вон Дмитрий Николаич нашел для себя то, что искал. А может, привык, притерпелся? Ведь в его жизни ничего особенного, в сущности, нет. Только работа. И я бы не сказал, что это единственная работа, которая ему по плечу. Он мог стать слесарем, летчиком или рыбаком. Но стал нефтяником почему-то... И в этом есть какая-то непостижимая тайна. Человек не умом ее постигает, всей жизнью своей. Он мечется, ищет, думает.

Ага, вот! Теперь я понял. Я убежал из дому потому, что за меня думали там и решали. И как жить расписали, и как любить... Сорока даже двух детей запланировала: мальчика и девочку. Ни больше и ни меньше. А если я трех пожелаю или вовсе ни одного? Если я не хочу жить в Тюмени, как, впрочем, и в Лесном Тапе, а скажем, здесь, в Урьевске, хочу или, как папка, в лесу? Вита же не поедет со мною в лес. Она при себе меня оставит. Мать в одном права: я только при Сороке. А я не желаю быть при ком-либо. Я сам по себе быть желаю».

Так смутно и обрывчато рассуждал сам с собою Алексей Брус, грустил оттого, что порвал с близкими, и радовался отвоеванной самостоятельности. На вагончике заморгал снятый с милицейской машины фиолетовый фонарь: Маркин на обед звал. Алексей проверил в левом дизеле масло и вышел.

За столом было тесно, но Алексей пристроился с краешка, огляделся. Самого мастера не было. Он задержался на связи и выговаривал диспетчеру за то, что снова выслали несоразмерные центраторы. На горло, как Суфияров, которому передал свою бригаду, не наступал, но снабженцы его побаивались. Как же. Герой, автор первой промысловой скважины. Да и постоять за себя умеет.

— Чтоб через час центраторы были! Ясно?

— Будут, будут!— успокаивала его база.— Ты, Дмитрий Николаич, не волнуйся.

— Я не волнуюсь. Это вам волноваться положено,— усмехнулся Попов, зная, что сейчас его слушает начальство.— Наше дело — пробурить сто километров. Ваше — нас обеспечить.

— И — обеспечим! Сказал, вертолет высылаю,— до-

гадываясь, что Мулев, не объявляя себя, участвует в разговоре и даст за нераспорядительность нагоняй, заспешил диспетчер и попрощался:

— До связи.

Однако нагоняя ему избежать не удалось.

Попов не стал слушать Мулева, поспешил в столовку.

— Живем, живем и — ничего не случается,— сетовал Маркин, разливая варево. Парень он был мечтательный, искал в обыкновенной жизни необыкновенное, менял места и профессии, вел дневник.

— Вот это и хорошо, когда не случается,— вклинился в разговор Попов, бросив в угол шарошки.— А если случится — гнать нас надо в три шеи. Ты ведь о подвиге, как я понял, тоскуешь? Для нас подвиг, Леня,— безаварийная работа. Дай бог, чтоб и дальше ничего не случалось.

— Но сейчас, кажется, случится,— пробурчал Репнев, отодвигая тарелку.— Что это за месиво?

— Каша гречневая... на сухом молоке,— едва раздвигая толстые добрые губы, пробормотал Маркин. Не давалось ему кухонное ремесло. Уж куда как просто кашу сварить, а ребята все время бранятся.

— По-моему, это не каша. Это глина из растворного узла,— едва притронувшись к каше, проскрипел Бляхин и достал из рюкзака банку частика.

— Точно,— поддержал его Репнев.— Глина с дисильваном. А ну, новенький, оцени!

Одолевая отвращение к подозрительному месиву в тарелке, Алексей зачерпнул полную ложку каши и, выручая симпатичного ему Маркина, слукавил:— Ну, в общем... вкусно.

— Вкусно? Так ешь на здоровье!— Репнев сгреб со стола все тарелки, высыпал из них кашу в одну, в Алексееву, и с издевкой сказал: — Кушай, милок!

— Что положено, съем. А это убери, лишнее.

— Не-ет, ты и это съешь, раз вкусно! — срывая накопившуюся давнюю злость, наседал на него Репнев.— Не съешь — заставлю.

— Чего психуешь?— спокойно осадил Репнева мастер, но тот лишь отмахнулся и вскочил.

— Того. Того, что подсунул нам этого толстогубого люмпена,— указал Репнев на Маркина.— Его не кашеваром, его всемирным отравителем следовало бы назначить. А ты ешь-ешь, солдатик!— набрав каши, кинул ею

в лицо Алексею. Тот отшатнулся, побледнев, вытер лицо и, поднявшись, сказал:— Убери.

— Уберу, когда съешь... когда до донышка вылижешь. Ну!— совсем распоясавшись, требовал Репнев. И — вдруг вылетел из-за стола и лишь через четверть часа вспомнил, что на него обрушилось что-то очень тяжелое. А это был всего лишь кулак Алексея, угодивший точно в челюсть. Удар оказался слишком сильным, и Алексей первый кинулся на помощь к упавшему, стал делать ему искусственное дыхание.

— Ну вот, Валя,— усмехнулся Попов.— А ты горевал, что ничего не случается.— Всем остальным посоветовал:— Ешьте. А кто лучше умеет готовить — пусть подменит Маркина. А Маркина я верховым назначаю.

— Спасибо, Дмитрий Николаич! — обрадовался кашевар, но рано. Добровольцев на должность повара не нашлось. Попов мужественно доел свою порцию, выпил компот и окончательно испортил и без того упавшее у буровиков настроение.— Это что, Геннадий Петрович? — спросил он у Кошелева, указав на шарошку.

— Дак что... известно что — долото.

— Румынское,— уточнил Бляхин, с ехидцею глядя из-под очков.— И мы за него денежки платим.

— Ты жив?— спрашивал Алексей, откачав наконец Репнева.

— Жив, если это так называется... Только челюсть, кажется, выставлена,— кое-как выговорил Репнев, с опаскою тронув подбородок.

— Врежь ему разочек... с другого боку, и она станет на место,— посоветовал вместо сочувствия Попов.

— Ладно... обойдусь без вашей хирургии,— проворчал Репнев, поднимаясь.

— Нет, погоди,— удержал его мастер.— Разговор будет. А пока о другом. Этим долотом, Геннадий Петрович, можно пробурить полста метров. А если собрать за год все неотработанные долота — на две скважины наберется... Так, Петрович? На первый случай ставлю на вид. Еще раз повторится — всю вахту лишу премии. Теперь о нем,— ткнув за спину большим пальцем, где стоял в ожидании Репнев, нахмурился мастер.— Что будем с ним делать?

— Почему — со мной-то? Я пострадал, да на меня же еще и бочки катят. Где у вас совесть?

— Про совесть вспомнил... А когда кашей в лицо

бросил, где была совесть? Тут люди, Репнев, и с людьми надо по-человечески. Ну что, оставим его в бригаде? — спросил, оглядев смущенных буровиков. Очень круто начал мастер. Надо помягче чуток.

— Из-за меня началось...— повинился Маркин.— Из-за каши этой чертовой. Но я ж никогда ее раньше не варивал. Честное слово, никогда! По наитию варю, без всякого кулинарного образования...

— Репнева я не оправдываю,— улыбнувшись на покаянную реплику кашевара, сказал Кошелев.— А только у него это первый случай. Повторится — можно и... отослать из бригады.

— Хоть сейчас уйду! Суфияров давно к себе зовет,— вспыхнул Репнев, крайне удивляясь столь странному повороту событий.— У вас тут, вижу, любимчики завелись.

— Держать не станем,— заметил Попов.— Хочешь уйти — уходи. А если останешься — запомни: у нас все одинаковы. Все равны и обыкновенны. Силком нас сюда не тащили и полцарства не обещали. Обыкновенные мы, повторяю. Вот и принимай нас такими, какие есть. Необыкновенным у нас трудно. Им, видишь ли, подвиги нужны. А тут просто — работа.

Вагончик тряхнуло. Над ним завис вертолет и, выбрав площадку, неподалеку сел.

— Братцы! — выглянув в окошечко, ахнул Алексей.— А командир-то женщина!

Косматая бровь Попова дрогнула. Он прервал свою речь на полуслове и, откашлявшись, вышел из вагончика.

Глава восемнадцатая

Время сдвинулось. Прошлое сошлось с настоящим. Опять сошлось оно, опять столкнуло двух человек, которые, казалось, разошлись уже навсегда.

— Вот не думала, что встретимся,— сказала Ольга, заходя в его вагончик. Она стала, пожалуй, еще красивей, только красота ее была теперь не девичьей, свежей и еще не определившейся, а зрелой, отчетливой красотой тридцатилетней женщины. Лицо еще чисто и без морщин, без всякой косметики, тело упруго и нерастрачено. Может, чуть-чуть раздалась в плечах и в бед-

рах. А талию, как и прежде, четырьмя пальцами перехватить можно.

— Что, постарела? — пожимая по-мужски руку, спрашивала она.

— Да нет, скорее похорошела,— улыбнулся Попов, уже успевший взять себя в руки. Прежнее волнение, вызванное ее прибытием, улеглось. Все-таки прошлое прибыло... Может, самая лучшая часть жизни. Жили недолго вместе, лет пять, да и то урывками: то Ольга со своим экипажем в командировке, то Попов неделями на буровой пропадает. Но до того были еще годы детства, юности, потом время развело по разным дорогам.

А вместе, детьми еще, война свела. Мать Ольги, Попов сейчас ее помнит, белокурая тихая женщина, ехала с годовалой девочкой в Сибирь, как и Попов со своей бабушкой, как все пассажиры этого переполненного сталинградского поезда. Ехала по медленным дорогам большая беда России. На одной из станций Попов выскочил на перрон. Здесь было людно, шумно, но никто не смеялся. У крана стояла за кипятком очередь. Впереди та самая женщина с ребенком на руках. Какой-то старик в очках продавал молоденькому солдатику карманные часы за булку хлеба. Потом неожиданно налетели самолеты, выбросили на станцию не до конца использованный смертоносный груз. И все, что только что гомонило, ходило, дышало, надеясь на лучшие дни, все это смело, раскидало. Старика и красноармейца, торговавшего у него часы, куда-то отбросило. Где были эти двое, теперь лежали часы и тикали... Попов подобрал их и услышал ход, ход страшного времени. Подле крана, упершись лбом в разрушенную кирпичную стенку, стояла на коленях белокурая женщина. Чайник был полон, а вода текла и текла. И с плеча женщины удивленно уставилась на струю хорошенькая девчушка. Ни страха, ни горя не было в ее больших черных глазах. Тронув женщину, Попов закричал, и тогда девочка испугалась и заплакала. Он оторвал ребенка от убитой матери и кинулся прочь от этого дикого и кровавого месива, от дыма и разрушения.

Всех, кто уцелел от эшелона, а уцелело немного, отправили следующим поездом в Сибирь. Мальчик попал в детский дом и пробыл в нем до четырнадцати лет, пока не поступил в ремесленное училище. Ольгу удочерила воспитательница детдома Мария Ефимовна. По-

пов часто бывал у воспитательницы, приносил девочке нехитрые самодельные игрушки, книжки с картинками, которые брал в детдомовской библиотеке. Были в этой библиотеке и книги для взрослых — «Война и мир», «Братья Карамазовы», «Тихий Дон» и другие. Но детей к ним не подпускали, а шкаф с книгами запирали на ключ. Однажды в детдоме случился переполох: книжки пропали. Подозревали нескольких ребят, но никто не признался. А Попов стал пропадать где-то целыми днями, часто запаздывал на обед и на ужин, приходил с красными осоловевшими глазами.

— Дима, признайся, ты взял книги? — приведя его к себе домой, допытывалась Мария Ефимовна.

— У-у,— он упрямо мотал головой, отказывался, стараясь не смотреть ей в глаза. «Хоть режьте — не отдам, пока не прочту»,— решил мальчик и, едва отсидев на уроках, бежал к старой ветряной мельнице, на которой спрятал свои сокровища. Начал он с «Тихого Дона», для ребенка, едва успевшего кончить первый класс, было непросто прочесть эту великую эпопею. Но чем дальше мальчик вчитывался, тем лучше и скорее у него получалось. И все-все, что было написано в этой книжке, казалось ему всамделишным и необыкновенно интересным.

Летом детдомовцев гоняли на прополку. Пшеница была сорная, сплошь в молочае и осоте, но, раньше всех выполнив свою норму, Попов получал за это положенную краюху хлеба и сломя голову бежал к мельнице. К сентябрю он дочитывал уже «Войну и мир», пропустив те страницы, где написано было по-французски и где Пьер Безухов масонствовал. А главы о маленьком Пете Ростове перечитал дважды. Хотел уже приниматься за Достоевского, но накануне занятий Мария Ефимовна опять вызвала его к себе.

— Я знаю, Дима, книжки взял ты... Ты читал их все лето. Теперь нужно вернуть. Они мне необходимы. Верни, пожалуйста.

— Нет,— набычась, бубнил Попов, глядя себе под ноги.— У меня их нету.

— У него нет,— подтвердила Ольга, вертевшаяся около него.— Они на мельнице спрятаны.

Где-то далеко третий год шла война. Ужасные щупальца ее доставали и до тихой сибирской деревеньки. И как раз в тот день, в тот час к учительнице пришла

почтальонка. Никого не боялись тогда больше, чем почтальона, и никто не был более желанным гостем, чем он, если приходил с доброй вестью. На сей раз девушка-письмоносица, перешагнув порог, расплакалась, а Мария Ефимовна выпала из лица.

Почтальонка держала руку на отлете, другой рукой утирала слезы и ревела, не смея вручить похоронку.

— Давай, Тоня... за спиной смерть не спрячешь,— не своим, деревянным каким-то голосом проговорила Мария Ефимовна и невидящими от горя глазами уставилась в жуткие, неимоверно много вместившие в себя строчки: «пал... смертью... храбрых»... И месяца не прожили вместе...

— Это я, я взял книжки! — чтобы хоть как-то облегчить страдания этой женщине, закричал Попов.

— Я знаю, Дима. Я же знаю,— словно бы успокаивая его, сказала Мария Ефимовна, дрожащими, сразу огрузневшими руками оглаживая его стриженную наголо голову.— Ты только не плачь... не плачь, пожалуйста. Оленьку напугаешь.

И он не плакал, и Мария Ефимовна при детях не плакала. А ночью слез ее никто не видел...

Так уже во второй раз дети столкнулись со смертью. И во второй раз Попов подивился силе человеческого духа, силе женщины, заменившей детдомовцам мать. Не эта ли сила, не эта ли материнская бережность хранила и вела его по извилистому пути к цели? Он и не знал своей цели и не задумывался о ней. И лишь в зрелом возрасте понял, что главная цель в жизни каждого человека — найти себя, стать собой, независимо от того, как называется твоя профессия. И он стал собой, стал теперешним Поповым, слово которого было верно, рука тепла и надежна.

Ольга после школы пошла в стюардессы, потом пробилась в летную школу и, еще не окончив школы, вдруг прискакала на Кубань, где после ремесленного работал помбуром Попов. Она заявила вдруг, что любит Попова, не мыслит жизни без него и хочет за него замуж. До этого между ними о любви не было сказано ни единого слова. Но Попов ей поверил. И, лет пять прожив вместе, они расстались. Все это время Ольга любила не Попова, а какого-то учившегося с ней летчика.

— Я к нему ухожу, Дима,— сказала она, когда все стало ясно.— Он развелся с женой и зовет меня к себе.

Попов не удерживал ее и не искал. В день, когда она ушла, напился. Но утром, встав, как обычно, пошел на буровую. Потом списался со своим бывшим мастером, уехавшим в Сибирь, и дернул следом. Ольга, как позже узнал от бухгалтера, отчислявшего дочери алименты, обосновалась со своим летуном в Томске.

— Как ты здесь оказалась? — спросил, отгородившись от нее рацией.

— Нашу эскадрилью перебросили в Урьевск. О тебе вычитала из газет...

— Живешь... с тем?

Ольга, не ответив, отошла к окну. Но в окно не смотрела, стояла минут пять неподвижно, только плечи раз-другой дернулись, словно под током. Подняв глаза, увидала на улице рослого, восхищенно уставившегося на нее парня, Алексея Бруса. Встретив взгляд ее, он смутился и, пятясь от окна, чуть не упал. Ольга улыбнулась и, проведя по лицу ладонью, глухо спросила:

— Ты про аварию слышал?

— Это про вертолет-то?

— Да. Он был командиром этого вертолета.

— Понятно. Прости. Я не знал,— виновато и нежно сказал Попов и спросил о дочери, которую часто вспоминал, хотел видеть, но не решался входить в чужую семью.— А где Любочка?

— Она с Марией Ефимовной.

— Так,— Попов постучал костяшками пальцев по столу, пусто и растерянно повторил: — Так...

— Вот и поговорили,— усмехнулась Ольга и, подойдя к нему, взяла за руку и поцеловала: — Ты простил меня, Дима?

— Мне не за что тебя прощать,— смущенный ее порывом, пожал плечами Попов и потянул руку к себе.

Попов улыбался, но губы его дрожали, словно большой этот, сильный человек собрался плакать. «Ты только не плачь, не плачь, пожалуйста,— вспомнился наказ Марии Ефимовны.— Оленьку напугаешь».

Пожалуй, и впрямь обижаться на нее не за что. Она не лгала, не изменяла, хотя разрыв с ней сразу состарил Попова. И все эти годы он жил один.

— А жизнь не вышла у нас,— сказала вдруг Ольга.— Не вышла. Мы сразу же разошлись. Это оказался совсем не тот человек... Или — я другая стала, пожив с тобой. Но летали мы в одном экипаже.

— Что же ты... что ж ты не вернулась? Зачем маялась там одна?

— Я не маялась, Дима. Я летала. А насчет того, чтоб вернуться...— Ольга горько усмехнулась и тихо закончила: — Что разбилось — не склеишь.

— Но одна там, без мужа... в твои годы,— сбивчиво бормотал Попов, краснея, как мальчик.

— Ты ведь тоже один жил,— улыбнулась Ольга, ничуть не сомневаясь в том, что сказала.— Ты ведь один жил, правда?

— Да. До некоторого времени.

— Вот как? — она удивилась и, метнувшись к нему, взяла кончиками пальцев за надбровья.— А теперь у тебя есть женщина? Она лучше меня?

— Я же не спрашивал: лучше или хуже был твой... ну тот человек,— смеясь, ответил Попов и легонько снял ее руки. В дежурку без стука вошел Бляхин.

— Кххм, кххм,— прокашлялся он, налил из бачка воды, выпил, дав им время разомкнуть руки.— У второго насоса диафрагма лопнула.

— А,— безразлично кивнул Попов и, усевшись за стол, стал перелистывать вахтовый журнал.— Лопнула, значит. Ну а ты для чего? Ты мой помощник...

— Да уж не для того, чтобы во время работы с женщинами обниматься,— сверкнув из-под очков остренькими глазками, огрызнулся Бляхин.

Ольга, подойдя к нему, звонко расхохоталась.

— А тебе завидно, мышонок? А, завидно? Ну так смотри, я его еще раз обниму,— и в самом деле обняла и поцеловала Попова.

— Подожди, Оля,— вежливо, но решительно отстранил ее Попов.— Тут, видишь, проблема неразрешимая: диафрагма сломалась. Что же ты не заменишь ее, любезный?

— Так нету же... запасной. Я все обыскал.

— Лети к соседям или хоть в Урьевск. Вон вертолет стоит. Садись и лети.

— Я и хотел слетать к Суфиярову, да вижу, экипаж несвободен,— усмехнулся опять Бляхин.

— Экипаж свободен,— сняв с него очки и снова напялив дужками вверх, сказала Ольга.— Летим. Это недалеко отсюда?

— Минут двадцать лету.

— Пошли. Ночевать я здесь буду,— выходя, сказала

она. Бляхин, прежде ее выскочивший, забежал в вагончик, где отдыхала свободная от смены вахта. Никто не спал, разумеется. Женщина, появившаяся на буровой, внесла в стойкие души холостяков смятение. Алексей, расстелив на столе одеяло, гладил через газету брюки. Репнев с распухшей челюстью требовал у Кошелева:

— Петрович, подправь-ка мои патлы!

— Тебе бы не патлы следовало поправить...— ответил ему пожилой бурильщик, но, увидав, что парень хмурится, поспешно объяснил: — Я только лошадям гривы стриг. Так это ж кони, они все стерпят...

— Ничего, и я стерплю, если подстрижешь со Знаком качества.

Маркин, задрав ноги, лежал на верхней койке и бренчал на гитаре, подбирая мелодию к только что сочиненной песне.

Пытал я у моря, пытал я у скал,
расспрашивал эхо.
А знаете, что я по свету искал?
Искал человека.

Мне человека, мне человека,
мне человека надо.
А человек-то, а человек-то,
тот человек жил рядом...

— Растревожилось улье! — брюзгливо кривясь, сказал Бляхин.

— Не жужжи под руку-то! Не жужжи! — отмахнулся Кошелев, ножницами задев Репневу ухо.— Сядь да позанимайся. Поди, хвосты в институте.

— В институте все в порядке. А вот здесь, вижу, бунт гормонов,— покачал головой Бляхин. Он учился в нефтяном институте и каждую свободную минуту использовал для занятий.— И все это из-за одной какой-то юбки.

— Что ты натворил, изверг! — вскричал Репнев, вскакивая с табурета. Из уха текла кровь.— Пол-уха отхватил.

— Для самцов главное — не уши,— поддел его Бляхин и, выходя, ухмыльнулся.— Зря стараетесь, кавалеры! Попов давно вас опередил.

«Врет ведь! — забыв про утюг, думал Алексей.— Нарочно врет».

Утюг, перекалившись, прожег газету. Газета вспыхнула, начали таять штаны.

— Пожар, братцы! Пожа-ар! — заблажил Маркин, соскочил с верхотуры и, схватив ведро с водою, выплеснул его на Алексея. Штаны уже дымились, и в них выгорела большая неровная дыра.

— Ты че, рехнулся? — отряхиваясь, проворчал Алексей.

— Так ведь я думал, дым-то от тебя идет. Вон красный какой. Может, еще разок брызнуть?

— Я вот тебе брызну! — угрюмо пообещал ему Алексей и, надев рабочие брюки, выскочил из вагончика.

— Парня-то никак зацепило! — удивленно сказал Кошелев и завистливо вздохнул: — Вот она, кровь молодая! Меня вот, хоть того лучше баба, уж не заманит. Стынет, стынет кровушка!

— Ну,— усомнился Репнев, залепляя пластырем рану.— Случай подвернется — не упустишь.

— Нет уж, брат, был конь, да изъездился...

Алексей тем временем брел по лесу, спотыкаясь о кочки. Лес был обезображен, и хотелось уйти поскорей отсюда, чтобы не видеть этих измятых хилых деревьев, искрученных пней, развороченных на стороны кустов. Здесь постарались дорожники, ладившие к буровому кусту лежневку. «Пойду хоть ягод поклюю»,— решил Алексей и прибавил шагу. Тот же лес, только не тронутый человеком, пошумливал всего лишь в полукилометре. Тут было полно лесных даров. И стоило выбрать сухую полянку, лечь и... Не сходя с места, до отвала наешься. Однако Алексей, наткнувшись на богатый ягодник, не лег, а повернул обратно и побежал влево, к лежневке. Почти добежав по ней до бетонки, ведущей в Урьевск, он остановился и удивленно спросил себя: «Что это я? Куда я?» С ним было вот так однажды: катался мальчишкой еще на коньках, упал на затылок. Когда после сотрясения очнулся, то ничего совершенно не помнил. Вот и сейчас прошлое выпало из сознания. «А может, его и не было, прошлого? Ведь ничего не было! Десятилетка, армия, что же еще-то?» — спрашивал себя Алексей. Хотя и школа, и служба солдатская не прошли для него бесследно. Однако все это время он жил вполсилы, словно грузовик, на который вместо пяти тонн бросили авоську с базарной зеленью, и он вез, попусту тратя бензин и время.

«Ммда, утешительные итоги! — глумливо ухмыльнулся над собой Алексей, но, услыхав рокот вертолета,

возвращавшегося с суфияровского куста, ринулся к вагончикам.— Зачем я бегу-то? Что мне там нужно?» — спрашивал себя Алексей, а сам бежал все быстрее.

Вертолет на этот раз выбрал другую площадку, подальше от вагончиков, ближе к лесу. Бляхин уже забрал позаимствованную у соседей диафрагму и ушел. Ушел и экипаж — два статных парня в синей форме. Ольга, наверно, еще раньше завернула к Попову. Значит, Бляхин-то не наврал? Значит, правда, что мастер каким-то образом «всех обскакал». «А я пойду сейчас... прямо к нему пойду — отниму... Будь что будет! — решил Алексей, не задумываясь над тем, что решение его дико, несуразно, но, увидав эту женщину, он вдруг поглупел, стал первобытным неандертальцем и все твердил себе: — Моя она! Моя! Не отдам!»

В кабине вертолета кто-то возился еще. Заглянув в салон, он увидал Ольгу, почему-то покрасневшую от его жадного дикого взгляда.

— Чего вытаращился? — насмешливо спросила она, скрывая охватившую ее перед этим парнем робость.— Что тебе нужно?

— Вас... тебя,— глухо сказал Алексей, выхватил ее из вертолета и понес, точно пьяный, потерявший контроль над собой человек.

— Ты что, ошалел? Пусти, сопляк! — вырываясь, сердито требовала Ольга. И вдруг поняла, что этот дикарь никуда ее не выпустит, он и не слышит ее даже и ничего не соображает. Видимо, влюбился без ума, как влюбляются мальчишки его возраста.— Пусти, я закричу,— сказала она уже без тени испуга, заглянула в его хмельные от счастья глаза и увидала в них себя.

— Кричи. Хоть закричись — все равно не выпущу. Не отдам, слышишь? Никому не отдам! — бормотал Алексей, широко, сильно шагая, нес ее в лес, подальше от людских любопытных глаз. Впрочем, о людях и о том, что кто-то может их увидеть, он не думал. Думал лишь о том, чтоб не уронить драгоценную ношу свою, не выпустить ее и унести на край вселенной.

— Ты не бойся,— говорил он, склонившись над всхлипывающей Ольгой.— Я только понесу тебя... я понесу тебя через всю жизнь. Ты не бойся...

— А если я не хочу, чтобы ты нес? — она не плакала, а всхлипывала от смеха, вдруг ее одолевшего.— Если меня есть кому нести, а?

— Пусть... отниму,— решительно сказал Алексей, больно стискивая ее и прибавляя шагу.

— Глупыш,— сказала она ласково.— Какой же ты глупыш еще! — и, перестав смеяться, расплакалась.

— Прости меня, прости... но ничего не могу с собой сделать! Это как болезнь... я понял... я не могу без тебя... прости... Невозможно мне без тебя. Никак невозможно... лучше убей...— совершенно растерявшись, бормотал Алексей, однако держал ее в руках еще крепче.

— Я ведь не знаю тебя, чудачок! Я даже имени твоего не знаю,— вытерев слезы, говорила ему женщина, впервые столкнувшаяся с сильным, взволновавшим ее, искренним чувством. Все, что было у ней с Поповым, с погибшим летчиком, Станиславом, было обычно, как у всех. А этот красивый юный дикарь вдруг открыл ей, что любовь может быть необычна. Наверно, она всегда необычна, любовь, но до сих пор Ольга с ней не сталкивалась, до тридцати лет дожив, не знала, что это такое.

— Ты знаешь меня...— говорил между тем Алексей, усадив ее на лесину и став около на колени. Он целовал ее мокрые от слез ладони и заглядывал в Ольгины глаза.— Знаешь... Я весь на виду. И я тебя знаю. Я знаю, что ты моя. Должна быть моей. Понятно тебе? Должна, и все.

— Господи, господи! Да неужели такое возможно? — не то его, не то себя спрашивала Ольга и нервно, недоверчиво смеялась.— Неужели возможно, а?

— Ты же видишь... ты все видишь... вот,— снова вскидывая ее на руки, отвечал Алексей.

Под вечер, в час связи, Мулев ворчливо выговаривал мастеру:

— Дмитрий Николаич, ты не забыл, во сколько обходится нам час вертолета? Или — в командиршу влюбился? Весь день у себя держишь.

— У них неполадки какие-то...— выкручиваясь, врал Попов, который весь день почти провел подле скважины и только теперь вспомнил об Ольге. Она исчезла куда-то. Странно и неожиданно исчезла.

— Бугор дело туго знает,— услыхав его разговор по рации, подмигнул своим товарищам Репнев. А, появившись в вагончике, обнаружил, что и Алексея нет. И до самого утра он не появился.

Утром вылетели в Лесной Тап, к подшефным. На смену заступила прибывшая из Урьевска свежая вахта.

Глава девятнадцатая

Кузьма жил весь в заботах. Во-первых, прихворнул Петька, и с ним пришлось немало поволноваться. Потом разыскал в Быстрихе звездочку к велосипеду, подгонял ее, но запорол и выбросил. Ну и над амфибией мудрил. Однако и с амфибией тоже ничего не получалось. Купить бы такой моторчик крохотный, но где взять финансы? Не продавать же в самом деле отцовские художества! А выхолащивать с матерью бычков да окна стеклить — одним словом, халтурить — как-то совестно. Раз к Недобежкиным сходили, так Тонька до сих пор не дает проходу: «Ветеринар!» — кричит. Кузьму все больше к железу тянет: паять, пилить, шлифовать... Эх, если б побольше деталей было! «Сплаваю поищу на том берегу!» — решил Кузьма и, крикнув Петьку, в который уж раз погреб на центральную усадьбу. «Может, возле мастерских что выкинули?» — думал, направляя обласок поперек течения.

Волна шла крупная, ветрило. Талинки никли к воде, мочили остролистые ветки. Будто женщины собрались на берегу посудачить, моют волосы, растягивая приятную беседу. А над ними стригут крыльями халеи, выхватывая из воды зазевавшуюся рыбешку.

«Ну и жулье!» — Кузьма гаркнул на чайку, пристроившуюся на его суденышке, качнул обласок и зачерпнул бортом. Козленок испуганно прянул через мальчика, ударив копытцем в бровь. Небольно ударил, но Кузьма упустил весло, а волна будто ждала этого момента, кинула облас встречной волне, а та толкнула его обратно.

Словно разыгравшиеся дельфины, волны перебрасывали отяжелевшее суденышко, пока не перевернули. Перевернули на самой середине Оби. Кузьма успел подхватить жалобно заверещавшего козленка, и оба пошли ко дну. «Не утопить бы! Только бы не утопить!» — он захлебнулся, изо всех сил засучил ногами и тотчас выстрелился на поверхность. Петька испуганно примолк и маленьким мокрым тельцем жался к мальчику. «Не робей, Петька! Не робей, выплывем!» — не то козленка, не то себя успокаивал Кузьма. А сердце обмирало от страха, а стремнина несла и несла. Один бы вывернулся из быстрины, достиг отмели, а с козленком, да на боку, да в одежде плыть было трудно. Одежда липла

к коже, а туристские ботинки с толстыми протекторами тянули в самую глубь.

«Ермак так же вот утонул»,— вспомнилось вовсе некстати, и, чтобы взбодриться, Кузьма начал бранить себя за неуместные мысли. «Ермак-то в кольчуге был! А я налегке! Ботинки скинуть, так запросто доплыву»,— но, попытавшись снять ботинки, согнулся и ушел под воду, а Петька, маленький, глупый Петька нахлебался воды. «Ладно уж, поплыву в ботинках!» — решил Кузьма, с тревогой ощущая, что правую, загребающую, руку щипнуло, будто взялся за оголенный электрический провод. Щипнуло еще раз, покрепче, и судорога с пальца перекинулась на всю кисть, а через несколько махов добралась до локтя. Это состояние было знакомо. Надо только кольнуть булавкой, и все пройдет. А можно еще уйти под воду и размять отерпшую руку. Но как уйдешь, когда на груди твоей Петька!

Кузьма перехватил козленка и перевернулся на левый бок. Теперь он видел не остров, оставшийся далеко позади, а поселок, сбегавший одной улочкой к самому берегу. Лишь бы кто-нибудь оказался поблизости! Долго ли пролететь на веслах половину реки? Никого... А руку-то... руку-то до плеча стянуло! Кузьма собрал последние силенки, рванулся из быстрины и замахал холодеющей рукой. «Может, успею еще!» — он не терял надежды. И каждый взмах очужевшей руки и усталых освинцовевших ног приближал его к спасению. Близко, совсем близко! Каких-нибудь сто метров! А то и меньше. Ходу, Кузьма, ходу! Не сдавайся! Выплывем, Петька! Выплывем, честное пионерское! Только на ноги будто гири подвешены. Только руки будто гипсовые. Молотит Кузьма ногами, а ноги не слушаются, и руки загребают раз от разу слабее.

«Ааа!» — непроизвольно вырвалось у Кузьмы. И — вовремя.

Легеза, верхом возвращавшийся с покосов, услыхал отчаянный крик, сорвался с седла и послал лошадь в воду ниже по течению.

Кузьма обессилел, но козленка не выпускал. Теперь уж он ничего не боялся, ни о чем не думал. Воронка, урча и завиваясь, затягивала его в свое жерло и, покрутив, выбрасывала, словно забавлялась беззащитностью двух маленьких существ, в которых гасло сознание.

Кузьма не помнит, как кто-то схватил его за воло-

сы, дернул и проворчал: «В рубашке родился, парень! Не погодись я, кормить бы тебе налимов!» Не помнит, как умный и сильный конь повернул к берегу, а на берегу Кузьму трясли, дули в рот, сводили и разводили руки, пока изнутри не хлынула вода, пока тупая боль в затылке и в висках не дала о себе знать: жив! Открыв глаза, мальчик чихнул и увидал над собой ветеринара. «Он же Петьку мне спас! — плеснулась благодарная мысль.— Петьку?!»

Руки тревожно зашарили вокруг.

— А Петька... где Петька? — в голосе мальчика было столько отчаяния и тревоги, что Легеза сам проникся его сложным состоянием. Он оглядывался вокруг, искал взглядом козленка, а когда понял, что Петька утонул, жалобно скривился.

— Да вот, брат, оплошали мы с тобой,— Легеза расстроился. Он любил животных не меньше, чем людей. А этот козленок значил для мальчика слишком много.— Оплошали...

Кузьма горестно уронил голову. Он не плакал, не кричал, он скорбил молча по ушедшему другу, и это невыносимое молчание сказало Легезе больше, чем слова. Ветеринар вынул из портсигара единственную, не тронутую водой папиросу и долго прикуривал ее от зажигалки, каждый раз пронося огонь мимо. Так и не прикурив, смял папиросу, а зажигалку потушил ветер.

— Был у меня дружок... один во всем мире. И — не стало,— не Легезе и даже не себе самому пожаловался Кузьма чуть слышно. Пожаловался реке, пожаловался смерти, отнявшим Петьку. Река, пыхтя, ползла мимо и, как змея, выгибала синюю равнодушную спину. А смерть даже и показаться не смела. Может, и нет ее, смерти-то? Только на картинках рисуют скелет с косою в руках? Но если нет смерти, то куда же девался Петька?

— Будут еще дружки у тебя,— расплющив между пальцами зажигалку, утешил Легеза.— Я многих на фронте потерял. Думал, все, помру без друзей. Лучше ли, хуже, а новых завел...

— Мне новых не надо,— сказал Кузьма и поднялся.— Мне бы одного Петьку!..

«Ох много горя хлебнешь, парень!» — глядя вслед ему, вздохнул Легеза. Поставил ногу в стремя — дела ждали, но передумал и, разнуздав коня, сразу накинувшегося на траву, последовал за Кузьмой...

— Ты опять ко мне приплывал? — спросил, догоняя.

— В мастерскую,— ответил мальчик и рассказал о летающей амфибии.

— Зачем тебе такая машина? — удивился ветеринар.

— Чтобы лететь... к людям,— непонятно ответил Кузьма, и взрослый человек озадаченно почесал лысину. «Гляди ты какой! — проворчал он, напряженно морща лоб.— К людям... гм, гм».

А Кузьма шел и шел берегом, пока не наткнулся на обласок, зацепившийся за волокнистую корягу. В обласке было пусто: ни весла, ни козленка. Только изжеванная камышинка прилипла к днищу. Кузьма сунул камышинку за ворот рубахи, отлил воду и пошел дальше, не замечая идущего за ним ветеринара.

Петьку вынесло на соседний песок. Он лежал, подогнув передние ножки. Верхняя губа чуточку оттопырена, словно собирался улыбнуться Кузьме. Веки смежены. А тельце давно остыло, и тут уж никаким искусственным дыханием не поможешь.

— Надо же, а? Надо же,— гулко вздыхал Легеза, огорчаясь, что не умеет оживлять умерших.— Кабы немножко пораньше...

— Ты мне весло принеси, дядя Легеза,— перебил его причитания мальчик.— Похороню Петьку на острове.

Легеза, не переча ему, принес весло, хоть опасался, что Кузьма снова может перевернуться.

Но обласок уверенно перерезал Обь и ткнулся носом в остров.

Глава двадцатая

Кузьма схоронил козленка у старой черемухи, которую со всех сторон почтительно обступил малинник. Черемуха только что налилась, а малина уже переспела и шлепалась наземь загустевшими каплями крови. Эту черемуху лет семь назад облюбовал пчелиный рой, с которого началась доходная пасека Брусов.

«Может, деревцо посадить? — выровняв холмик, подумал Кузьма. Но деревьев вокруг было такое множество, что его саженец выглядел бы среди угрюмых елей, среди величавых кедров и взъерошенных лиственниц неприметною травинкой. Кузьма обложил могилку дерном, нарвал бузины, багульника, саранок, все это свя-

зал в аккуратный снопик, а снопик поставил у Петькиного изголовья. Хотелось еще что-то сделать для умершего друга, но, кажется, все было сделано. Теперь козленку ничего не надо.

Еще раз огладив дерн и оправив цветы, Кузьма, не оглядываясь и не различая дороги, пошел куда шлось. Наткнулся на малинник, остановился. С другой стороны малинника кто-то шевелился. «Наверно, мамка за мной пришла!» — раздраженно подумал Кузьма и, не желая ни с кем встречаться, бегом спустился в лог. Из малинника выкатился медвежонок, а следом степенная вышла медведица. Звереныш юркнул было в овраг, но, получив от матери увесистую оплеуху, обиженно заурчал и снова скрылся в малиннике. Вскоре оттуда опять донеслось вкусное чавканье.

Кузьма бродил по острову осенней мухой, тосковал. Вроде бы немногого лишился — ну, подумаешь, козлик да еще и с одним глазом, да еще и хромой! — но это немногое значило для него так много, что лишало сна и покоя.

— С парнем-то неладно,— встревожилась мать.— Как потерял Одноглазика, так начал задумываться.

— Убивается,— сочувственно поддакнул отец.

— Сама знаю, что убивается! — Павла рассердилась, хлопнула заслонкой. Крыло, которым сметала с шестка золу, упало на котенка. Котенок, вздыбив шерстку, воинственно выгнув хребет, фыркнул и кинулся в горницу. На него никто не обратил внимания.— А ты говори, как быть?

— Увезу на выпаса. На вольном воздухе скорей оклемается,— сказал отец и велел Кузьме, безучастно сидевшему на завалинке, собираться.

К выпасам плыли на бударке, вверх по течению. Часа два плыли. Под винтом пузырилась вода, возмущенно роптала, и Кузьма, сидевший за рулем, жалел о том, что вода не чувствует боли. Если б чувствовала, он избороздил бы ее острым носом бударки вдоль и поперек. Но реке не мстят. У нее нет разума, течет себе и течет к океану, людей и рыб кормит и губит живые души, не ведая об этом. Размахнулась на пол-Сибири, сердитая, студеная, хмурая, но честная и работящая. Долго ли плыли, а мимо уж промелькнули десятки наливных и сухогрузных барж, несчетно катеришек и моторок, теплоход «Чернышевский» и два могучих толка-

ча ОТА. Везут хлеб, везут овощи, кирпич, машины и даже неразобранные буровые вышки. А вон плотогоны кричат что-то, наверно, за рыбаков приняли и хотят позычить муксуна или нельму. Но Кузьма, не внимая их крикам, погнал бударку к заводи. Увидав стадо на берегу, передал управление отцу и равнодушно отвернулся.

Бородатый, с обломленным рогом козел брезгливо обнюхал приставшее суденышко, чихануть и сыпанул черным градом. Брус-старший огрел его кнутом, прося посторониться. Козел прыгнул вперед и выставил уже испытанные в потасовках рога.

— Не хорохорься, Максим! — отмахнулся Брус-старший и принялся разгружать лодку.

Кузьма взял на себя большую часть груза, пошел к избушке. Подпаска не было, но на загнетке стоял чугунок со стерляжьей ухой, на столе туес черной смородины и горшок простокваши.

— Молодец Минька! О харчах позаботился,— похвалил Павел отсутствующего подпаска и разлил уху по алюминиевым мискам. Кузьма и не заметил, как выхлебал всю уху, выпил простоквашу со смородиной. Собрав грязную посуду, спустился к реке.

В камышах бился оплошавший чебак. Видно, забрался туда и заснул, а вода за ночь спала. Теперь он молотил плавниками, увязнув в няше, отчаянно разевал глупый треугольный рот. Чебак умирал от жажды, а рядом была вода, пропасть воды, в которой плавали счастливые рыбы, поедали мальков и личинок, сильные утверждали свое безусловное владычество. Вон выпрыгнула, серебряной кольчугой сверкнув, вечная гонительница робкого племени утконосая щука. Чебак прятался от врага своего, искал окольных путей, чтоб выжить, но сейчас все отдал бы, чтоб снова испытать прежние страхи, хоть на миг ощутить резиново обволакивающую голубую прохладу. Пусть кинутся на него все речные хищники, лишь бы попасть в родную стихию! Но что это? О чудо! Поддетый носком сапога, чебак несколько раз перевернулся в воздухе, шлепнулся боком и тупо заворочал красными глазами. А река уже приняла его, привела в чувство. И — вовремя. Вон метнулась навстречу стремительная длинная тень. О, чебаку это знакомо! Он юркнул в темную глубь и притаился за донным камнем. Началась жизнь, полная опасностей. Прекрасная жизнь!

Кузьма, проследив за его полетом, принялся за посуду. Возился долго, чистил до блеска.

Отец уже успел срубить несколько рогатин, которые станут когда-нибудь вилами. Надо только ошкурить, отшлифовать и прибить к ним по верхнему рогу. Брус-старший издавна снабжает колхоз граблями, топорищами, вилами. Гнет санные полозья, плетет кошевки и пестери. Родовой промысел, перенятый у дедов и прадедов. Правда, спросу на него меньше год от года. Теперь конное тягло не в моде, куда ни толкнись — везде машины. Лошадей-то осталось всего ничего. Вон они, в общем стаде пасутся. А когда-то большой, шумливый был табунище! Даже Кузьма это помнит. Впрочем, не о лошадках его печаль. А о чем? О чем теперь печься Кузьме? Нет маленького друга, нет Петьки...

— Тятя, я домой поплыву,— не доошкурив рогатину, вдруг надумал Кузьма.

Отец, очищавший черень от сучьев, пересек его надвое.

— Изнахратил,— складывая рассеченные части, огорчился Павел и выругался. Ругаться не умел. Самое бранное слово его — «язва». Он так и сказал.— У, язва! А какие ловкие вилки могли выйти!

— Кольцо насади,— посоветовал Кузьма.

— Рассек, так кольцом не скрепишь,— развел руками Брус-старший и пошел заводить бударку. Кузьма взвалил на плечо готовые вилы, кинул в лодку.

— Держись к берегу ближе,— посоветовал отец, отталкивая бударку.

— Не бойся, не утону.

— Шибко-то не форси. Вон какое движение! Ровно муравьи снуют,— Брус указал на катера, мимо которых щукой проскочил «Метеор», и, ничего более не добавив, отвернулся.

Он долго еще стоял на берегу, одинокий, несчастный, добрый, все понимающий с полуслова. И больше, чем в эту минуту, Кузьма никогда еще не любил его. «Кабы не пил, так цены бы ему не было,— думал он, глядя на уменьшающуюся фигуру отца.— Ты не пей, тятя! Ты больше не пей!» — мысленно просил он отца. Брус, словно понял его, услыхал и, улыбнувшись, замахал. Кузьма махнул ответно.

— Уже? — удивилась мать. Она гнала мед. Над медогонкой кружились пчелы.— Скоро же ты сбил охотку!

— Хорошего понемногу,— нехотя отозвался Кузьма и полез на чердак. Вилы хранились там.

«Совсем взрослый стал!» — подумала Павла, закладывая в гнезда медогонки новые с переполненными сотами рамки. Рассердившаяся пчелка запуталась в ее волосах. Павла выпростала ее, но пчелка не собиралась улетать и рассерженно кольнула в щеку.

— Чего психуешь? — осторожно снимая пчелу со щеки, спросила Павла.— Медку пожалела? А ты не жалей, не жалей!

На чердаке что-то загрохотало. Вилы свалились наземь. Следом загремело старое ведро с луковой шелухой, которой красили на пасху яйца, бидон с высохшей олифой.

— Убился? — всполошилась Павла, выбежав из-под крышки. Но Кузьма был жив и здоров, только лицо его побелело от ярости. Минуя лестницу, спрыгнул с чердака и затряс полосатой шкуркой.

— Так это ты... ты бурундучка присмотрела? — заикаясь, хрипло выталкивал из себя невнятные, гневные слова. В горле что-то клокотало, трудно перекатывался кадык.

— Он же ничей был, бурундучок-то! Он же лесной, дикий...

— Лесной, дикий! — кричал, задыхаясь, Кузьма.— Он с рук моих ел, понятно? Людям он верил, понятно?!

— Кузя, Кузя, охолонь! Экий ты кипяток! — урезонивала мальчика мать, протягивая к нему руки. Он молча и с ужасом пятился от нее, пока не споткнулся и, опрокинувшись, не ударился затылком о камень. Все померкло. Очнулся уже под вечер и о бурундучке вспомнил не сразу. А когда вспомнил, поднялся и, едва удерживая стон, вышел на улицу.

Светило солнышко, но было оно не круглое, словно, опускаясь к земле, обронило где-то золотой теплый краешек, а без того краешка солнце вроде бы и не солнце.

Глава двадцать первая

— Змея! — вскрикнула вдруг Сорока, возле ног которой свился колечком уж. Подскочила и, словно памятник, выбодрилась на пеньке.

— Да? В самом деле? — Путников, читавший Плутарха, заложил между страницами палец, поправил очки и неторопливо подошел к дремлющей змейке.— Это же уж, Виолетта Романовна. Он совершенно безобиден,— сказал он, взяв в руки ужа и обвив им шею.

— Брр! Какая гадость! — с отвращением передернула плечами Сорока.

— Не большая, чем пожимать руку своему коллеге,— усмехнулся Путников и выпустил ужа на траву.— Этот по крайней мере не жалит. А человек в самую душу вонзает жало.

И в сотый, может, в тысячный раз принялся повествовать о том, как его предал ближайший друг, которому помогал когда-то в работе над диссертацией, как увел от него жену. Собственно, из-за этого друга и начались несчастья Путникова.

— Извините, Валерий Николаевич,— снова усевшись на пенек, перебила его Сорока и уткнулась в отчет.— Я и так ничего не успеваю.

— Вы просто не умеете организовать свой день. Ваш слуга покорный написал сегодня семь писем, отправил три бандероли, составил план статьи о казацких постройках, прочел четыре главы из Плутарха. Это помимо основных дел, Виолетта Романовна.

Путников и впрямь успевал очень много, хотя казался человеком странноватым, даже нелепым, но все же прочней, чем Сорока, стоял на земле. Он уже побывал в Тюмени и получил разрешение на вывоз деревянных старых построек, выбил баржи, место, где эти ветхие башни будут поставлены. Но его жалобы иногда докучали. Сама Вита жаловаться не любила, да и не умела, и, что бы с ней ни случилось, носила в себе. Так получалось, что в отношениях с людьми она всегда почему-то выступала в роли старшей или даже няньки. Нянчилась с братом, с Путниковым, с Алешей. Роль няньки стала привычным ее состоянием, жить по-другому она не умела и корила себя за это. Однако если Алеша вернется на остров — завтра опять начнется все сначала. Сорока примется воспитывать его, жалеть, наставлять...

Накануне бегства его они объяснились, но объяснение вышло нелепое.

— Я люблю тебя,— говорила Сорока, сама начавшая этот разговор. Она считала себя человеком, во

многих вопросах сведущим и лишенным условностей.— Я тебя очень люблю, Алеша.

— А за что? — спрашивал он, недоумевая, за что может любить его такая умная и в общем красивая девушка, когда любить не за что. Ничего особенного из себя Алексей Брус не представляет. Разве что внешность... но — что такое внешность для умной женщины!

— Потому что ты замечательный,— готовясь сказать то главное, ради чего затеяла разговор, говорила Сорока.— Но ты можешь быть лучше. Гораздо лучше.

— Конечно. Я и хочу быть лучше,— Алексей, до этого прижимавший ее к себе, слегка отстранился.

— Вот и прекрасно,— обрадовалась Сорока.— Когда мы поженимся... ведь мы поженимся, правда? — Алексей кивнул.— Ты поступишь на исторический. И будем заниматься одним делом.

— Но почему на исторический? Меня это вовсе не влечет,— слабо возразил ей Алексей.

— Ну тогда на другой,— тотчас согласилась Сорока, тут же добавив: — Если ты уже выбрал. Но ты не выбрал еще. Так ведь?

— Пока не выбрал.

— Тогда почему бы тебе не пойти на исторический? Станешь, как и я, археологом. Это необыкновенно интересно,— и она принялась рассказывать ему в который уже раз о Шлимане, о великих археологических открытиях. А между тем небо голубовато сочилось. Выщелкнулся тонюсенький росток месяца. У новой школы кто-то (Иннокентий, должно быть) наигрывал полонез Огинского. Сова, выбравшаяся на охоту, схватила не то лемминга, не то бурундука и теперь терзала свою жертву, устроившись прямо над влюбленными. Зверек заверещал, и Алексей кинул в хищницу рисованным камнем.

— Это же наскальный рисунок! — укоризненно прошептала Сорока и стала искать в темноте осколок давних времен...

Сова улетела, но шелест медленных ее крыльев долго еще отдавался в ушах Алексея. Потом что-то глухо ухнуло, раздался всплеск. «Осыпь,— подумал он и почувствовал, что хочет купаться: — Хорошо бы окунуться сейчас... Нырнуть и где-нибудь на середине Оби вынырнуть...» А Сорока уже отыскала свой камешек и, лаская его пальцами, опять завела разговор о том же.

— Ты извини, Вита, я пойду,— не сдержав зевка,

сказал Алексей и, торопливо пожав ей руку, ушел, петляя между деревьями.

— Алеша,— с полураскрытым ртом застыла Сорока, пошла за ним следом, но остановилась.— Что ж ты ушел-то, Алеша?

Он не слышал, он бежал от нее по лесу и зло, яростно повторял: «К черту! К черту! Меня тошнит от твоей учености!»

Алексей сердился и хохотал, вспоминая, как вела она себя вот здесь же, в лесу, с неделю тому назад.

— Подожди немного, Алеша,— нисколько, впрочем, не сопротивляясь, говорила Сорока и запахивала разорванную им кофтенку.— Потерпи, я еще не готова...

— Долго ли готовиться-то будешь? — с издевкой спросил ее Алексей.

— Нет, совсем недолго.

Алексей в недоумении молча поднялся и ушел. Сорока бегала по острову, искала с ним встреч.

Махнув с обрыва, Алексей прошел под водой чуть ли не до середины Оби, вынырнул и баттерфляем поплыл к противоположному берегу. Вернувшись на остров, стряхнул с себя прохладную речную влагу, оделся и рысцою затрусил к дому. За железной коробкой, в которой Недобежкин запирал лодочные моторы, стояла Сорока.

— Алеша! — сдавленно позвала она.

Алексей не оглянулся.

— Уеду! — решил он.— Завтра же уеду.

Он уехал, и Сорока каждый день писала ему письма, которые тут же рвала или теряла и принималась писать новые. Одно из ее писем подобрала Павла. «Вон что,— усмехнулась она, читая Сорокины откровения.— Удрал от нее сынок-то! Ну этого надо было ожидать».

Бродя этой ночью по острову, Сорока столкнулась с Кузьмой, перепугавшим ее до смерти.

— Ччто это? Кто это? — отскочив, спрашивала она. Признав мальчика, обняла его и повела к себе.

Отпоив Кузьму чаем с малиновым вареньем, уложила на раскладушку и стала рассказывать диковинные истории о древних царях и народах. Кузьма засыпал трудно, часто вскидывался, горячечно бормоча неясные фразы. Сорока каждые полчаса меняла ему компрессы.

Под утро сон его стал спокойней. Кузьме приснился

луг, неправдоподобно синий, на лугу пасся... Петька. «Петька! Петька!» — закричал Кузьма и проснулся.— Где Петька? — спрашивал он, водя глазами по сторонам.

— Ты кричал сильно,— улыбнувшись ему, сказала Сорока, и жесткие пальцы ее, привыкшие к кирке и лопате, поплыли в волосах мальчика, словно рыбки.

— Мне Петька снился,— не удержался от печального вздоха Кузьма.

— А кричал ты про какую-то лошадку.

Однажды в пригончике выпал из гнезда едва оперившийся воробушек. Кузьма полез под крышу, чтобы водворить его обратно, и, цепляясь за стреху, увидал под ней железную коробку. «Интересно! От кого ее мамка прячет?» — усадив в гнездо птенца, открыл коробку. В ней оказалась спрятанная Павлой золотая лошадка. Кузьма не собирался присваивать себе безделушку, хотя, по правде сказать, поначалу у него мелькнула мыслишка: «Что, если сдать эту штуковину в комиссионку? Во отвалят деньгу! Сразу можно купить аккордеон!» Он даже внушал себе, что лошадка эта, найденная матерью подле деревянной башни, принадлежит не мамке, а государству. Но и государственную вещь, решил он, рассудив здраво, тащить в магазин нехорошо. Воровство получается. Примерив так и этак, он положил игрушку обратно. А теперь вспомнил о ней.

— У меня есть одна штука. Сейчас покажу,— Кузьма поднялся, несмотря на протесты Сороки, и вскоре вернулся в палатку с золотой лошадкой.

— Боже! Это же древний талисман! Ну точно! Как он у тебя оказался?

— Это токо я знаю,— Кузьма выдержал долгую паузу и потом начал сочиненную им повесть.— Давным-давно один парень русский попал к Кучуму в плен. Такой, понимаешь, Иван-царевич. Царевна, Кучумова дочка, увидела его и, как водится, втюрилась. Кучум это дело усек, конечно. Пленника в башню замуровал. Высокая башня, не подступись. Кругом охрана. Парень голодал сперва, потом голубями стал питаться. Тех голубей с записочками царевна к нему подсылала. Вот, значит, ест он голубей, а перья в угол ссыпает. Много-ого накопилось там перьев и крыльев тоже. Делать нечего — начал парень со скуки большие крылья мастерить. Царевна меж тем ему побег задумала. Однажды выслала пленнику вот эту лошадку и бечеву. С намеком вы-

слала: дескать, спускайся вниз. У заставы лошади ждут. Он, не будь дурак, крылья за спину привязал, лошадку за пазуху сунул и — фрр! в небо. Татары долго за ним гнались — не догнали бы... да веревка истерлась. Упал он, царевна слугам своим велела курган над парнем русским насыпать. Потом башню построила. Засыпали их обоих... вместе с лошадкой. Вот и все.

— Насочинял,— рассмеялась Сорока,— но в одном ты, пожалуй, прав. Курган этот, возможно, и впрямь место древнего захоронения.

— Не исключено,— поддержал Путников.— А вашу лошадку, молодой человек, мы выставим в музее, указав имя автора находки.

— Спасибо, но лучше... без имени,— вспомнив о том, что предстоит объяснение с матерью, скромно отказался Кузьма. И — вышел. Сорока и Путников, взволнованные находкой Кузьмы, долго еще обсуждали это событие.

— Какой милый мальчишка! — растроганно говорила Сорока, лаская в ладонях золотую лошадку.

— У вас, Виолетта Романовна, все милые, все добрые! Между прочим, мать этого мальчишки называют здесь волчицей,— заметил Путников и тотчас вскрикнул испуганно: в лоб ему шмякнулась еловая шишка.

— Ну вот, пожалуйста,— горько усмехнулся Путников и вышел из палатки, поклонившись Кузьме, не успевшему спрятаться: — Благодарю вас, молодой человек.

— Ты метко бросаешь, Кузьма,— упрекнула Сорока.— Но, кажется, не в ту цель.

— А пусть мамку мою не трогает! И... к тебе не пристает.

— Твоя мамка в защите не нуждается. В особенности от Валерия Николаевича. Да и ко мне он не пристает.

— Ну да, говори. Я не слепой, все вижу. Смотри, если не перестанешь с ним якшаться — доведу Алешке,— пригрозил на всякий случай Кузьма. Раз уж обещал брату присматривать за Сорокой, то слово свое надо держать.

— Доводи,— жалко улыбнувшись, вздохнула Сорока. В голосе ее было что-то такое, что чуть ли не до слез взволновало Кузьму.

— Ладно, пока смолчу. Но ты гляди у меня...— все же повторил он для порядка.

Археологи начали поиски на кургане и дня через три обнаружили какие-то старинные украшения из золота. Путников теперь дневал и ночевал подле старой башни. Да и Сорока была почти счастлива: башня, несколько уникальных рисунков на камне, наконец, последние находки — это удача, редкая удача, выпавшая на ее долю.

Вечером после особенно удачного дня Путников устроил в своем шатре пиршество. Веселились напропалую. Валерий Николаевич пел, плясал и даже показывал фокусы. Кузьма вернулся домой поздно и, рухнув в постель, зажал в кулаке одну из отцовских игрушек.

— Где шлялся? — хмуро спросила его мать.

— У археологов,— засыпая, пробормотал Кузьма.— Они клад нашли... возле старой башни.

— Моду взял — до полуночи шляться!

— Ну припозднился чуть-чуть... эка беда! — заступился за сына Павел.— Пускай гуляет... скорей горе свое залечит. Природа, она...

— У тебя одно средство, один врач,— оборвала его Павла, вынув из стиснутого кулака сына деревянную лошадку.

— А как же — один. Он, этот врач-то, все недуги человеческие лечит.

— Однако после больницы... не природа, а я тебя выходила! — разглядывая лошадку, ворчала Павла. «Надо бы ту поглядеть... под стрехой»,— отметила про себя.

— Должник неоплатный. Но только и природа выпрямляла. День-деньской на вольном воздухе — тут и мертвый воскреснет.

— Ну, воскрес, а кому польза? Рубля в дом не принес! Хоть бы побрякушки свои продавал. Кузька вон и то догадался.

— Я побрякушки не для наживы лажу, для удовольствия.

— Кому от них, кроме тебя, удовольствие? Живешь: не мужик — пустое место!

— Объяснила, спасибо,— потупился Павел и, помолчав, усмехнулся печально, часто заморгал исправным глазом.— Уйти мне, что ли?

— Сам соображай. Не дите годовалое.

— Алешку выжила. Теперь меня. Потом и за Кузьку примешься?

— Кузька — кровинка моя, не тронь! — прикрикнула Павла и даже замахнулась. «Ненавижу его! Ненавижу! За жизнь сломанную, за его брата...» — думала она, с ненавистью глядя на мужа.

— Не осуждаю, Паша,— кротко сказал Павел, и эта кротость, бесившая Павлу, сейчас остудила ее гнев.— Было плохо, но и хорошо было. За то хорошее кланяюсь низко,— и поклонился и, сняв вещмешок с крючка, от порога уже спросил: — Детей-то дозволишь проведать?

— Не юродствуй. Ложись давай. После решим...— силком воротив его, сняв и бросив мешок на голбец, велела Павла и вышла во двор. А через минуту влетела, с грохотом распахнув дверь.

— Лошадку-то ты взял? С нее резал свои деревяшки? — показывая игрушку, которую взяла у Кузьмы, кричала Павла.

— Какую лошадку? — удивленно спросил Павел, ни сном ни духом не знавший о ее сокровище.

— Не знаешь? Ту, из гнезда под крышей!

— Не кричи на папку! — проснувшись от ее крика, сказал Кузьма.— Я взял твою медяшку... Выпала из-под стрехи, я поднял и отдал археологам.

— Медяшку?! — задыхаясь, кричала Павла.— Сейчас лети к ним, отними! Она из чистого золота.

— А хоть и из золота — не пойду,— замотал головой Кузьма и тут же ударился головой о стенку. Павла дала ему пощечину и тотчас, словно обожглась, отдернула руку.

— Золото не дороже человека, Паша,— оттолкнув ее от сына, тихо и грозно сказал Павел. Прижав к себе плачущего Кузьму, попросил: — Не сердись на мамку, Кузя. У нее в мозгу помутнение.

— Жадина! — выкрикнул мальчик.— Жадина! Вон тятя рукоделья свои за так отдает. А они в сто раз лучше твоей лошадки! В тысячу!

— А я их в печку... в огонь! — схватив мешок, в котором хранились у Кузьмы отцовские подарки, кинула в недавно протопленную печку.— И инструмент его туда же... все туда!

— А руки мои? — засмеялся Павел.— Руки туда же?

— Для вас стараюсь! Для вас коплю, будьте вы прок...— вскричала Павла, но спохватилась и зажала рот ладонью, отступила от отца с сыном к порогу и

даже шагнула за порог. Но Кузьма опередил ее, вскочил с постели и взобрался на шесток.

— Заодно и меня кинь в печку,— сказал он, подманивая мать пальцем.— Кинь, я легкий.

Павла, стукнувшись головою о притолоку, выскочила на улицу.

— Слезь, Кузя,— обнимая и успокаивая сына, говорил Павел.— Слезь, сынок, с огнем нельзя баловать. Огонь, он такой... суровый!

— Из-за игрушки... хоть бы что путное! — дрожа всем телом, жаловался Кузьма. И вдруг предложил: — Ты, сказывал, омуток приглядел. Давай уедем.

— Уедем, конечно. Как развидняет — уедем,— гладя его и укладывая, говорил с нежностью Павел.— А теперь ляг, сынок, поспи. Тебе спать время.

Кузьма, всхлипывая, укрылся с головой одеялом. В печи, загоревшись, потрескивали игрушки. Павел смотрел на огонь и загадочно улыбался.

Глава двадцать вторая

В субботу опять прилетели шефы. Встречать вертолет вышли все островитяне.

— Что это за сундук у вас? — спросил Алексей, увидав громоздкий черный футляр, который Попов выносил из салона.

— Это? Это спрос,— усмехнулся Попов и, передав футляр Алексею, сказал серьезно: — Отдашь Кузьме. Мол, от дяди Димы подарок.

— Сами-то разве не пойдете к нам?

— Мне к Легезе нужно,— отводя взгляд, сказал Попов и, увидав председателя, махнул ему и отправился в школу.

— А как же баня? Мать, наверно, баню истопила! — крикнул вслед ему Алексей. Попов сделал вид, что не расслышал.

— Здравствуй, Алеша,— сказала Сорока, поджидавшая его около дома Брусов.

— Здравствуй,— кивнул Алексей и, словно чужой, прошел мимо.

Кузьма, наскучавшийся по брату, повис на его шее.

— Ага! Сорокин жених приехал! — дергая брата за

недельную, но уже закурчавившуюся бородку, ликовал парнишка.

— Приехал, приехал,— басил Алексей и, отлепив от себя Кузьму, подкинул его вверх.— Похоже, в весе прибыл. А где твой Одноглазик?

Кузьма не отозвался и, сразу померкнув, убежал под крышку.

— Утонул он...— шепнул отец.

— Вон что,— болезненно скривился Алексей и, зайдя под крышку, снова взял брата на руки.— Ничего, братан, ничего... крепись. Я тут вот подарок тебе принес... от Дмитрия Николаича,— раскрыв футляр, он вынул изнутри зеленый, как весенняя травка, аккордеон.

— Да! Вот это да! — изумленно прошептал Павел.— Есть же люди, а!

— Сам-то дарильщик чего не явился? — спросила Павла, скрывая обиду. Ждала появления Попова как великого праздника. А он заделье себе придумал. Нарочно придумал, понятно всякому. Ну и пусть.

— Некогда ему... с председателем занят,— сказал Алексей, тем самым подтверждая худшие ее подозрения.

Кузьма, надев ремни на плечи, уселся на завалинке и начал подбирать то, чему учился у приезжего плотника Иннокентия.

— Гармозяка-то получше моей будет,— разглядывая аккордеон, покачивал головой Павел.— Наверно, больших денег стоит. И на что человек тратился?

— Значит, знает — на что,— хмуро возразила Павла и велела Кузьме отыскать Попова и привести его на ужин.

Кузьма нашел мастера в школе и не отставал от него, пока не привел к себе в гости. Введя во двор, опять уселся за аккордеон. Попов нерешительно переминался с ноги на ногу у калитки.

— Че испугались-то? — едва сдерживая нахлынувшую на нее радость, как можно суровей спрашивала Павла.— Проходите, я не кусаюсь.

— Мне бы умыться с дороги,— сказал Попов и, подмигнув Павлу, указал на мальчика, сосредоточенно выводившего какой-то марш.

— Пожалуйста,— Павла провела Попова в дом и, налив воды в рукомойник, подала чистое полотенце.— А я частенько вас вспоминала. Весточки про сына ждала,— она хитрила: ждала весточки не про сына, и оба

понимали эту хитрость, а говорить прямо как-то не решались.

— Я у вашего сына в писарях не служу.

— А все ж таки мог хоть два словечка черкнуть... и не только про сына,— прикрыв поплотней дверь, ведущую в сенки, вздохнула Павла и погладила Попова по сильной загорелой шее.— Истосковалась я, Дима! Места себе не нахожу. Судьбу-то мою решай... Как скажешь, так и будет...

— Ну если сбудется, что Павел скажет? И сыновья у тебя взрослые.

— Павел не в счет. От сыновей пока спрячем. Поумнеют — поймут.

— И понимать нечего. Все ясней ясного. Но я о людях думать привык. Тут много людей замешано.

— Измельчали вы, мужики. Времена, что ли, другие?

— Это точно, другие,— не обижаясь, серьезно кивнул Попов.

— Я не в обиду сказала, а так, для примера. Алешка-то как у тебя прижился?

— Ничего, паренек старательный.

— Не обижай его. Положи деньгу побольше. Ну и держи крепче, чтоб не утек. На буровой-то я его легче достану.

— Деньгу не я кладу, государство. А решит уехать — кто удержит?

— Кроме меня некому.

— Был слух, жениться он собирается.

— Пускай женится... есть невеста. И дом им готов, и приданое... А мы с тобой рядом домок построим... когда по свету устанешь болтаться.

Попов не отозвался и молча снял ее руку. Усмехнувшись, Павла вышла. Ужинали без него.

— Ишь как заволосател,— сказала за ужином мать, но старший ей понравился своим видом. Возмужал, обветрел. А на силу он и прежде не жаловался. Ради спора однажды годовалого бычка через весь остров пронес.— Бороды-то раньше токо старики носили!

— То раньше, а то теперь, большая разница.— И тон у Алеши стал независимый. Мать отмолчалась, подвинула шаньги.

— Рассказывай, где устроился,— крякнув после выпитой рюмки, поинтересовался отец. Он уже успел сплавать на тот берег, прикинув, что разговору должно хва-

тить на три бутылки. Павла не пила, сидела задумчивая, чего-то ждущая.

— У Попова в бригаде.

— По душе работенка?

— Не обижаюсь.

— Платят по совести? — спросила Павла, настороженно выгнув бровь.

— На жизнь хватит.

— А все-таки?

— Рублей пятьсот по кругу выйдет, наверно.

— Ой-ешеньки! — Павла заволновалась, опрокинула недопитую рюмку.— Да куда тебе эстоль-то? Хоть бы родителям какую толику подкинул!

— Бедствуете, что ли?

— Не замечал,— сказал Павел, распечатывая вторую бутылку.— Пока сводим концы с концами.

Павла, отняв у него бутылку, обрезала:

— Если и поможешь, никто не осудит. Мы уж не молоденькие.

Она вылезла из-за стола, сев под иконами, в темном углу. Тень и старушечий платок и впрямь старили ее.

«Нарочно села туда, чтоб пожалостнее выглядеть»,— думал Кузьма неприязненно.

Проскользнув под столом, как он обычно делал, когда хотел быть незаметным, вынул аккордеон и прошелся по клавишам.

С тех пор, как в доме Брусов появился новый музыкальный инструмент, который Кузьма довольно быстро освоил, отец затолкал свою старенькую двухрядку на полати. Он никогда не просил сына сыграть что-либо, но Кузьма и сам угадывал его невысказанную просьбу. Отец слушал молча, не хвалил и не хаял игру и двумя уцелевшими пальцами мысленно проигрывал ту же мелодию на исправной ладошке.

Когда-то и он играл отменно, был первым парнем в Тапе. «Ладно, ладно,— не замечая упавшей на скатерть слезы, думал Брус-старший.— Мне лиха хватило, так пусть хоть у Кузьмы будет легкая жизнь!»

А Кузьма наяривал то «Цыганочку», то «Камаринского», то вальс — все веселое, все зажигательное, чтобы поднять у отца настроение.

Мать все же улучила мгновение и вставила:

— Дак как, Алешка, помогать будешь?

Слова, точно пауки из банки, упавшие на звонкую, на душевную музыку, убили ее. Аккордеон огорошенно всхлипнул и замолчал.

— Хоть бы детей своих постыдилась,— укоризненно покачал головой отец.

— А че их стыдиться? Это мои дети. Я их и выкормила и выпоила. Теперь пускай отрабатывают свой долг.

— Буду помогать,— сказал Алеша.— Кузьму содержать буду, если в музыкальное отдадите.

— Не о Кузьме речь, о нас! — мать поднялась с лавочки, но под ноги ей упал луч света, разделив комнату на две половины. Братья и Брус-старший оказались по ту сторону границы.

«Наверно, рыбнадзоровский катер»,— подумал Кузьма; полоска медленно двигалась по комнате, а Павла догоняла ее. Но скоро полоска исчезла: видно, на катере выключили прожектор. Теперь под потолком слепо моргала засиженная мухами лампочка, скупо высвечивая лица разделенных невидимой границей людей.

«Уйду я отсюда! — подумал Кузьма.— Вот только вырасту — и уйду».

Попова все не было. Подождав его для приличия, Алеша куда-то утянулся. А Кузьма лег спать. Павел тоже прилег, но, когда жена вышла, снова пристроился к графину с водкой.

— Ты бы не пил, тятя,— сказал в темноте Кузьма.— Хворый ведь ты... врачи запрещают...

— Мне многое запрещают... многое. Спи! — Но пить дальше Павел не стал и сел у окна.

Звезды высыпали. Много звезд, меж которых плавал челнок месяца. Просвистела какая-то птаха. Филин ухнул. У берега плеск раздался. «Рыбак, должно быть»,— определил Павел и, заглядевшись в небо, долго-долго сидел неподвижно. Прекрасно небо, земля прекрасна. А как-то не клеится жизнь на этой земле. И требуется-то самую малость, а вот и эта малость Павлу не дана. С женой совсем чужие люди. Сильная она, властная. Всех подминает под себя. Уйти бы... но от детей нелегко оторваться. Да и куда уйдешь? Не дальше, чем на выпаса, в лесную избушку. Через день снова сюда потянет, к Кузьме, к Алешке. Да и Павла... привык к ней, даже к самовластию ее привык, притерпелся. Это вроде армии. Там лейтенанты командовали,

тут жена... Ежели смотреть на все на это, как на службу, то ничего, жить можно.

Калитка хлопнула, закрылась. Никто не вошел. По ту сторону послышались приглушенные голоса.

— Скрывать не стану — тянет меня, закручивает, но тропки у нас разные,— Павел узнал по голосу бурового мастера. «С кем это он?» — Разные, и вряд ли сойдутся, Павла Андреевна.

«Вон что! Интересно девки пляшут»,— горько усмехнулся Павел.

— Тянет — не выплывешь. Я ведь вроде речной воронки... Да ты не робей, не утонешь...

— Не надо! Не надо! Я не привык на чужих костях топтаться.

— Ты про Павла! Оставь! Мы с ним давно не живем. А сейчас и вовсе уходить собрался. Так что буду свободная...

— Заборчик во мне... небольшой такой заборчик, Павла Андреевна. А переступить его не могу. Ты уж не обижайся.

— Куда уходишь? — задержала его Павла.— Ночуй у нас.

— Легеза приглашал,— отказался Попов.— Пойду к нему.

— Тяжко мне с тобой,— вздохнула Павла.— И без тебя тяжко.

Павла шла по ограде, точно тащила за собой тяжкий груз. Увидав мужа подле окна, включила свет, присела.

— Подслушивал?

— Так пришлось. С Поповым решила устраиваться?

— С кем-нибудь да устроюсь. Не печалься.

— Не о тебе, о сынах печалюсь.

— Ну вот, опять за рыбу деньги. Сыны уж не маленькие. Выпьешь?

— Хотел зарок на воздержание дать... Да чего там! Наливай. Скорей сдохну.

— Куражишься? Водка смелости придает?

— Я и без водки теперь смелый. Все корни обрубила: от сыновей отлучила, инструмент сожгла... Знаешь, куда бить.

— Да че тя бить-то? На ладан дышишь...— жестоко, расчетливо жестоко возразила ему Павла.— Бывать не запрещаю. Бывай, проведай.

— Если уйду — добра не жди. Красного петуха подпущу.

— Петуха, значит? Ну посмотрим, кого этот петух клюнет,— с недоброй усмешкой пообещала ему Павла.

Глава двадцать третья

Земля разгладила древние морщины, расслабила жесткие напряженные мускулы, слилась с рекою и лесом. Березы по краю оврага погрузились в багрово-пепельный свет и засияли сами. И все звуки ночные неразличимо слились с этим светом. Звуки, свет, запахи — все стало одним телом, одной жизнью, землей, которая, казалось, мыслила, но никогда не роптала, потому что не умела завидовать, не желала роптать. Ропщут слабые. Природа сильна и великодушна.

— Я согласна, Алеша! Я на все согласна,— едва увидев его, торопливо заговорила Сорока. Улыбчивые, близорукие глаза ее заблестели встревоженно и счастливо. Она держала Алексея за руку, не замечая, что рука под ее пальцами отвердела, а сам он отчужденно отстранился.

— Я не за тем к тебе шел,— сказал он.— Совсем не за тем.

Стемнело. Сизые тени ночные неровными клиньями пали на поляну. Шуршал жесткий лишайник, и где-то бессонный выстукивал дятел. Алексей начал было считать удары его, но сбился. Вот с разгона из-под небес стремительно юркнула в лес какая-то большая темная птаха, едва не задев их крыльями. И там, где нырнула она за деревья, зажглась звездочка, запылала, забила крылатыми лучиками, словно пылала не звезда, а только что прилетевшая птица. Алексей протянул руку, как бы желая потушить это пламя, спасти птицу или взять в руки звезду. Оно метнулось над лесом и оказалось далеко, близ мерцающих звезд, еще более далеких и недоступных, но так явственен был пожар, так чудился запах паленых перьев, что Алексей потянул носом: и впрямь пахло дымком. Дымок доносило от Недобежкиных. И еще багульником пахло, листвянкой и сырым, синеющим внизу оврагом.

— Я пришел сказать тебе,— начал опять Алексей, снимая Сорокину руку.

— Но зачем? Я же согласна,— поспешно перебила его Сорока и прижалась к нему, неловко ткнулась горячими губами в его щеку и оцарапала слегка очками.

— Я полюбил одну женщину,— продолжал неумолимо Алексей, отстраняя ее.— И если ты друг мне...

— Полюбил за одну неделю? Бред! Бред! — не поверила Сорока и рассмеялась его выдумке.

— Не за неделю и даже не за день,— спокойно возразил ей Алексей.

Она воображала себя человеком, который постиг все изгибы человеческой психики, потому что прочла об этом сотню-другую книжек, и все отклонения от сложившихся в уме представлений считала заблуждением. Как и то, о чем говорил теперь Алексей. А он продолжал:

— Не за час — сразу. Увидел и полюбил.

— С одного взгляда? — Сорока опять рассмеялась. Смеялась сухо, высокомерно, как человек, который на целую голову выше по жизненному опыту.— Бред, бред!

— Возможно. Но я счастлив, что брежу. Счастлив... пойми.

— Покажи мне ее. Пока не погляжу — не поверю!

— Это твое право. А я сказал.

— Но кто она? Кто? Или это секрет?

— Она женщина,— раздельно и значительно сказал Алексей. В его голосе прозвучал такой восторг, такое сильное чувство, что Сорока испуганно присела. «Любит... Это правда, любит»,— прошептала она.

— А может, ты ошибаешься? Где она? Кто она?

— Она летчица... У нее есть дочка.

— А,— криво усмехнулась Сорока, и пухлые короткие губы ее зло и тонко вытянулись. Маленький нос заострился, отвердели скулы.— На готовенькое пришел?

— Давай не будем ссориться, Вита. Ты же умная, ты все понимаешь,— примирительно говорил Алексей.

— Понимаю,— машинально повторила Сорока, не вникая в смысл сказанного ею.— Я все понимаю.

Как раз теперь-то она ничего, решительно ничего не понимала. Не в состоянии была понимать. Алексей говорил еще что-то, но ни одно его слово до нее не дошло. Потом он простился и ушел, счастливый, уверенный в себе и чужой. Чужой и ненавистный. Нет, родной, любимый! Самый любимый! Во всем виновата та женщина,

корыстная, опытная, распутная тварь! Пойти сейчас к ней, сказать ей! Нет, просто глаза выцарапать!

Сорока вскочила и побежала. Уронила очки (волнуясь, она часто теряла очки, хотя покупала всегда про запас), не заметила и наступила на них.

Подбежав к школе, забарабанила в дверь кулаками. Дверь была открыта. Там, внутри, стучали костяшками домино.

— ...Встать! Адмиральский! — скомандовал кто-то, заканчивая партию. Услыхав стук, тот же самый доминошник спросил: — Кто там ломится, интересно?

На крылечко вышел Репнев.

— Где эта? Тварь эта где? — толкая его, бессвязно бормотала Сорока и пыталась войти в здание школы. Репнев оттеснил ее подальше от двери, зажег спичку и вгляделся: «Девочка-то ништяк! Сам бог ее послал мне».

— Которая «эта»? — спросил он, зажигая вторую спичку и прикрывая наружную дверь.

— Ну та, летчица, у которой ребенок...

— Ах та летчица! — без удивления сказал он и вновь позавидовал Попову: «А шеф-то — вездесущий мужик. И эту успел приласкать. Ишь как ревнует».

— Да, летчица... именно, летчица. Тварь она! Грязная тварь,— снова толкнула его в грудь Сорока.— Мне нужно видеть ее.

— Ее здесь нет,— развел руками Репнев.— Но если хотите, я помогу ее найти. Я знаю, где она... Одну минуту, прихвачу с собой плащик.

Он влетел в школу, сорвал с гвоздя чей-то плащ и тотчас выскочил. Вита, опершись грудью о перила, свесила голову вниз, дрожала и безутешно плакала.

— Так он, значит, пренебрег вами? — опять имея в виду Попова, сочувственно спрашивал Репнев.— Вот мерзавец!

— Пренебрег,— не замечая мстительной его усмешки, бормотала она, почти повиснув на его руке.— Я сказала ему, я ждала...

— А он пренебрег,— фальшиво возмущался Репнев, уводя ее в глубь острова.— Пренебречь такой красивой девушкой. Это ж надо, а? Это же ни в какие рамки.

Сорока совсем раскисла от слез и его сочувствия, обессилела и упала, едва он расстелил на земле плащик.

— Милая, бедная,— шептал Репнев, пристраиваясь рядом.— Такая хорошая. Я б на руках тебя носил...

Глава двадцать четвертая

Баня выстояла и была полна жара. Но в этот вечер никто в ней не моется. Ушел Алексей, Попов ушел. Буровики ночуют в школе. Пьяный Павел спит.

Томится баня. Томится хозяйка. Одной пойти, что ли?

Но поздно ночью пришел Легеза. С ним была какая-то женщина.

— Че таскаешься по ночам? — ворчала Павла, открывая ему.

— А вот гостью тебе привел. На ночку пустишь? — бурлил Легеза, отводя в сторону маленькие усмешливые глазки. «Вот сошлись,— едва не крякнув от восхищения, сощурился он.— Не поймешь, которая красивше».

Гостья была непростая и, видно, неспроста сюда явилась... Павла почувствовала это сразу и не ошиблась в своих предчувствиях. Ольга сама напросилась к Брусам на ночлег. «Погляжу, что за мать у Алексея,— решила она, много наслушавшись до этого о Павле.— Говорят, красавица».

— Ну что ж, давайте знакомиться,— сказала она, протянув Павле руку.

— Че знакомиться-то? — не приняв ее руки, усмехнулась Павла.— Пришла, дак уж знаешь, к кому пришла.

«Неужели догадалась? Нет-нет, едва ли»,— слегка встревожилась Ольга, вслух, однако, сказала: — Знаю.— И назвала себя по фамилии.

— Как? — изменившись в лице, переспросила сдавленно Павла.

— Попова,— с удовольствием и врастяжку повторила Ольга, заметив ее волнение. «Неужто та самая? Неужто она?» — придирчиво, но не слишком откровенно разглядывала хозяйку Ольга. Что ж, в такую и влюбиться не грех. Немолода, под сорок, наверно, но как хороша, как сатанински хороша! Сумрачная, вечерняя красота какая-то, и в глазах у нее мрак. Такую может любить только необыкновенный, сильный человек, не Митя. Очень уж правильный он, очень причесанный, все

волоски в душе прилизаны. А этой атаман нужен, забубенная сорвиголова. Ах, Митя, Митя, чудачок милый! Не по тебе этот орешек! Или уж я совсем тебя не знаю.

— Вы Дмитрию Николаевичу не родня? — спрашивала меж тем Павла. Страшноватый взгляд ее пугал теперь меньше. Всегда легче разговаривать с человеком, с женщиной в особенности, если знаешь ее тайну. Ольга смотрела на соперницу со снисходительной усмешкой, слегка поигрывала морщинками, собравшимися на лбу.

— Родня.— И, выдержав длинную, мучительную для Павлы паузу, наконец призналась: — Бывшая.

— А,— Павла качнулась назад, и суровое, грозовое лицо ее осветилось улыбкой. Хоть и краток был миг, а она тоже успела рассмотреть и достойно оценить нечаянную гостью. «Бывшая, значит, так-так».

— Вот и познакомились,— кивнула Ольга, вкладывая в эти слова большой, но обеим понятный смысл.

— Ну проходи... ужинать будем,— почти приветливо пригласила Павла. Собирая на стол, вдруг вспомнила, что истоплена баня, и предложила Ольге попариться.— В баньку не желаешь?

— Отчего же? Желаю,— дружелюбно улыбнулась Ольга, решив, что хозяйка хочет увидеть в ней скрытые под одеждой пороки, унизить каким-нибудь нечаянным намеком. «Смотри-смотри, сколько угодно! У меня тоже глаза имеются».

Раздевалась медленно, хотя, служа в авиации, приучила себя к быстроте и четкости почти солдатской. Нарочно медлила, чтоб позлить Павлу, уже скинувшую с себя простенькую рубашонку, разглядывала тайком смуглое тело ее, литое, без единой жиринки. Все в ней было красиво и ладно. Павла между тем распустила косы, и волосы хлынули по спине на мягкие округлые бедра. Обнаженная она женственнее и, Ольга отметила это с завистью, красивее.

— Бельишко-то у тебя какое шикарное,— сказала Павла, наливая в шайку щелок.— Из-за одного белья полюбить можно.

— Белье-то снимается,— Ольга скинула с себя дорогое, тонкое белье и, подойдя к Павле, с усмешкой спросила: — Ну и как я?

— Все на месте,— улыбнулась Павла и незлобливо

плеснула в нее водой.— Дуры мы дуры! Друг дружке показываемся... А хоть сколь завидуй — в чужую шкуру не влезешь.

— Так оно,— вздохнув, согласилась Ольга, подкупленная ее искренностью.— Но уж такова натура бабья. Все лучше быть хочется. Самой лучшей в мире. И все равно кто-то лучше тебя находится. Ты вот красивее меня,— признала она честно и не без сожаления.— Старше, а красивее.

— А ты счастливее,— тоже вздохнула Павла.— Не спорь, я вижу. Я за версту счастливых чувствую.

— Может быть, может быть,— потупилась Ольга и вдруг заплакала, уткнувшись в Павлино плечо.

— Ну что ты, ну что? Че ревешь-то? — ласково прижимая ее к себе, успокаивала Павла. Кажется, впервые за всю жизнь жалела женщину, да не просто женщину, а соперницу, с которой только что собиралась схватиться из-за Попова, отнять его, чего бы это ни стоило, а вместо этого пожалела. Жалеть-то не ее, себя надо. И все же сказала опять: — Не реви,— потом пожаловалась с кривою улыбкой: — Я бы вот тоже всплакнула — не плачется.

Ольга молча вытирала слезы и смущала Павлу.

— Озлоблены мы... себе и то не верим порой,— сильным грудным голосом говорила Павла, намыливая голову.— Я, сколько помню себя, все время чего-то остерегалась. Теперь вот тебя стерегусь...

— А ты не бойся. Делить нам с тобой некого,— отвечала ей Ольга, как бы призывая Павлу высказаться до конца.

— Как сказать,— усмехнулась Павла и отбросила со лба мыльные волосы.

— Некого,— твердо, уверенно повторила Ольга и, тоже намыливаясь, спросила: — Любишь Диму?

— Митю-то? Его разве можно не любить? — ответила Павла и развела ладонями тяжелые мокрые пряди, не удивляясь тому, что Ольга все о ней знает.— Не было у меня жизни до него... Мантулила, рожала, деньгу копила... А встретила Митю — поняла... не так жила-то... или — совсем не жила... К чему говорю? — рассмеялась она, шлепнув рукою по воде.— Все равно не поверишь.

— Поверю. Ведь мы сейчас ровня...

Павла кивнула, уронила голову и задумалась. За ок-

ном хрустнула веточка. А может, скрипнул полок. Павла насторожилась.

— Эй, кто там подслушивает!? — крикнула она.— Я вот выйду щас, кочергой по ушам дам!

Никто не отозвался. А за окном стоял Алексей.

— Тебе показалось. Никого нет,— сказала Ольга.

— Слух-то у меня охотничий. Да пусть слушают... ежели совести нет.

За окном стоял Алексей, не смея шевельнуться и не имея сил уйти.

Явившись домой, он увидал в избе собранный стол, поискал мать, но нигде не нашел. И вдруг услыхал из бани голоса и подкрался, узнав второй голос, Ольгин. Первый был Павлин.

— ...Отца забрали, мать умерла...— говорила Павла.— Осталась я старшей с двумя сестренками. И это бы ничего еще, да попалась в лапы к одному паразиту... сломал он меня, как былинку... всю радость мою сломал... И не было больше радости,— глухо закончила Павла, скрипуче посмеялась и спросила: — А у тебя дети есть?

— Дочка маленькая. Пять лет,— тихо ответила Ольга.

— Видишь, как много нас! А Митя один...

«Митя! — сжав кулаки, думал Алексей.— Так значит, мамка с Поповым? Когда же она успела? Ладно, с ним разговор будет!»

— Не может он, Митя-то,— продолжала Павла, упустив один, очень важный для себя момент. Ольга снова услыхала легкий треск за окном и поняла, что это Алексей, просияла.— Заборчик, говорит, в нем. Если не может перескочить через свой заборчик — пусть. Половинный он мне не нужен. А я бы не побоялась. Я бы против всех пошла, потому что права... Всяк прав, кто любит. Любовь-то раз в жизни выпадает человеку.

— На мужика твоего обзарилась,— сказала Павла.— А ты не сердишься. Удивительно даже!

— Ведь мы не живем с ним, Павла Андреевна,— тихо ответила Ольга.

— Будете жить... затем прилетела. А ты разреши мне взглянуть на него разок, на любовь мою, мимо проплывшую, и — забуду, стариться начну, вспоминать о том, чего не было. Дозволишь?

— Бери его... Бери, если можешь. А я...— Ольга

чуть не проговорилась об Алексее, но Павла теперь в себя вслушивалась, в боль, возникшую после неожиданной встречи.

— Подачку кинула? Не нужна мне подачка... из жалости,— сказала она.— Я и сама себя не жалею... никогда не жалела. Как худо, так в лес бегу. Заберусь в глухомань подале и молю бога, чтоб из людей никто не попался. Скажет в этот час человек не то слово — прихлопну. Право слово, прихлопну. Жалеть буду, оплакивать буду. Но тут, может статься, с собой не совладаю. И ты, подруга, остерегись мне впредь попадаться,— говорила Павла с улыбкой, от которой Ольгу передернуло. Дикая, блуждающая была улыбка, и глаза лунатические.— Что, париться-то будем? — спросила Павла через некоторое время.

— Мне почему-то расхотелось,— ответила Ольга и стала поспешно одеваться.

Алексей отскочил от окна.

Он вошел в дом, когда женщины сидели за поздним ужином и, чтобы не разбудить спящих Кузьму и Павла, тихонько пели.

О чем, дева, плачешь?
О чем слезы льешь?

— Здравствуйте,— чуть слышно, схваченным от волнения голосом сказал Алексей, не поднимая на Ольгу счастливо блестевших глаз.

— Гостья у нас, Алешка. Садись, составь нам компанию.

— Устал я... спать хочу,— соврал Алексей и прошел в горницу. Он боялся выдать себя матери хотя бы каким-нибудь движением. Она зоркая, все подмечает.

— Сын-то у меня,— чокаясь с Ольгой, говорила Павла с гордостью.— Сынище! Пока глуп, как телок... поводок ищет. Потом разобьет кому-то сердце.

— И разбил уже,— улыбнулась Ольга, но тут же поправилась, добавив: — Не одно сердце разбил, наверно.

Павла, покачивая головой, улыбалась и пела:

Погибнешь ты, дева,
погибнешь ты, дева,
погибнешь ты, дева,
в день свадьбы своей...

Глава двадцать пятая

Алексей неистово колотил под крышкой мешок с опилками. Мешок тяжко плюхался о стену, отлетал и снова плюхался. «Сила есть — ума не надо,— наблюдая за ним, говорила Павла.— Бегаешь вот... а того не поймешь, глупый, что от себя никуда не денешься».

— Я сам себе не мешаю,— насупился Алексей.— Что хочу, то и делаю.— Пах! Пах!

— А смысла в том много?

— Смысл прямой: жизнь узнаю, людей,— слова его звучали для Павлы по-детски наивно, и потому она не скрывала насмешки.

— Я сроду с острова не выезжала... людей получше знаю, чем кто-либо. Да и жизни хватила. Дай бог всякому!

— Ты лиха хватила, мама. Лихо — не вся жизнь.

— Разъяснил, спасибо. А то я не знала. Вот ладно, узнаешь жизнь, людей узнаешь... что дальше?

— Дальше? Ничего. Помогать им стану.

— Отпусти, ведьма! Слышь? Отпусти! — послышался из избы осипший голос Павла.

— Да кто такой: бог, царь? — не шевельнув бровью, будто и не ее звал муж, сказала Павла.— Помогать... одному то надо, другому — другое... На всех угодить — умишка не хватит. Я вот невесту тебе выбрала, живи на всем готовеньком, а ты отбрыкиваешься.

— Невесту сам себе выберу.

— Я к тому, что на счастье у каждого своя мерка. Ты всем единую навязать хошь. Вот и выходит, кругом дурак. Отцу своему помочь не можешь. Слышишь — мается? А туда же: люди, жизнь...

— Пусти, покаешься! — бушевал Павел, стуча ногами.

— Отпустила бы... что он, зверь? Оплела веревками.

— Протрезвится — отпущу. Колоти чучело-то... с ним проще,— кинула с издевкой и ушла в избу. Алексей озадаченно потер лоб пальцем перчатки и зубами развязал шнурок.

— Алешка! — крикнул из-за ворот Кузьма.— Там вертолет заводят уже!

— Иду,— сказал Алексей, снял перчатки и шепнул брату на ухо: — Ты за отцом-то приглядывай.

— С тобой ведь пил... я его в строгости держу,— ответил Кузьма.

У берега их догнала Сорока, взяла Алексея за руку и пошла рядом.

— Прости, Алеша,— сказала она, останавливаясь.— Прости и — прощай.

— Ладно уж, целуйтесь,— разрешил им Кузьма и отвернулся. Но отворачивался зря: они не целовались. Сорока, не мигая, смотрела на Алексея печальными кукольными глазами и ощипывала ветку вереска.

— Прощай и помни день вчерашний. Самый страшный в жизни моей день.

Алексей кивнул ей, так и не вникнув в суть сказанного, и направился к вертолету.

— Вот любишь Алешку, а че не женишься на нем? — спрашивал Кузьма, когда они остались одни.

— Вертолет улетел, Кузьма... улетел и никогда сюда не вернется,— бормотала Сорока и грызла колючую, истерзанную веточку. Кузьма смотрел на нее с сочувственным недоумением: «Ослепла, что ли? Вон он, вертолет-то, сидит пока. Да ну их, этих влюбленных! Все глупые!»

— Вон интернатские прибыли в Быстриху! — услыхав гудок пароходный, закричал Кузьма, указав на другой берег.— У, сколь их! Ровно комарья высыпало!

— Весело тебе будет теперь! — невесело кивнула Сорока.

— Но! Заживем будь здоров! Соберемся в школе. Анна Ивановна придет в класс и скажет: «Здрасьте, дети. С чего мы начнем наш первый урок?»

— Как бы я хотела оказаться на твоем месте! — завистливо вздохнула Сорока.

— Нечего, нечего! Ишь размечталась! Давай замуж выходи за Алешку!

— Не надо об этом, Кузьма,— взмолилась Сорока.— Прошу тебя, больше ни слова.

— Да ну вас! — досадливо отмахнулся Кузьма.— Домой пойду,— и, оставив расстроенную чем-то Сороку, отправился к своему двору.

В ограде, все еще связанный, лежал отец, скрежетал зубами.

— Отпусти, добром прошу! Эй!

— Опять начнешь выкомаривать? Опять ружьем угрожать? — допытывалась Павла.

— Угрожать — нет, не буду. Просто возьму и пристрелю.

— Ну-ка! — Павла принесла из избы ружье, развязала мужа и, подав ему ружье, сказала: — Стреляй. Посмотрим, какой ты смелый.

— Что я, душегуб какой? — отталкивая ружье, сказал Павел и, морщась, попросил: — Дай выпить чего-нибудь. Мутит.

— Тебе же нельзя, папка! Тебе же врачи запретили! — вскричал Кузьма.

— Пусть хлещет, ежели совести нет.

— Отрава же... в госпиталь ляжет опять!

— Охота есть — пускай травится,— отмахнулась от сына Павла и ушла. Кузьма забежал в избу, схватил со стола распочатую бутылку, все, что было в ней, вылил в помойное ведро.

— Добро переводишь, сын! — упрекнул Павел.— Я поправиться хотел... Может, в тайничке что найдется?

Кузьма и в тайничке навел ревизию, обнаружив там четвертинку. Сунув ее за пазуху, притворно вздохнул:

— Пусто. Даже никакого намека.

— Полынь — житуха! Весь день маяться буду.

Павел помял набрякшие виски и, собрав котомку, отправился на выпаса.

Глава двадцать шестая

Недобежкины наладились на тот берег. На центральной усадьбе им выстроили просторный каменный дом, прибив к воротам табличку: «Здесь живет ударник коммунистического труда В. И. Недобежкин, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета РСФСР».

— Я бы и не поехал,— прощаясь с Кузьмой, говорил Валентин Иванович.— Да больно уж ферма новая хороша! Пойдем — покажу!

На новой свиноферме все было сработано по последнему слову: механическая раздача кормов, электроскребок, автоматические весы, кухня с газовой плитой, кондиционер.

— Шик-блеск! — включая и выключая рубильник, ликовал Недобежкин, Кузьма грустил, потому что вместе с ним уезжала Тонька, с которой хоть и ссорились

часто, но провели вместе столько веселых дней. Вместе играли с Петькой — нет Петьки, кормили бурундучка... Вот уж и бурундучка нет. И Алешка уехал, и Сорока хандрит... Не с мамкой же бегать по лесу...

И ветер скулит сегодня грустно. Как побитый пес скулит, цепляется за кочки обвисшими крыльями. Что ему, ветру-то, взял да и полетел, куда вздумалось. А ты и хочешь, да не улетишь... Тоска, тощища! Уедет, значит, Филарет Недобежкин! В минуты неодолимой обиды Кузьма звал свинаря его подлинным именем, расплачиваясь за тяжелую утрату, за Тоньку. А тот и не знал и все ширкал рубильниками, прихлопывал счастливо в ладоши и слегка припахивал свинофермой. Запах свинарника въедлив, никакими ветрами его не выветришь. Зато уж на этой ферме будет все по науке. Не свинарь, а прямо инженер какой-то. Будто и не свиней тут выращивать собрались, а космические корабли запускать: кондиционеры, автоматика... Есть отчего приходить в восторг.

И вот он уехал, чтобы подготовить ферму для своих хавроний, и увез Тоньку, взгрустнувшую при расставании.

— Может, не увидимся больше,— вздохнула она совсем по-бабьи и обняла Кузьму.

— Иди ты! — стряхнув ее цепкие руки, Кузьма засопел и, сунув руки в карманы, пошел берегом. Наткнувшись на обласок, прыгнул в него и пошел-пошел грести, пока не начали гореть ладони, не заныли предплечья. Над головой суматошливо гомонили чайки, кружились встревоженные стрижи, истыкавшие обрыв узкими норами. Вдоль берега, воздев почерневшие, страшные корни, мокли в воде деревья. И молодые, и старые, подточенные рекой, они агонизировали, и Кузьма сострадал им, но плыл мимо. И мимо него плыли люди, каждый в своих мыслях, в своих заботах. И земля — крохотный, дивно устроенный шарик — тоже плыла в пространстве. Пылинка во вселенной, и человек на земле — пылинка, дерзкая, неунывающая, никак не защищенная...

Кузьма снова взял весла, решил еще разок повидать Недобежкиных и бросить Тоньке в лицо что-то злое, громкое: пусть знает, что он не отчаялся, не упал духом. Он не пропадет, даже если все друзья, все Тоньки на свете покинут его. Но Недобежкины уже загрузились, и машина увезла их пожитки под новую крышу.

Кузьма цыкнул презрительно через губу и погнал обласок по течению. Гнулись весла, и откатывались разрубленные надвое волны. В потемневшем небе кто-то рассыпал золотые монетки. Месяц, выгнув желтую спинку, подкрадывался к ним, точно озорной котенок. На острове рядом с мрачной хороминой Брусов даже ночью приметно белела школа.

— Анну Ивановну Легезу видел,— сказал за ужином отец.— Через неделю интернатских вселять собираются.

— Ох, здоровски! — Кузьма чуть не подпрыгнул от радости, засиял, как новый пятак. «Как же это я позабыл о школе-то? Ведь скоро занятия начнутся! Там будут и русские, и хантыйские ребятишки. Уж среди многих-то хоть один дружок да найдется! А может, и два, и три...»

— То землерои, то школьники,— проворчала Павла.— Совсем житья не стало.

— Чем они тебе помешали?

— Будут по погребам да по огородам шастать!

— Я же не шастаю,— сердито возразил Кузьма.

— У тебя своего хоть отбавляй. А те — шантрапа беспризорная. И кому в голову дурь пала: на пустом острове школу строить?

— Тут тишина, воздух чистый,— ответил отец.— Для поправки здоровья лучше места не надо.

Мать, сунувшая ухват в печку, плюхнула им о чугунок, опрокинула и сочно выругалась.

Кузьма, переглянувшись с отцом, фыркнул.

Глава двадцать седьмая

В бригаде событие — повариху прислали, и Маркин передавал ей теперь свое хозяйство.

— Ох девка,— подначивая, щелкал языком Кошелев.— Ох и девка! Хоть сколь исследуй — ребра не достанешь.

— Ты уж пробовал? — раздраженно огрызнулся Репнев. Он всю неделю ходил как туча. Что-то грызло его, что ли? Раньше бывало, анекдот вспомнит или какую-нибудь историю из частых похождений своих расскажет. А сейчас и спросят о чем — молчит.

— Не захворал, Валя? — сочувственно интересуется

Кошелев. Он-то всегда улыбчив и ровен.— А может, на новую повариху нацелился? Не обижай Леню Маркина.

— Пошел ты! — огрызнулся Репнев. На вагончике заморгал синий милицейский фонарь, и, заметив сигнал, Кошелев усмехнулся:

— И пойду. Обедать зовут как раз.

Повариха, молодая, толстенькая, с землистым лицом и заплывшими глазками. Где-то между щек потерялся маленький курносый носик. Но Маркин смотрел на свою спасительницу с восторгом, растягивая в улыбке толстые губы.

— Как зовут тебя, красавица? — спрашивал Кошелев, осторожно пробуя щи. Хлебнув, не поверил: щи были необыкновенно вкусны.

— Зовуткой,— отозвалась повариха низким грубым голосом.— Тебе уж и так дальше стариться некуда, а все на молоденьких заглядываешься.

— Хоть и зовутка, а щи вкусны,— от души похвалил Кошелев и тем подкупил повариху.

— Катериной меня зовут,— подливая ему, сказала она.

— Это не та, что на берег выходила? — втягивая носом непривычный аромат щей, подколол Бляхин.

— Та самая... смотри через очки-то получше.

— Ай да Катерина! — похвалил Кошелев.— Она за словом в карман не лезет.

— У меня слова-то не в кармане. Потому и не лезу...

Маркин, бренча на гитаре, посмеивался и дружески подталкивал локтем Алексея. Тот тоже всю неделю нервничал, глядя в небо: вдруг да появится Ольгин вертолет! И вертолет появился, привез на борту долота, но экипаж был другой. Алексей скрипнул от досады зубами и укрылся в дизельной. «Что ж она, а? Испытывает меня, что ли?»

Попов заметил его состояние, пробовал поговорить: может, дома что приключилось?

— Уйдите,— глухо сказал ему Алексей.— Вы, пожалуйста, уйдите.

Попов удивленно пожал плечами и вышел.

— Вечером снова летим в Тап,— сказал за обедом.— Человека три понадобится. Желающие есть?

— Я, я,— назвались Репнев и Бляхин.

— Ну и хватит, ограничился Попов.— Третьим будет Брус.

— Не полечу я,— опять удивив его, сказал Алексей. Он решил: если Ольга и сегодня не появится, то улетит в Урьевск.

— Чудит парень,— заключил Кошелев и тут же поставил диагноз: — Наверно, щей твоих переел,— подмигнул он поварихе.

Вечером трое улетели на остров. Четвертым был сам Попов. Вертолет обратно почему-то не вернулся. Алексей ждал его, пока не кончилось летное время, потом вышел на бетонку и отправился в Урьевск пешком. Бетонка километров через тридцать обрывалась. Дальше начиналось болото. Прыгая с кочки на кочку, он провалился раза четыре и, выбравшись на сухую дорогу, мокрый и грязный затрусил по направлению к Урьевску, пока его не подобрал вездеход.

— На ГТО сдаешь, кацо? — спрашивал водитель-грузин, приглашая к себе в кабину.— А па-ачему ночью?

— Днем другими делами занят,— буркнул Алексей и больше не произнес ни одного слова.

— Такой общительный товарищ...— похвалил его грузин, высаживая около аэропорта.— Спасибо, кацо, за интересную беседу.

— Неначем,— пробурчал опять Алексей и, узнав у дежурного, где общежитие пилотов, пошел туда.

Ольга в комнате была одна. Сидела на собранных чемоданах.

— Удрать от меня хотела?

— Хотела, а не могу,— созналась она, ничуть не удивившись его приходу.— Сижу вот и реву.

— О ком же ты ревешь? — с недоброй усмешкой допытывался Алексей. За эти дни без нее он как-то сразу ожесточился и повзрослел. Глаза сухо горели, скулы вытянулись, и спала со щек юношеская округлость.

— Обо всех, кроме себя, Алеша. Всех жалко,— бормотала она, не в силах остановить слезы.

— Так вот учти,— обнадежил ее Алексей.— Если еще раз что-нибудь подобное выкинешь, то и о себе можешь заранее поплакать. Пока жив, из рук не выпущу. Так и знай.

— Ты почему так груб, Алеша? — возмутилась она.— Со мной никто еще так не разговаривал.

— Тебя и не любил так никто,— сказал Алексей и, как в первый раз, взял ее на руки. Ольга счастливо улыбнулась.

— Ты как сюда добирался? Пешком шел? — спросила она, увидав, что Алексей грязен.

— Я теперь пешком не хожу. Понятно? Я летаю... быстрее, чем ты на своем вертолете. Так что никуда от меня не скроешься!

— А я и не хочу от тебя скрываться. Я с тобою хочу, Алеша! Всю жизнь с тобой, дурачок милый! Потому что любовь всегда права... так мне человек один сказал...

«Знаю я этого человека! — нахмурился Алексей. Хмурился оттого, что не выполнил своего зарока: собирался поговорить с Поповым о матери, но так и не решился на этот шаг.— Да и о чем я стал бы с ним говорить. Отца жалко, конечно. Но разговорами тут не спасешься... Тут кое-что посильней разговоров. Я сам это понял...»

Глава двадцать восьмая

— Ты не ходи в школу-то. Нечего там народ смешить,— доставая щи с загнетки, наказывала мужу Павла.— Нахлещешься опять до потери пульса и начнешь выкомаривать. Пей уж дома, ежели невтерпеж.— И пошла переодеваться, выставив на стол графин со спиртом.

— Выпей со мной за расставанье,— пригласил ее Павел, налив в две рюмки.

— Ты каждый раз за расставанье пьешь. Только расстаться никак не можешь.

— Не мог, а теперь подписано! Хватит уж воду мутить. Ну? Выпьешь?

— И без вина горько.

— Вольному воля,— он, не закусывая, выпил и долго сидел за столом один. Павла, приодевшись, ушла. «К Попову наладилась,— решил Павел и налил снова.— Да пусть хоть к черту. Теперь ее не удержишь».

А Павла шагала к школе, где собрались сегодня буровики и учителя. Маркин наигрывал что-то на гитаре, пел, но ни танцы, ни песни не клеились. Тут же, меж взрослыми, и Кузьма вился.

— Слетай, Кузя, за аккордеоном,— попросил его Легеза.— Да заодно мать с отцом позови. Че они, как сычи, дома отсиживаются?

А Павла заглядывала в окошко, надеясь дать знак

Попову. Услыхав чьи-то голоса, отпрянула от окна в тень, за угол. Один голос был Сорокин.

— Послушайте, что вам от меня нужно? Я ненавижу вас, ненавижу!

— Если ненавидишь, зачем подпускала? — спрашивал звучным нагловатым баском мужчина. И Павла вспомнила, где слыхала этот голос: «Это же тот... из Митиной бригады. Липучий такой...»

— Как вам не стыдно! Воспользовались да еще и смеетесь! — вскричала Сорока сквозь слезы. Из темноты появился еще один человек, Путников.

— Вы с кем тут, Виолетта Романовна? — спросил он Сороку.

— Да вот пристал тут. Избавьте меня от него, пожалуйста.

— С превеликим удовольствием и сейчас же,— с готовностью ответил Путников и потянул Репнева за руку.— Ступайте, молодой человек. Вы же слышали... Приставать к женщине некрасиво.

— А ну чеши отсюда, дядя! — процедил сквозь зубы Репнев и оттолкнул в сторону Путникова.

— Да как вы смеете? Вы с кем разговариваете? Я вас старше по крайней мере вдвое.

— Старше, так сиди дома и не путайся тут под ногами,— Репнев толкнул его посильнее, но археолог не оробел и начал молотить его сухонькими своими кулачками.— Надо же, он еще и трепещется!

Репнев рассердился и ткнул Путникова под дых, а когда тот согнулся, отбросил его от себя, как мешок.

— Идем, пока зову,— потянул он за собою Сороку.— Завтра могу и не позвать, учти.

— Ты чего к ней привязываешься, мозгляк? — подобрав с земли камень, заступилась за девушку Павла. Репнев грязно выругался и убежал.

— Хоть бы уж ты-то не лез в драку,— приводя в чувство Путникова, говорила она.— Иди-ка ты домой, голубок. Да не связывайся с этим охламоном. С твоею ли силой?

Отправив Путникова, села рядом с плачущей на крылечке Сорокой, обняла ее.

— Алешка обидел? — спросила.— Или тот? — указала в ту сторону, куда исчез Репнев. Сорока замотала головой.— А может, Алешка все же? Если он — на веревке в ЗАГС приведу. Говори правду.

Мимо них проскочил Кузьма, и Павла, ничего не добившись от Сороки, замолчала. «Не доверяет мне... А ведь я от всей души с ней»,— обиженно подумала Павла и вдруг подобралась и затрепетала, услыхав широкие, сильные шаги с легким прихрамываньем на правую ногу. На крылечко вышел покурить Попов.

— Митя!..— хрипло позвала его Павла.

— Что не заходишь? — спросил Попов, разминая в руках папиросу.

— Мешать тебе не хотела,— чуть слышно ответила Павла, оглядываясь на Сороку.

— Ты мне не мешаешь. Нисколько.

— Поговорить бы... оторвись на часок,— просительно сказала Павла и, заметив его нерешительность, гордо вскинула голову.— Не бойся, гоняться не стану. Проститься с тобой пришла.

— Уезжаешь?

— Никуда я не уезжаю. А все равно видимся в последний раз.

И снова они сошлись в лесной избушке. И два часа пролетели, как две минуты.

— Пойдем, а то хватятся,— первой напомнила Павла. В темноте нашла губами его губы и больно впилась в них, словно желала взять, выпить частицу души дорогого для нее человека. Через силу оторвавшись, поднялась и, улыбаясь, шепнула: — Понесу от тебя, чую. Вот смеху-то будет! На старости лет понесла!

— Может, сойтись нам все-таки? — спросил Попов, когда они шли к острову.

— Не выйдет, Митя. Между нами чья-то беда... слезы чьи-то... Не выйдет. Есть, оказывается, и во мне заборчик. Может, даже повыше твоего. Дай-ка я еще разок тебя поцелую. И на том точку поставим.

— Постой, Паша... Я молчал. Но Ольга-то... с твоим сыном она, знаешь? — останавливаясь, сказал Попов и прикрыл ладонью глаза. Глазам что-то мешало — свет на острове, неспокойный и пляшущий.

— С сыном? — изумилась Павла, и руки ее, вскинувшиеся на плечи Попову, соскользнули с них и обессиленно повисли.— С сыном, значит... Вон как судьба-то распорядилась! Сын с женой твоей... Мы с тобой...

— Пожар, Паша! На острове горит! — перебив ее, вскричал Попов и, взяв Павлу за руку, кинулся через протоку.

Глава двадцать девятая

В подполе жил уж. Он выползал оттуда через кошкин лаз, пил кошкино молоко, дремал, свернувшись где-нибудь в уголке, иногда пропадал, словно обидевшись на хозяев, и появлялся опять. Приполз он весной, лег посреди избы и заснул. Павла, едва не наступив на ужа, выругалась и сильно его пнула. Отлетев от ее пинка к голбцу, уж уполз через кошкин лаз в подпол и при Павле не появлялся. А сейчас опять выполз. И Павел, дремавший за столом у полупустого графина, зашевелился, заворочал налившимся кровью глазом.

— Ты, братко? — уставясь на ужа, спрашивал он.— Душа твоя черная опять приползла? Докладывай, зачем явился.

Павел склонился над ужом, не достал, плюхнулся на колени. Уж отполз от него под лавку, где на случай держали в бутыли керосин.

— Че прячешься? Иди побеседуем. Давно ведь уж не видались. Ох давно, братан! Как на войну ушел... Не-ет, вру... В войну хлеб тебе приносил в избушку... Помнишь хлеб-то, мной принесенный? Поцеловал ты меня тогда. А мне страшно стало. Не тебя, дезертирства твоего испугался... Не гневайся... все воевали, а ты утек... Ну, че уставился? Теперь не боюсь. Теперь, Вася, я ничегошеньки не боюсь. Люди из-за жизни своей дрожат... вот как ты, к примеру. Ты ведь отчаянный был, помню. А там испугался... На войне пули — дуры, и неизвестно, которая из них для тебя отлита. А пулю-то не немцы отлили... Жена моя, Павла. Об этом никто, кроме нас с тобой, не знает. Дак ты ведь не скажешь. И я не скажу. Прости за это. Мать она, детей моих мать. Карать за это ее не стану. Выпьем-ка,— Павел вынул ужа из-за бутыли, поднимаясь, опрокинул ее, хотел поднять, но тотчас забыл о своем намерении, стоял и слушал, как булькает, вытекая, керосин.— Текет! — Как жизнь моя, вытекает. Я вот себя порешу. Вжик — и нет. А она пущай живет. Ей лучшего хочется. Ее ли вина, что ты, Василий, диким образом над ней надругался... Зачем надругался-то, Вася? Может, по-иному бы все сложилось. Я понял тогда, что это твоих рук дело, и взял грех твой на себя. Грех — он и есть грех, Вася. Ты виноват, а меня давит. Кровь-то родная, одна кровь. Давай-ка еще глотнем по разочку. Сухо в горле, в душе сухо...

Пью седня и не пьянею. С чего бы, а? Ты не подскажешь? Молчишь? Ну и молчи, сам знаю,— Павел налил опять спирту и трудно влил его в глотку. Вытерев тыльной стороной ладони губы, продолжал: — А ведь я бы кокнул тебя, братко! Как на духу говорю, кокнул бы... Увидал ее там, в избушке, полумертвую, с глазами белыми... и во второй раз до смерти испугался... не за себя, за нее. Ты душу ее изувечил. И душа белая, с кровью, через глаза вытекала. А у тебя черная душа, Вася, и вьется. И у меня душа черная, смутная. А ведь я не обижал никого, братко. Дал зарок тогда: всех жалеть. Даже скотину жалею. А меня не жалеют. Тратят меня, по кускам раздергивают... Из-за тебя ведь, гад ползучий! — вскричал вдруг Павел, сдернул с плеча ужа. Маленькие глаза змеи казались ему глазами брата, раскрывшаяся пасть — человеческим отчаянным зевом.— Ненавижу тебя... убивцев всех ненавижу,— сказал Павел устало и, отбросив ужа, пошарил ладонью перед лицом.— Темно как! Совсем темно на земле...

Было и впрямь темно. Свет на станции иногда выключали. Выключили и сейчас, и Павел полез в карман за спичками. Чиркнув спичку, долго держал ее, не понимая, зачем запалил. Свет снова включили, и догорающая спичка обожгла Павлу руку. Бросив ее под ноги, в керосин, растекающийся по полу, Павел затряс головой.

— То темно, то красно,— пробормотал он. Керосин между тем вспыхнул. Но Павел прошел через огонь в горницу и, сняв аккордеон со шкафа, вывел:

Ходи, изба, ходи, печь.
Хозяину негде лечь...

Огонь уже лизал стены, заглатывал занавески и скатерть на столе, шипел и потрескивал и, чуть притихнув, набрасывался с еще большей яростью на наличники, на стены. Красно было, жара волнами ходила. А Павлу казалось, что сама жизнь стала красной. И только теперь он увидел ее в подлинном свете. И от этого ему сделалось дико и весело.

— Барыня, барыня, сударыня, барыня,— притопывая, напевал он и кружил по горнице, в которую переплеснулся огонь. Нравилось ему и пламя, обтекавшее теплыми волнами, и музыка, в треске, в шуме огня казав-

шаяся особенно веселой и звучной, и запах горящего прочного дерева. Губы растягивались в счастливой, идиотской улыбке, толстые набухшие веки трепетали. И как филин в ночи, Павел бухал припевками, и сам, в лад с огнем, мотался из стороны в сторону.

— Папка! — ворвавшись в избу, отчаянно закричал Кузьма и кинулся к отцу, безумно приплясывавшему посреди огня.— Уходи, папка! Сгоришь!

— Тише, сынок, тише! Праздник у меня ноне,— улыбнувшись ему, сказал Павел.— А ты сыграй мне «Подгорну» или «Цыганочку» сыграй. Ух и спляшу же я, Кузя, как в молодости плясывал. Ну-ка, дерни! — стаскивая с плеча аккордеонный ремень, говорил он.

— Горим же, папка! Не видишь, горим? — кричал Кузьма и тянул отца к выходу.

— Это заря горит, Кузя. Последняя заря Павла Бруса,— приговаривал он и все улыбался.

А пламя ползло уже по потолку, жадно урчало, перебрасываясь со стен на крышу, мотало красными расхристанными космами.

— Бежим, папка! Сгорим ведь! — силком оттягивая отца, голосил Кузьма. А там уж плотно стоял на часах огонь, через который, закрыв голову курткой, прорвался Попов, за ним — Павла.

— Это братко мне мстит... братко,— бормотал Павел.— Он такой... злопамятный... Куда? — заартачился он, когда Попов схватил его и поволок за собой к выходу.— Не пойду. Праздник у меня ноне... Не тронь, слышь?

Но пламя, опалив ему лицо, заставило замолчать. Проскочив сенки, Попов вытолкнул пьяного за ограду, снова кинулся в избу, за мальчиком и Павлой... Но та уже сама, прижимая Кузьму к себе, выбралась из огня.

— Аккордеон там, мамка! — бормотал мальчик и рвался обратно.— Не слышишь, что ли? Аккордеон.

— Не вой, сынок! Молчи... куплю новый...

— Пожар! Пожар! — кричал на весь остров Попов. Над островом кружил самолет пожарной авиации, по реке плыли на лодках колхозники. Попов отыскал в ограде багор, забрался на крышу и стал растаскивать полыхающий тес.

— Слезай, Митя! Слезай... сгоришь! — кричала Павла. Попов не слышал ее и выламывал доски. Передав мужа и сына подоспевшим из школы буровикам, Павла

заскочила на крышу сама и добралась до Попова.— Оглох ты, что ли? Сгоришь ведь! Прыгай... все равно не спасешь! — кричала она и трясла Попова за плечи. Он отряхивался от ее сильных рук и снова крушил горящие доски, словно наказывал их за какую-то огромную вину.— А, не хочешь,— спокойно, страшно усмехнулась Павла и сложила на груди руки.— Тогда вместе сгорим.

И только теперь Попов опомнился, обняв ее, спрыгнул наземь. И вовремя: подгорев, рухнули стены и стропила. И пламя, чавкая и шипя, разбрасывая вокруг красные лоскутья, точно обезумевшая свинья, принялось пожирать то, что еще недавно было жилищем Брусов. Павла, поглаживая ушибленное колено, стояла подле безумно пьяного мужа и шептала: «Гори, сгорай дотла, до щепочки!»

Огонь перекинулся на сенник. И поднявшийся ветерок отнес несколько пылающих клочьев сена на кучи соломы. С них полетели искры на ферму.

Глава тридцатая

На ферме блажили свиньи. Кузьма, услыхав их крик, кинулся туда, но его опередил Недобежкин. Он распахнул ворота, и ошалевшие свиньи, давя и толкая друг друга, ринулись врассыпную. Огонь слепил их и отражался в выпученных жестоких глазах. Распяленные красные глотки, красные языки, вздыбленная щетина и острые копытца, топтавшие поросят, и дикий визг.

Свиньи хрюкали, выли, топтали своих и чужих детей, свиньи спасали себя, а потрясенный Кузьма стоял у них на дороге.

— Спасайся, Кузьма! Спасай...— закричал сзади кто-то тонко и пронзительно. Голос как будто знакомый, но раздумывать над этим было некогда. На пути мчавшегося стада стояла конная косилка. Кузьма вскочил на сиденье, когда свиньи уже текли мимо, а другие толкали ее своими сверлеными рылами, падали, обрезавшись серпом, задние прыгали через упавших — вперед, вперед! — и одна больно придавила Кузьме ногу.

Поток свиней развернул косилку, и Кузьма видел теперь их спины и скрюченные мерзкие хвостики, а чуть подальше — близорукую, маленькую, растерянную Сороку. «Так это она мне кричала!» — подумал Кузьма и

в ужасе уткнулся лицом в колени. Свиньи сбили девушку, растоптали ее и, проскочив мимо, рассыпались по всему лесу. Следом за ними шел Недобежкин и, подбирая раздавленных молочных поросят, плакал.

Сорока лежала на левом боку, подогнув под себя ногу, и отрывисто, с хрипом дышала. В углах листиком изогнутых губ пузырилась кровь. А рядом лежала золоченая, смятая оправа очков.

— Вита! Витушка! — позвал Кузьма, склоняясь над девушкой. В ответ раздавались лишь хриплые стоны, а кровь изо рта уже ручейком стекала наземь.— Она умирает! Дядя Валя! Она умирает!

Кузьма кричал и размахивал руками, зубы его дробно стучали, а лицо помучнело. Грудь кольнула нестерпимая ранняя боль. И земля опять сорвалась с орбиты и полетела вверх тормашками мимо бледных гаснущих звезд, мимо круглой луны — крохотный шарик, брошенный в безграничную вселенную. На нем лютовал пожар. Меж деревьев носились сумасшедшие свиньи, а на загаженной, на втоптанной в грязь траве корчилась Сорока.

Недобежкин плакал. Услыхав отчаянный зов мальчика, подбежал к нему, передал истерзанных поросят и принял на руки длинно и страшно застонавшую Сороку.

Огонь подбирал остатки фермы, шипел на кронах соседних елок, а пожарники хлестали его белой пеной.

Сороку положили на кучу соломы. Ей что-то невразумительное внушал Путников и отгонял веточкой комаров. Он отгонял их неумело, боясь стегнуть девушку по окровавленному лицу. Комары жалили его, напивались и грузно, как переполненные самолеты, взлетали. Валерий Николаевич не замечал ничего.

— Дорогая моя... дорогая... живи! — услышал Кузьма.

А летчики уже соорудили носилки и понесли Сороку по трапу. Путников увязался за ними.

— Нельзя! У нас перегруз,— остановил его командир.

— Я должен лететь с ней. Я должен... должен, и все! — с визгами закричал на него Путников.

— Мы спешим.

Самолет, сделав небольшую пробежку, взлетел, покачал крыльями и пошел на Урьевск.

«Скорей! Скорей! — мысленно подгонял его Кузьма.— Спасайте Сороку!»

Когда «аннушка» скрылась из вида, подумал: как будет отчитываться за случившееся перед братом.

— Свиней-то собрать надо,— устало, ни к кому не обращаясь, сказал Легеза. Ресницы и брови его обгорели. Живот опал. Огонь всех пометил своим клеймом: клочьями висела одежда, на руках и на лицах вздулись водяные пузыри.

Свиней собирали до полудня. Но трех, в том числе и матки Аглаи, не досчитались. Да под копытами погибло около дюжины поросят.

— Будет зверью пожива,— сказала Павла и, вздохнув, поглядела на мужа.— Натворил делов, муженек! Всему конец, пепел один. Да оно и лучше!

Глава тридцать первая

Остров был пуст, страшен. У пепелища темнели палатки археологов, а выше, незыблемо прочный, внушительный, морщился срубом единственно уцелевший дом Недобежкиных, в котором поселились теперь оставшиеся без крова Брусы.

Минуя усадьбу, Кузьма зашагал к черемухам, под которыми лежал его незабвенный друг Петька.

Впереди, в логу, кто-то возился и трудно пыхтел. Кузьма подошел ближе. «Отец! Куда это он? Да еще и с вожжами».— Брус-старший взбирался по крутояру наверх, цепляясь за будылья усохших пучек. Пучки ломались, и все усилия сводились на нет. Но Павел лез и лез, упрямо, точно заведенный. Почти добравшись до цели, неосторожно ступил, покатился и плюхнулся прямо в ручей, протекавший внизу. Снял сапоги, вытряхнул воду, выжал портянки и, с солдатской сноровкой намотав их, в один прием взбежал по круче.

«Вот диво! На глазах протрезвел!» — усмехнулся Кузьма.

Отец между тем огляделся, подойдя к старой с оттопыренным суком сосне, по-хозяйски хлопнул ее по стволу. «Будто лошадь по холке»,— отметил Кузьма, неотрывно следивший за Брусом-старшим.

На соседнем кедре пискнула любопытная белочка, уронила шишку. А Брус и писка ее не слышал и не

почувствовал, как шишка ударилась о плечо. Он жадно затягивался наспех скрученной цигаркой, обжигая руки, точно курил в последний раз. Выбросив окурок, размотал вожжи, прицелился и кинул точно на сук.

— Качели устраиваешь? — Кузьма все понял, но вида не подал.— Сук подходящий. Только размах маловат.

Отец, завязывавший петлю, спрятал ее за спину и прижался к сосне, точно искал у нее спасения от жизни. Изломавшись в поясе, съехал по стволу наземь и, закрыв лицо руками, зверино, жутко завыл.

— Тебе больно, тятя? Тебе шибко больно? — разнимая отцовские руки, Кузьма заглядывал в сухие, в скорбных морщинах глаза Павла, искал в них проблеск надежды. Надежды не было, в них стыло непроглядное, чугунное отчаяние.

Отец разнял руки, утих и, глядя мимо Кузьмы, со всхлипом глотнул свежего утреннего воздуха, словно до этого дышать не давали.

— Душно, Кузька! Ох как душно! — Павел рванул ворот рубахи, с корнями вырвав пуговицы, и вонзил пальцы в землю, точно боялся, что земля уйдет из-под него.

— А ты дыши! Ты во всю грудь дыши!

На реке крикнул теплоход. Кузьма сразу распознал его по голосу.

— «Родина» причаливает! Вот бы поплавать! — если б отец сказал сейчас: «Поплывем, Кузька, на край света!», Кузьма поплыл бы, забыв об острове, о велосипеде, о прошлом, которое было совсем маленьким, но уже далеко не легким. Уплывая, он поклонился бы Петьке и попросил у него прощения.

Но отец посоветовал другое:

— Плыви... плыви отсюда, сынок, пока можно. Плыви, куда душа просится.

— Без тебя я не поплыву,— тихо сказал Кузьма.

— Мне дорога заказана. Вырос в Тапе и помереть хочу в Тапе... если удастся.

А «Родина», взяв пассажиров на том берегу, весело гаркнула и поплыла дальше, в верховья. Ей откликались встречные суда и почтительно уступали дорогу. А она рыла, рыла носом волну, словно искала в ней клад, который не нашли археологи. Из иллюминаторов глазели пассажиры, разбуженные звонкими приветствия-

ми судов. На верхней палубе целовались двое влюбленных. Им что-то крикнул заезжий браконьер, который сушил сети на ближнем песке. Сушил, беспечно посвистывая, а протокой крался рыбнадзоровский катер.

«Поймает или не поймает?» — гадал Кузьма, ожидая развязки этих интересных событий. Браконьеров на Оби развелось несчетно, и малочисленная служба рыбной охраны уже не справлялась с речными пиратами. Пока тихоходный катеришко выполз из протоки, рыбак успел смотать сети, кинул в «казанку» с двумя подвешенными на ней «вихрями» и, дав кругаля, исчез в той же протоке. Инспектор бессильно грозил ему кулаком.

— Сидел бы дома, валенок! — проворчал браконьер.

Отец не видел разыгравшейся сцены и, шагая рядом, обдумывал будущее Кузьмы, забыв о том, что жизнь опрокидывает любые наши планы.

— Сейчас бы самое время червячка заморить,— бодро перебил его невеселые мысли Кузьма.

Брус-старший остановился, хотел поцеловать сына, но не посмел, как не смеют прикасаться к здоровым прокаженные люди.

А из малинника выкатился подросший за лето медвежонок, брезгливо обнюхал забытые на суку вожжи, тронул лапою петлю и обернулся. В вереске хрюкало странное существо, и медвежонок решил завязать с ним знакомство. Продравшись сквозь вереск, добродушно толкнул поросенка лапой, сел и стал ждать ответных действий. Их не последовало. Поросенок три раза перекувыркнулся в воздухе и, став на ноги, с визгом кинулся прочь. Медведь обиженно заурчал на будущую свинью и заковылял к матери, зорко следившей за ним из малинника.

Нечаянный двор Брусов, когда-то полный скота, птицы, был пуст. Павла сидела на завалине и не знала, чем занять свои руки. Корову и пчел отдала колхозу за потерянных свиней. Странно ей было, что не мычит в стае корова, не кудахчут курицы... Опять все начинать сначала? Для чего начинать? Для кого начинать?..

В ограду вышел с котомкой Павел.

— Далеко собрался? — спросила Павла.

— Далеко ли близко — суд решит,— усмехнулся печально Брус-старший.— Заявить на себя хочу,— сказал он, берясь за кольцо калитки.— Терять мне нечего.

— Терять каждому есть чего,— сурово возразила ему

Павла.— Это понимаешь, когда все потеряно. Расходы-то мы возместили колхозу. А за прочее сами перед собой ответим,— она поднялась с завалины, подошла к мужу и сняла с него котомку.

Глава тридцать вторая

Уходят сны, а жизнь остается. И люди, как сны, уходят. Вот и Путников, погрузив на баржу старинную башню, собрался в Тюмень, к Сороке, которая лечится в больнице. Она тоже никогда-никогда сюда не вернется. Сны уходят...

— Мои наилучшие пожелания Павле Андреевне,— прощаясь с Кузьмой, пробормотал Путников и дернул себя за поседевшую бородку.— И вот что: ты в Тюмень приезжай. Тебе нужно учиться музыке. Приедешь?

— Видно будет,— оглядчиво ответил Кузьма. Теперь он не спешил отвечать, поскольку понял, что получается не всегда так, как хотелось.

На катере, тянувшем баржу, подняли якорь. Путников пожал Кузьме руку и по трапу взошел на палубу.

— Так ты приезжай, Кузьма! — прокричал он тонким слабым голосом, словно, поднимаясь на палубу, истратил на это все силы.— У меня остановишься. Обязательно приезжай.

Кузьма долго еще стоял на берегу, но смотрел на воды, которые проносила река мимо, бросал камешки и думал о чем-то, словно решал главную из всех когда-либо встречавшихся ему задач. Он должен решить эту задачу. Решить без ошибок.

За лесом, за Петькиной могилой, пылало негаснущее зарево Самотлора. Это зарево с каждым годом приближалось к острову. Может, когда-нибудь геологи и на острове найдут нефть, и над скважиной загорится еще один факел. А может, не нефть найдут — что-то еще более нужное. И люди, получив это нужное, убедившись, что его вдосталь, станут добрей, доверчивей. Кузьма подрастет к той поре, и Попов примет его в свою бригаду.

Задевая друг о дружку, летели куда-то облака. Через них сверху изредка проглядывало осторожное солнце, словно думало, стоит ли сегодня светить или передохнуть малость... Синий бор был хмур и мрачен. На за-

брошенном могильнике понуро качала исстриженными листьями крапива, томилась, вяла, завидуя светлым березкам, багульнику, лиственницам. А может, просто ждала осени, как старые люди ждут смерти. В Лесном Тапе курился дымок. Над чужим домом курился, в котором поселились теперь Брусы.

«Вон и еще один... над школой,— сердце Кузьмы счастливо дрогнуло.— Скоро же первое сентября!»

Попроведав Петьку и заменив увядший снопик цветов свежим, мальчик побежал к школе. Пройдя по чистому, пустынному пока коридору, открыл дверь в крайний класс. «Парты-то какие новешенькие! На какой же я сидеть буду?» — прикинул Кузьма и, поразмыслив, решил, что сядет на последнюю парту. Там можно будет почитать украдкой. Однако он посидел на каждой из парт, словно боялся, что та, которой не окажет внимания, обидится на него. Обижать никого нельзя. Даже парты.

Потом, заложив руки за спину, как это делала Анна Ивановна, Кузьма прошелся по пустому, чисто вымытому классу и повернулся лицом к воображаемым ученикам, сказал, точно копируя ее тон:

— Здравствуйте, дети,— улыбнулся он приветливо. Первый урок надо бы всегда начинать с улыбкой. Он запоминается на весь год. А может, даже на всю жизнь.— С чего мы начнем наш первый урок?



Содержание

Т50 **Тоболкин З.**

Жил-был Кузьма. Повести. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1981.— 336 с. с илл.

Повести из современной жизни. Действие происходит на Тюменщине. Любовь к земле объединяет людей, является основой в противоборстве с нелегкими обстоятельствами.

Т $\frac{70302-050}{М158(03)-81}$ Р2

ИБ № 783

Зот Корнилович Тоболкин

Жил-был Кузьма

Редактор
С. В. Марченко
Художник
В. И. Реутов
Художественный редактор
В. С. Солдатов
Технический редактор
Т. Н. Черепанова
Корректоры
А. Г. Богородская,
И. Ш. Трушникова

Сдано в набор 24.10.80. Подписано в печать 22.04.81. НС 12087. Формат бумаги 84×108 1/32. Типографская № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 17,6. Уч.-изд. л. 17,7. Тираж 30 000. Заказ 558. Цена 1 р. 30 к.

Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49. Обложка отпечатана в производственном объединении «Полиграфист», 620151, Свердловск, ул. Тургенева, 20. Лакировка в «Уральском рабочем».

В этом году выходят

В серии «Уральская библиотека»

Уральские повести
I—II тома

Из новых произведений уральской прозы

А. Власов. Белые метели.
Повести

Л. Заворотчева. Двое из нового города.
Лирические очерки

Свердловск улыбается.
Сборник юмора

Из поэтических книг

Е. Фейерабенд. Пронзая сердце радостью и болью.
Новые стихи

В. Сибирев. Журавль в небе

В. Терентьев. Високосный год

В. Брюсов. Стихотворения

В. Шекспир. Сонеты

В этом году выходят

Критика, литературоведение

И. Дергачев. Д. Н. Мамин-Сибиряк. Личность, творчество

Для юношества

С. Бетев. Своя звезда. Повести

Е. Айпин. В тени старого кедра. Рассказы про охотника

В. Гюго. Труженики моря. Роман

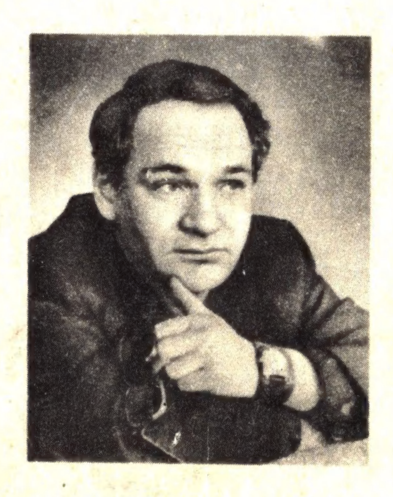
Л. Федоров. Злой сатурн. Повесть

С. Шмерлинг. Серебряные шпоры. Повесть и рассказы

Будем признательны, если вы,
уважаемый читатель,
поделитесь своими впечатлениями
об этой книге.

Наш адрес:
620219 Свердловск, Малышева, 24
Средне-Уральское
книжное
издательство

1 р. 30 к.



В насыщенном событиями
повествовании
писатель не просто
являет читателю образы
и поступки наших
современниц,
а раскрывает самые истоки
их характеров и судеб,
твердость духа и светлую
открытость сердца,
многотерпеливость и
неистребимую силу любви
к людям, к земле,
к самой жизни.



СВЕРДЛОВСК
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1981


Зот Тоболкин • Жил-был Кузьма